

Воля

1992
7-8

Воля

7-8

1992

Волга — один из первых журналов, добившихся независимости и выживших в самые первые трудные годы «рынка»;

Волга — один из немногих журналов, сохранивших в течение 1992 года первоначальную цену — 2 руб. за номер, 24 руб. за годовую подписку;

Волга — одна из первых напечатала запрещённую классику — В. Набокова, И. Шмелёва, Н. Бердяева, В. Розанова, Г. Федотова;

Волга — журнал российской провинции — не намерена менять свой традиционный облик и содержание классического русского «толстого» журнала, несмотря ни на какие политические и экономические обстоятельства;

Волга вошла — по оценкам прессы — в десятку лучших российских литературных журналов;

Волга — журнал для тех, кто помнит, что у России было великое прошлое, и работает на её великое будущее;

Волга — журнал для тех, кого заботит судьба великой русской реки;

Волга 93 — это проза, поэзия, мемуары, очерки, критика, переводная литература;

Волга 93 — это художественность, не ограниченная рамками никаких форм «старых» или «новых»;

Волга 93 — это специальные номера-книги для подписчиков.

Подписка на журнал «Волга» принимается всеми отделениями Роспечати. Цена по каталогу Роспечати: 1 мес.— 30 руб., 3 мес.— 90 руб., 6 мес.— 180 руб.



Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с января 1966 года
САРАТОВ



7-8

1992

Содержание

Юрий Кублановский. СТИХИ	3
Виктор Политов. ШИРИНА. Повесть	8
Елена Шварц. СТИХИ	71
Вера Кобец. ДОМ НА ОПУШКЕ ЛЕСА	76
СИМБИРСКИЙ ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА А. В. ЖИРКЕВИЧА. 1915—1922 гг. Вступительная заметка Н. Жиркевич-Подлесских	92
С. Боровиков. НЕУГОМОННЫЕ КЛАССИКИ	122
В. Михайлин. КАК СТАТЬ ДУРАКУ ПОВЕШЕННЫМ. Из истории одного таротного сюжета в европейском искусстве	127

Среди книг и журналов

Н. Болдырев. — О Тарковском. Сборник воспоминаний и др. Нина Волкова. — Пыль в М. И. Замечательные чудачки и оригиналы. А. Кредер. — Politic and Society in Provincial Russia. А. Папшев. — Комментарий. С. Катков, А. Папшев. — Н. Леденцов. Былое А. С. Пушкина в Поволжье. Любовь Пушкина и Керн. О. Шиндина. — К. К. Вагин о в. Козлиная песнь	135
НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. Вступление и интервью с Александрой Ивановной Вагиновой С. Кибальника	146

Волжский архив

Виктор Семёнов, Николай Семёнов. РАССКАЗЫ О СТАРОМ САРАТОВЕ. Продолжение	156
---	-----

Юрий Кублановский

* * *

Признаёшь ли, Отечество, сына
после всех годовщин?
Затянула лицо паутина,
задубев на морозе, морщин.
И Блаженный сквозь снежную осыпь
в персиянских тюрбанах своих
на откосе,
словно славное воинство, тих.

Человеки
те и те, и поди разреши:
где иовы-калеки,
где ослабленные алкаши,
вновь родных подворотен
отстоявшие каждую пядь.
Нам со дна преисподней
с четверенек неловко вставать.

Расставаясь с Украиной,
пошатнулся рукастый репей,
сей дозорный бескрайних
отложившихся волн и степей.
Родовую землю
у каких пепелищных огней,
аки хищную птицу,
нам отпавать кровью своей?

1992

* * *

В захолустье столичном, квартале его госпитальном
мимикрия ампира осенней порой минимальна.
Потускневшая охра да золота бледность синичья,
словно свежая кровь, господа, у былого величья.
На курганы отбросов под гаснущими небесами
наседает черней вороньё на паях с сизарями.
Кто хранитель огня, тот сегодня один и хозяин.
Уж до судного дня не задобрить имперских окраин.
Заушают оттуда имамы, отцы, господари
нас, чьи души белы безнадежно от выхлопов гари.
Надо б воздуха в грудь было больше набрать для отваги,

перед тем как нырнуть, как нырнуть, присягая, под стяги —
эти неводы, верши, трёхцветные крепкие снасти
той умершей, а вдруг воскресающей власти.
То ли солнце в зенит закатилось из серого дыма
иль петарда летит — к стенам Нового Ерусалима.

октябрь 1991

Тогда ещё клевер пах...

1

Тогда ещё клевер пах
за нашей околицей.
В полдень летал впотьмах
овод по горнице.
Там тишина взахлѣст
громом устроена
в синих почти до слѣз
неба промоинах.

Влажная акварель
тоже была чиста,
тает её капель,
скатываясь с листа.
В лунках тех красок вновь
тускло стоит вода.
Ладно, не прекословь
слышимому тогда.

...Кто-то принѣс на двор
было щенка-слепца.
Так и скулит с тех пор
возле щелей крыльца,
переходя на рык.
Вымершим вторящий
— это и есть язык
русский глаголящий.

2

Заколосился вдруг
ярче за рамами
всеми цветами луг
теми же самыми...
Из годовых колец
вытянула рука,
чтоб распахнуть ларец
ветхий этюдника.

Как выживали встарь,
кисточкой тыкая
в ультрамарин и гарь,
тайна великая.

Тот отшумевший бор
всё баснословнее.
Стали и мы с тех пор
суше, бескровнее.

Тела не греет бязь.
Словно теряя жар,
в полный зенит, клубясь,
катится серый шар.
И полыхнул вдали
свет фосфорический
падающей земли
в омут космический.

1989, 1991

Голос из хора

Спросится с нас сторицей:
смерть, где твоё жало?
Небо над всей столицей,
как молоко, сбежало.

Лишь золотые тени
осени — Божья скрепа
в гаснущей ойкумене
гибнущего совдепа.

По облетевшей куще,
хлопьям её кулисы,
не обойти бегущей
по тротуару крысы.

Теплются наши страхи
знобкие в гетто блочных.
Тоже и страсти-птахи
требуют жертв оброчных.

Все мы — тельцы и девы,
овны и скорпионы,
пившие для сугреву
по подворотням зоны,

перед вторым потопом
ныне жезлом железным,
чую, гонимы скопом
в новый эон над бездной.

В чёрные дни, на ощупь
узнанные отныне,
жертвеннее и проще
милостыня — Святыне.

16.10.1991

Поминальное

*Всё же есть тепло в нас
и в бешеной стуже вьюг,
потому что «Бог наш
есть огонь поядающий».*

А. Величанский

Бог наш
— огонь поядающий
в бешеной стуже вьюг.
Ныне об этом знающий
не понаслышке друг
в виды выдавшем свитере
отвоевался на
весях Москвы и Питера
сумеречных
сполна.

Мы продвигались в замети,
грозный чей посвист тих,
отогревались в памяти
первых подруг своих.
Дальних приходов
паперти,
их золотой запас
смолоду были заперты
для большинства из нас.
Неутомимо сбитые
наши слова в столбцы —
были тогда
небесные
алчущие птенцы:
им приходилось скармливать
всю свою кровь уже
вместо того, чтоб скапливать
впрок
Божий страх в душе.

Время — вода проточная
в вымерших берегах.
Честная речь оброчная
и огоньки
в домах
блочной глухой совдепии
плюс зеленца ольхи
в нищенском благолепии
— это твои стихи.
То бишь, твоё служение
сродственно средь пустот
с тучами,
на снижение
шедшими круглый год,
с птицами
зарябившими
на небе в глубине,
на землю обронившими
в сером
перо

огне...

Как твой английский, греческий,
брат с баснословных лет,
лёгший
в предел отеческий,
словно в сырой
подклет?
Вправленный в средостение
сей мотыльковый миг —
миг твоего успеха
жизни равновелик.

26.11.1991

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

**СТИХИ Александра Ожиганова, Тимура Зульф리카рова, Ми-
хаила Шелехова.
Повесть Олега Хафизова «ДОМ БОЛИ».**

Виктор Политов

Ширина

ПОВЕСТЬ

Часть II

Я успел захватить этот хутор ещё живым.

Был какой-то юбилей нашему великому земляку. Из столицы и области приехали именитые гости, в том числе один член правительства. Юбилей в кинотеатре «Дон» прошёл торжественно и скучно. Помянули покойника по принципу: «О мёртвых надо говорить только хорошее или ничего не говорить».

У меня остался ночевать член Союза писателей СССР, поэт, который придумал облакам ещё один эпитет — «бронзовые» — и очень гордился этим. До него наша литература была забита «золотыми» облаками и «свинцовыми» тучами. В небесах металлолом и грохочет страшный гром.

Он очень гордился, что за эти «Бронзовые облака» его приняли в Союз писателей. Вообще, он очень гордился собой и подбородок его был постоянно несколько приподнят. Я ему сказал по-простецки: «А ты знаешь, как член по-хуторскому?» И он очень обиделся.

Другой был пока что не член, но изо́ всех сил старался стать членом. Для этого ему недоставало какого-нибудь эпитета. Он был рожак с этого хутора. Года два или три назад он покинул родимый порог и устремился в областной центр в поисках поэтической славы.

Оба они дрыхли как убитые после юбилейных торжеств со стихами и «Московской». Я как раз лечился от алкоголя и на юбилее не был. Наш Хозяин, который любил покровительствовать всякой творческой интеллигенции, особые надежды, кажется, возлагал на меня, так как не без его помощи мне удалось наконец-то выпустить книжечку стихов с портретом на обложке, в которой не только ничего не было о роли партии, но и ни разу не упоминалось о ней. Но как он мне ни старался покровительствовать, я раз за разом его подло предавал, запивая втёмную с разными бродягами и алкашами местного значения. Он терпеливо всё это переносил и не выселял меня за пределы своего княжества. Больше того, он ещё и давал мне работу в местной редакции в периоды между запоями. Так что работал я в этой редакции раз семь или восемь. Дело дошло до анекдота. Бухгалтерша спрашивает: «Витя, да ты у нас работаешь или нет? Тебе начислять зарплату?» — «Валентина Ивановна, а вы спросите у редактрисы». — «А я уже спрашивала — она не знает».

Хозяин был рад, что я наконец-то вылез из алкоголя, и к банкету меня близко не подпустил. Так бы заботились обо всех алкашах, давно бы на земле была райская жизнь.

Член правительства оказался заядлым рыбаком-любителем и мне, как бывшему рыбаку-профессионалу, поручалось ответственное задание познакомиться с Доном и рыбацкой ухой. Хозяин в этом деле мне целиком и полностью доверял.

Ещё к нам присоединился мой духовный отец, фронтовой поэт, который любил мои стихи, прочил мне великое будущее, запивал вместе со мной втёмную, старался беречь свою репутацию и жить честно на свою пенсию майора в отставке. Он хоть и прошёл всю войну, и был участником Великой Сталинградской битвы, и знал лично Твардовского и Шолохова, оставался в жизни очень скромным человеком и ещё более скромным поэтом. Он меня ругал, что я бросил институт, что не стремлюсь получить высшее образование, что я много пью, а главное, ни во что не верю. Но ругаться за всю войну даже по матушке он так и не научился как следует.

Утром все собрались в моём купеческом особняке, член правительства был слегка помят, об остальных и говорить не приходится.

Сначала мы пошли к «гадюшнику», чтобы опохмелиться пивком и взять рядом в магазине чего-нибудь на дорогу. К члену правительства я поначалу относился с опаской — с детства приучен не то что бояться начальства, а держаться от него подальше, пока не позовут. Я принципиально не стал принимать участия ни в закупке спиртного, которое надо было в магазине выпрашивать, так как не было ещё одиннадцати часов, ни в стоянии в очереди за пивом, так как желающих опохмелиться в нашем городе-станции всегда по утрам слишком много. Член правительства сам встал в очередь за пивом и покорила меня своей демократичностью. Правда, никто из трясущихся знакомых и незнакомых мне алкашей не обратил на него никакого внимания. Я как-то сразу позабыл, что служил он верой и правдой Иосифу Сталину, Никите Хрущёву, теперь служит Брежневу, кто там на очереди?.. Смотрю, берёт четыре кружки пива и несёт мне две. Судьба? Рок? Фатум? Как скажешь члену правительства, что я лечусь от алкоголя и что её, родимую, мне в рот брать нельзя. Хорошо ещё, вовремя подоспели остальные с сумкой водки из магазина и то, что я не «уважил», не выпил пивка с членом правительства, как-то осталось незамеченным. После этого почувствовал я себя скверно.

До Дона от «гадюшника» рукой подать. Лодку я приготовил заранее, заправил два бака бензином и подтянул кое-какие гайки у лодочного мотора «Москва», который в любую минуту может подвести. Дон ещё не вошёл в берега, вода не отстоялась и была мутной и неприветливой. «Какая река!» — сказал член правительства, и я ему поверил, хоть отлично знал, что река совсем не такая, что ни рыбы в ней теперь, ни чистой воды, один внешний вид.

Поэт с «Бронзовыми облаками» слегка задрал подбородок, высокомерно озирает скромную флору в поисках подходящего эпитета. Я уже знал, что поэт-фронтовик растерял всю свою храбрость на войне, что воды он боится как огня, поэтому усадил их с членом правительства рядышком на скамейку перед собой. Поэт с «Бронзовыми облаками» устроился на самом носу лодки, как некий талисман, который приколачивался во времена оные к носам почти всех плавающих средств. Я не без труда завёл свою «Москву» и погнав основательно пригруженную лодку вниз по Дону. «Груз» у меня после пива оказался довольно беспокойным. Хорошо ещё, что два фронтовика сидели смиренно. А два поэта на носу не только вертели головами, но и вертели сами, вероятно, в поисках объектов, достойных быть воспетыми на века.

Мимо довольно быстро менял ландшафты обрывистый левый берег, подмы-

ваемый полый водой. Кое-где он обвалился вместе с деревьями. А повыше Старого Городка с обрыва съехали штук пять осин и недоумённо растопырились, изображая веер.

— «Крик!» — крикнул поэт с «Бронзовыми облаками» и для выразительности растопырил пальцы пухленькой ладошки. Это было получше «Бронзовых облаков», но в своём поэтическом порыве он едва не вывалился из лодки.

— Заткнись и сиди смирно! — крикнул я ему не очень вежливо.

Он кровно обиделся и отвратился от меня, как от ничтожества, ничего не смыслящего в поэзии.

Когда приблизились к Старому Городку, я хотел сказать члену правительства, что, мол, вот отсюда начиналась наша станица, что тут знаменитая Мажарова яма, в которой когда-то ловились сомы и сазаны, но промолчал. По правому холмистому берегу, уютно устроившись в распадках, проплыли два хутора, сначала один, потом другой. Но никого они не заинтересовали, никто не спросил даже, как они называются. Я видел, как мой духовный отец обеими руками держится за скамейку, стараясь отодвинуться подальше от борта и в то же время ничем не стеснить члена правительства. Я старался жаться как можно ближе к берегу, чтобы он чувствовал себя увереннее. Но вот обрывистый берег кончился, надо сворачивать в узкую быструю протоку, которая, извиваясь, устремляется в густой и непролазный с виду лес. Тут уж я моему другу, фронтовому поэту, ничем помочь не мог. Беда в том, что у лодок нет тормозов. И в критических ситуациях остаётся всего лишь два исхода: или проскочить, или перевернуться. Перевернуть лодку я не мог по той простой причине, что слишком долго приходилось мотаться по таким вот протокам, порой перетаскивая, а порой и перепрыгивая с ходу завалы. Но они-то этого не знали. А когда тебя везут, но не сам ты управляешь, всегда страшнее, будь то лодка или кавказское такси. Я, например, не очень хорошо отношусь к городам, а особенно к пропастям между ними. Я вспомнил, как вёз меня один кавказец с озера Рицы до Адлера. Он правил одной рукой и искоса поглядывал на меня. Но я мудро решил: раз тебе жизнь не дорога, то мне тем более. Я спокойно закурил, и он тут же перестал лихачить. Это подленькое проявление власти даже в таких примитивных обстоятельствах, к сожалению, свойственно многим людям. Но мне было не до лихачества. Хорошо, когда на вёслах сидит напарник, такой же рыбак профессионал. Я же положил их на дно лодки, чтобы они ни на сантиметр не высывались из-за бортов. Вообще-то ничего страшного. Над головой сплошной зелёный свод, за бортом бурная вспененная вода, а впереди узкий лабиринт гротов с крутыми поворотами то направо, то налево. Дорогу эту я когда-то знал неплохо, но в половодье она постоянно меняется. Поэты на носу притихли, то и дело пригибаясь от пронсящих над головой веток. Протока распалась на несколько рукавов, и по одному из них мы выехали на простор широкого чистого озера. По ту сторону хутор. Петя, который вот таким поэтическим образом наконец-то возвратился на родину, показал свой дом. Мы подчалили чуть ли не к самому пряслу его двора. Во дворе гуляли...

Было начало мая, и непонятно, какой праздник они отмечали. То ли всё ещё провожали 1 Мая, то ли пили по случаю Дня печати и дня рождения Карла Маркса, то ли уже встречали День Победы. Промежутки между этими праздниками так малы, что, действительно, не стоит прерываться и начинать трудовую жизнь. А пока они допевали какую-то старинную казачью песню, скорее похожую на плач по покойнику. Мотора они не слышали и нас тоже не видели. За наскоро сбитым столом посреди двора сидело всё оставшееся в живых население хутора, человек пятнадцать, шестнадцать. Два ветерана в шевиотовых пиджачках образца 1947 года, обвешанных орденами и медалями, остальные — старухи. Детей вообще не было видно. Весь этот праздник со стороны выглядел довольно-таки печально и слегка смахивал на похороны.

Никакой музыки, никакого радио или патефона. У Пети, наверно, дрогнуло его поэтическое сердце, и он, забыв про нас, устремился к своим землякам. Те прервали песню и уставились сначала на него, а потом на сопровождающих его лиц, как на выходцев с того света.

— Петька!!! — приподнялся из-за стола тот, на ком было побольше орденов и медалей, взмахнул культёй, обвязанной грязноватой белой тряпочкой, и упал. Нет, он не умер от радости; что наконец-то его блудный сын возвратился к отчему порогу, он уснул. Он ещё попытался приподняться с матушки-земли, как боец, сражённый вражеской пулей, но силы окончательно покинули его. Петька начал виновато пожимать руки своим землякам, не обращая внимания на повергнутого отца. Родную мать он тоже обнять не посмел, а пожал ручку по-городскому. Мы неловко топтались в стороне. Тут Петька вспомнил, что покинул таких важных и дорогих гостей, и, бросив земляков, устремился к нам. Нас усадили за стол, потеснив старух, которые всё ещё были красивы древней казачьей красотой. Петиного отца облили холодной водой из колодца, вода в этом колодце, видно, действительно была «живая», он тут же приподнялся и продолжил монолог:

— Петька! Сукин сын, да где же это ты пропадал?!

Петька «пропадал» всего в полтораста километрах в областном центре, но отсюда казалось, что это действительно на какой-то другой планете.

— Давай выпьем, подлец!

Нам наполнили гранёные стаканы и стаканчики белой жидкостью под названием всё та же «Московская». Ни телеграммы, ни письма, оказывается, сюда не доходили, а вот «Московская» каким-то чудом умудрялась доходить. Но про телеграммы и письма подлец Петька, конечно, тут же на ходу сочинил. Никаких писем, а тем более телеграмм Петя домой не посылал, надеясь, что земляки, в том числе и мать с отцом, скоро о нём услышат. Газеты, радио и телевидение будут взахлёб рассказывать, какой на Руси появился ещё один талантливый поэт. Но мечте не суждено было сбыться, и Петя вернулся домой хоть и не на белом коне, а на лодке — и с довольно-таки знаменитыми гостями. Земляки, конечно, в этом деле тупые, им не объяснишь вот так сразу кто есть кто. И Петя изо всех сил старался показать, что это люди непростые и требуют к себе особенного внимания. Ему, конечно, было неловко за отца, который снова ожил и начал материться к месту и не к месту, то нападая на «сукиного сына», то в порыве родительских чувств пуская слезу и стараясь всех подряд перецеловать, в том числе и члена правительства.

Нас сразу же заставили выпить «штрафную», это чуть ли не по полному чайному стакану «Московской». Таков в наших компаниях обычай. «Штрафная» даётся для того, чтобы гость, так сказать, сразу же вошёл в колею, сравнялся с компанией и чувствовал бы себя так же свободно, как и остальные. Это был едва ли не самый трудный момент в моей жизни. Стакан водки я выпить не мог, чтобы тут же не подохнуть, так как принимал лекарство от алкоголя «Антабус», и не выпить не мог, чтобы не обидеть народ. Обмануть этот самый народ мне помог Петя, он мне горячо сочувствовал и понимал, что алкоголь довёл до ручки не одного русского поэта. Вместо водки он незаметно подsunул мне стакан воды. А так как в силу сложившихся обстоятельств Петя был вынужден больше всего ухаживать за мной, то старухи решили, что я и есть самый главный и что со мной надо держать ухо востро.

— Митревна, ты погляди, как он пьёт, не морщится и не закусывает!..

Да-а, народ трудно обмануть. Морщиться я не стал, а так же, как и мои попутчики, охотно потянулся к закуске. А закуска, надо сказать, была на столе аховая. Особо выделялись посреди стола на здоровенной сковороде румяные куски жареного сазана, каждый величиной с кулак, тут же сом в томате уже на тарелках, стерлядь, чашка стерляжьей свежей икры, на которую,

кстати, никто из местных не обращал особого внимания, рвали зубами то ли кур, то ли жареных уток, а рыба, видать, приелась. Ну а солёная капуста, помидоры, огурцы, об этом и говорить нечего. Но особенно хороши были румяные домашней выпечки круглые пышные хлебны. Такого хлеба я давно не пробовал. Думаю, что ни мой друг, фронтовой поэт со своей майорской пенсией, ни даже член правительства не сразу сообразили, за каким же куском в первую очередь потянуться. После «штрафной» они почувствовали себя свободнее. До этого как-то всё ёжились и были явно не в своей тарелке. Одно дело ратовать за народ со страниц журналов, газет, по радио и телевидению. Там то именем народа, то с именем народа. Другое дело выпивать с этим самым народом. Да разве и тут собрался народ? Народ — понятие абстрактное, нечто великое, и увидеть этот самый народ наяву чрезвычайно трудно, если вообще возможно. А тут какой народ?..

Во! Приплёлся откуда-то дедуля годков под девяносто, если не поболее. Бодренький и хитрый. Росточком, кубыть, невелик, но кряжист, как пень с оголёнными корнями.

— И ты, Ерофеич, туды же, прореху бы хоть застегнул!

— Цыть! Мокрохвостые! Раскудахтались! — Сам ослобонил себе место у стола, уселся по-хозяйски, приказал: — Налей!

Ему налили стопку. Дед, нимало не смущаясь вниманием всей компании, выпил, стал закусывать. За столом выжидающая непривычная тишина, как будто дедуля должен сейчас сказать какую-то важную-преважную речь. Дед не заставил себя долго ждать и начал без предисловий:

— Эх! Поганцы! Поганцы! Совсем стыд-совесть потеряли! Ни старых не уважаете, ни малым ума не даёте. Всё пропили, всё разорили, поганцы! Ды разве ж, бывалыча, наш хутор таким был. Ды к празднику, к светлому Христову Воскресению!..— Дед обращался вроде бы только к хуторянам, но и нас это касалось.— Вот приехали люди, чёрт знает откель, а у вас ни у кого стыда-совести нет. Глянь, всё порушено, ни одной белёной хаты, ни одного целого прясла, так, срам один!..— Дед с отчаянья чуть не прослезился.

— Ерофеич, опомнись, хутора-то уж давно нету. Не завтра, послезавтра остальные все поднимемся на новые места!

Но Ерофеич на эти вразумительные слова не обратил никакого внимания:

— Ды какие же из вас работнички, когда вы праздник встретить не моёте!

Я заметил, что на деда глядят как на юридивого. Мол, давай, давай, дедуля, крой нас таких-сяких по-матушке! Это ж концерт, развлечение.

— Ды призвать бы суды атамана, ды он бы за такие дела всех вас на сходе запорол!

— Эка! Загнул, старый! Таперича у нас слобода!

— Холуйство у вас одно, а не слобода! Мать-перемать! Приедут вот такие в пинжачках, а вы им ж... готовы лизать. Слобода у них! Стенька-считавод начальник! Слобода!

С одного стаканчика дед разошёлся не на шутку. А если выпьет два? Что тут будет? Контрреволюция?

— Слобода у них! Бывалоча, всё тут было наше, а теперича обчее. Никому ничего не надо. Бывалыча, один нисчий на хутор был навроде Стеньки-считавода, всё книжечки про слободу почитывал да ребятишек умел строгать, а теперича все нисчие. Слобода! Как дело к Рождеству Христову, атаман запрягает мерина в сани с коробком и поехал по дворам: «Книжник-то наш до весны не дотянет, давайте, люди добрые, кто что может». Заметь! — Дед почему-то сразу сообразил, кто тут главный, и начал обращаться прямо к члену правительства.— Не Стенька-считавод по дворам с сумкой ходил, а сам атаман! Накладёт воз и муки, и картошки, и моркошки, и штанишек, и пальтишек и везёт нашему рывулюценеру на баз. Всем миром рывулюцене-

ра кормили, а вот теперича слобода!

Член правительства многозначительно молчал. Остальные деда слушать перестали. Люди длинные речи вообще не любят слушать, а под этим делом и подавно. Видно, надоело. Дед, видя, что глас его — глас вопиющего в пустыне, с достоинством встал и с не меньшим достоинством удалился.

— Слобода у вас ток водку пить!..

— Атаманом, говорят, был.

— Ага, атаманил на Соловках. Опосля войны пришёл.

— Не хочет старый из хутора уезжать.

— А как же?

— Ды никак. Сдохнет тут, мышцы объедят, только и делов.

После выступления деда «общество» немного отрезвело. Член правительства всё так же многозначительно молчал. Было заметно, что дед и его задел за живое. Ведь холуйствовать приходится не только простым смертным, но и членам правительства. И ещё неизвестно, кому больше. Но тут Петин отец, который до этого мирно подрёмывал, вдруг пробудился и «бросился» в атаку на немецкие танки. По случаю Дня Победы он подбил не то четырнадцать, не то пятнадцать штук. Ему снова налили, чтоб замолчал и свалился. Но он понял хитрый манёвр компании и пить не стал, а начал распространяться о своих военных подвигах, почему-то обращаясь ко мне. Я обязан был выслушать не только его военную биографию, но и дела мирские, в основном рыбацкие. Ведь он был рыбак профессионал, как и я когда-то, только из соседнего рыбколхоза. Обращался Петин отец лично ко мне, но, как опытный оратор, говорил громко для всех.

Размахивая культией, он старался изо всех сил доказать всем, а особенно гостям, что он не просто рыбак и пьяница, но и государственный человек. Ни рыбалкой, ни рыбой он не хвастался, боже упаси! Рыба вот она, на столе: и вяленая, и жареная,— чего тут хвастаться. А вот что председатель — подлец и все подлецы и негодяи не дают жить трудовому человеку — это было яснее ясного. В его лице и даже в том, как он ораторствовал, размахивая культией без трёх пальцев, я увидел копию, нет, почти точный портрет самого себя, и мне стало невыносимо стыдно. Так стыдно, что я с трудом удержался, чтобы не хватить стакан «Московской» вместо святой родниковой воды и тут же сравниться со всеми, и так же размахивать культией, и читать «обличительные» стихи, и доказывать, что все негодяи и подлецы, что правды не было и нет не только на этом, но и на том свете! Но поскольку это великолепно делал мой двойник, я почувствовал себя забытым, несчастным и вообще выкинутым из настоящей жизни. И ещё мне было обидно и больно, по-настоящему больно за мой народ. Казаки!.. Какие уж там казаки, даже не казачишки, а так, чёрт те что, рвань кабацкая!.. Наконец Петин отец выдохся, хватил, ни с кем не чокаясь, свою «штрафную» и через минуту окончательно вырубился. Его отнесли в дом баиньки. Все вздохнули с облегчением, а самое большое облегчение почувствовал, наверно, Петя, который не знал, куда глаза девать. Верховодить компанией остался, как я понял, Стенька-счетовод. К нему обращались уважительно: Степан Тимофеич. Худой и прямой, как жердь, он сидел за столом словно по стойке смирно. Рот раскрывал только для того, чтобы опрокинуть рюмку или закусить. Водка на него как будто вообще не действовала. Ни в одном глазу, а на лице такая начальственная строгость, что ошибиться никак нельзя — Стенька-счетовод. Он так многозначительно поднял очередную рюмку, что я уж было подумал: «Сейчас произнесёт какой-нибудь важный государственный тост вроде: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальём!» Но он молча и многозначительно окинул взглядом застолье, как свою вотчину, и водка только булькнула в его длинной глотке. Наконец все почувствовали себя вольно и разом заговорили. Даже я почувствовал себя слегка захмелевшим. «Допился, что с

простой воды шарики за ролики заходят». Мне отчего-то вдруг стало жалко нашего члена правительства. Никто его тут не знает и не почитает. Ведь ехали-то мы сюда на рыбалку, а не на пьянку. И вот, выходит, обманули человека. А кто виноват? Я?! Петин отец? Водка? Водка, конечно. У нас во всём виновата водка. Пьяницы виноваты. Они не только хутор, но и всю страну разорили и пропили. Скоро нечего будет ни воровать, ни пропивать. Напав на такую «важную» государственную мысль и горько сожалея о том, что Дон пропадёт, я, вроде бы и не пьяный, тут же решил поделиться ею с членом правительства.

Да, Дон пропадает. И не просто вот этот хутор или множество других хуторов, а сам Дон-река. Ведь в нём уже почти не осталось рыбы. Но как это доказать, внушить, что ли, члену правительства, когда она вот, на столе, и вяленая, и жареная, и даже чёрная, дефицитнейшая стерляжья икра! Нет, трудно, почти невозможно спорить с фактами. Не будешь же объяснять члену правительства, что эта рыба браконьерская, что наши рыбколхозы работают браконьерским способом, выполняют планы и получают премии и Красные знамёна за такой лов, за какой в старое время казаки таким рыбакам устроили бы самосуд и утопили в этом самом Дону.

И тут я почувствовал почти безнадежность. Кто хоть раз испытал это чувство на себе, тот знает, что это такое. А кто не испытал, тому не объяснишь. Есть в природе человека нечто такое, чего нельзя объяснить словами. Грусть, тоска, обида, зло — всё это по сравнению с безнадежностью чуть ли не развлечения. Безнадежность в человеке убивает человека.

Дальше я сидеть не мог. Я встал и пошёл, вроде бы посмотреть лодку. Я твёрдо знал, что уже через минуту обо мне никто не вспомнит. Лодка была на месте. Бутылки в сумке лежали нетронутыми. Коммунизм. Я положил сумку в трюм и закрыл на замок на всякий случай. Водки им хватит, а эта может и завтра пригодиться. Я прошёл немного вдоль озера, выбрал уютную полянку между кустов и прилёг отдохнуть. Уже вечерело. На западе потихоньку остывали, отражаясь в дальнем конце озера, бронзовые облака, с севера высунула краешек тяжёлая свинцовая туча, которая не предвещала ничего хорошего, а высоко над головой беспечно парили, словно ангелы, лёгкие дюралюминиевые облачка. Вода в озере была как голубой булат. От нечего делать я собрал сухих веток и разложил небольшой костёр. Не знаю почему, но у костра я почти всегда успокаиваюсь.

Ни кола ни двора,
Вор ворует у вора!
Ни царя, ни бога нету,
Пей, гуляй, гони монету,
Развесёлая пора!..

Вот это частушки! Никогда не слышал. Кто же это там запеснячивает? Голос звонкий и молодой. Что ещё за привидение?! И движется с бугра от хутора прямо на меня. Подошла, стоит с цибарками в руках и бесцеремонно разглядывает меня.

— Здравствуйте.— В хуторах все со всеми здороваются.

— Здравствуй.

— Чего это вы тут расположились?

— А что? Нельзя? Частная собственность?

Она улыбнулась:

— Какая собственность?! А вы чего ж не гуляете?

— Я уж своё отгулял.

— Ой ли! Что-то непохоже.

— Огород, что ли, поливаешь?

— Какой теперь огород? Скотину надо напоить.

— А ты чего ж не гуляешь?

— Ну их! Надоело! Какой уж день не просыхают! И старухи-то все как с ума посходили!

Чтобы продолжить разговор и не дать ей вот так сразу уйти, я рассказал, как какая-то древняя бабка пришла поглядеть на гостей.

— Фоминиха, — подсказала она.

— Наверно, Фоминиха. Села рядом со мной, достала из-под фартука бутылку «Московской» — стук по столу! А на неё ноль внимания. Тогда она потихоньку бутылку со стола снова под фартук. Подождала, пока все малость притихнут, и снова бутылкой стук по столу!..

Моя собеседница звонко расхохоталась.

— Да ты сядь со мной, посиди. Куда спешишь?..

— Вот скотину напою, приду, посижу. — Она ловко спустилась к озеру, бесстыдно нагнулась, так, что мне пришлось отвести глаза, зачерпнула сразу обе цибарки, свободно распрямилась и легко пошла подниматься по довольно крутой тропинке к хутору.

Ну и девка! Настоящая казачка! И какая простота! А вдруг не придёт?! Найдут... Вон идёт. Опять с цибарками.

— Сколько там у тебя скотины?!

Остановилась, посмотрела долгим взглядом: «Встал бы городской да продуманный, помог, вот и узнал бы, скок скотины...» Я уж было начал приподняться, но она меня остановила:

— Вот корове болтушку наведу, подою и приду.

Уж лучше бы она не пришла. Ну что я с ней трезвый буду делать? Когда совесть зальёшь, тогда всё можно. А так...

Идёт. Подбрасываю веток в костёр. Приделась, причесалась, а не надо бы, так было лучше. Я было засуетился — снять куртку, подстелить, но она уже присела на бугорок, плотно обхватив колени. Смеркается. Молча глядим на озеро. Бронзовые облака потускнели, окислились, зато свинцовая туча из-за бугра вылезла основательно. Как бы она не испортила всю обедню. Поднялся ветерок, озеро покрылось первой лёгкой рябью. Где-то блеснула молния, потом тяжело, как реактивный, прогрехотал дальний гром. Я взял её за руку повыше локтя:

— А ты красивая.

— Не надо. Зачем вы? Какая я красивая? — Мягко отстранила руку. — Вот у вас в городе красавицы! Накрасятся, нарумянятся, глаза синим подведут, чисто утопленницы из нашего озера.

— А у вас в озере есть утопленницы?

— А как же! Вы и не знали?! — Гоголя начиталась.

— Ну и чем же занимаются ваши утопленницы? Хороводы водят, парней соблазняют?

— Тоже скажете. Кого тут соблазнять? Пашку, что ли?.. Его уж водка соблазнила навеки-вечные. Как водки нет, весь одеколон у бабок попьёт.

Это она уже про меня. Не надо.

— Ну а русалки?

— Какие русалки? Утопленницы. Это те, что от несчастной любви либо обмана. Бабка говорила, что и в старое время обманывали.

Сначала я думал — шутит. Но она вроде бы на полном серьёзе. Говорит уверенно, спокойно. Дурочка? Как будто непохоже. Впрочем, в наше время дурака от умного попробуй отличи.

— Жалко, луны нет, а то бы я вам показала.

— Что показала?!

— Да утопленниц, что же ещё. А без луны их не видно.

Посидели, помолчали, обозревая озеро и буйно цветущие сады по берегам. Они хоть и одичавшие, и брошенные, а цветут вовсю. Продолжение рода. Всюду продолжение рода. Природа хочет жить. Где-то в дальнем

конце озера грохнул выстрел. Стайка чирков, посвистывая, пронеслась и села недалеко от нас. Они чистое любят.

— Во! Пашка проспался.

Костерок мой совсем притух. Над головой показались звёзды. Туча зависла над бугром, как бы раздумывая, то ли двигаться дальше, то ли уж, на ночь глядя, не стоит. Ещё раз сверкнуло, лениво прогрохотало.

— А чем же вы здесь живёте?

— Как — чем?

— Ну, где деньги зарабатываете?

— Деньги-то? Я уж думала, вы о другом. А денег у нас куры не клюют. У одной бабки Фоминихи было с полсотни коз, а мы уж и со счёта сбились.

— Ну и что?

— Как что?! Вы же про деньги. Я с одного начёса по пять тысяч за пух брала.

А я-то думал — они тут нищие. Видать, дедуля про другую «нисчету» говорил. Да и она говорит про деньги как-то уж слишком равнодушно. Она словно угадала мои мысли.

— Разве ж в деньгах жизнь?

— Конечно, не в деньгах, но всё ж...

— Это вы там, городские, всё деньги, деньги. А нам куда их девать. Набьёшь бумажками трёхлитровую банку и думаешь, куда бы ещё закопать. И банку, не поверите, жалко, лучше бы варенья наварила.

— Тогда тут жить — помирать не надо.

— Какая уж тут жизнь, это у вас в городе жизнь, а здесь и поговорить не с кем...

Вон оно что, «поговорить не с кем». Всем нам поговорить не с кем, да и не о чем. Отучили нас давно разговаривать, а тем более рассуждать. Надо слушать и жевать готовое. Мы ведь тоже только пьяные и общаемся, и откровенничаем, хорошо ещё, что никто никого не слушает.

Разговор принял совсем не такое какое-то направление. Опять об этой сволочной жизни.

— А вы чего это так расспрашиваете? Или жить тут собираетесь остаться?

— Ага. Примешь в мужья?

— Господи, хоть сейчас пойдёмте, всё хозяйство с рук на руки сдам. Да вы не бойтесь! Коз-то уж нет, коз перевели.

— Как перевели? Зачем?

— Приехало начальство из района и велело коз ликвидировать. Хутор тоже этим летом ликвидируют. Неперспективный. Так что, видно, ничего у нас не выйдет.

— Быстро же ты назад пятками! А я уж подумал: правда остаться, что ль. Красота-то у вас вон какая! Да и сама!.. А не боишься вот так со мной сидеть?

— Чего бояться-то? Вы что, кусаетесь?

— Ну, увидит кто, сплетни пойдут.

— Господи! Кто увидит-то?! Пашкин кобель? Так он ещё не разговаривает. Всё понимает, а вот разговаривать никак не научится. А вот и он. Байкал! — Подошёл Байкал, из породы русских гончих, и, не спрашивая разрешения, улёгся между нами. — Он сам и скотину стережёт, и на баз загоняет, и Пашку пьяного с мотоцикла стаскивает, кино за него скоро будет крутить, правда, Байкал?

Я пошерудил совсем было потухший костерок, не поленился — встал, подсобрал веток, у огня всё-таки как-то уютнее. Вдоль озера послышались чьи-то шаги. Из темноты в отсвет костра выступило лохматое существо, с виду похожее на человека. Под мышкой небрежно зажат приклад ружья, рука в кармане, ружьё висит вниз стволами, как палка.

— Ты чё тут сидишь? — заговорило оно хриплым человеческим голосом.

— Хочу и сию, твоё-то какое дело!

— А это кто такой?

Существо повернулось так, что стволы мёртвыми кругляшками отверстий уставились мне в лицо.

— Гость. Ружьё-то убери, охламон! Петька гостей привёз, а ты всё на свете проспал, охотник!

Существо тут же потеряло к нам всякий интерес, быстро исчезло в темноте. Байкал было поднялся, чтобы идти следом, но передумал, лёг.

— Звать-то тебя как?

— Во! Наконец-то догадались. А то уже целый час, разговариваем, и всё «ты» и «ты». Валя меня звать, Валя. А вас я знаю.

Так пристыдить меня можно было только во время непорочного детства.

— Извините, Валя, а откуда вы меня знаете?

— В газете вы работаете. Господи, да я же вас сколько раз видела, даже книжечка стихов у меня ваша есть. Вы уж не обижайтесь и не подумайте, что я там чего-то из себя воображаю, но знаете, как-то обидно, когда и фамилию не спрашивают.

— Да ну... Извините, я не обижаюсь... Вы правы... В общем...

— Вот видите, вы же меня готовы чуть ли не утопить. А я ведь ничего такого не сказала. Да и обижать вас не хочу... Только вас жизнь с какой-то не той стороны интересуется. Не душа интересуется, а козы, деньги, кино. А ни в чём этом души-то и нет. Душа вот в озере, в травинке, в дереве, вон посмотрите, как старая груша расцвела, во всём есть душа, а в жизни одни слова. Мы с вами говорили, говорили, а слова все пустые, потому что жизнь пустая. Вынули из неё душу... Вы вот спросили, не боюсь ли я? А кого мне бояться или стыдиться? Или кому мне себя беречь? Пашке, что ль? Или вот Байкалу? А ведь просто так, без души, можно и с кобелём.

— Ну, Валя, прости. Все мы кобели. И я ничуть не лучше Пашки. Это я сейчас от водки лечусь, а то бы уже валялся где-нибудь под плетнём.

Наконец-то упали первые капли дождя. Ярko сверкнула молния и гром грохнул по-настоящему.

— Пошли, я тебя провожу да пойду к своим спать.— Встал, подал ей руку. Она легко поднялась.

— Пошли уж... В хату...

* * *

В то утро я испытывал чувство, довольно-таки близкое к блаженству.

Ночью за окном полосовали молнии, грохотал гром, лил дождь, а она, как в горячечном бреду, всё повторяла и повторяла:

— Оставайся, а? Оставайся...— Это еле слышное слово звучало как вздох, как заклинание, как стон измученной одиночеством души.

Оно не давало мне сосредоточиться на главном.

— Молчи, останусь...

Но утром и она поняла, что всё это из области чистой фантастики. В своё время она кончила педучилище, вышла замуж. «А он как пьяный встал из-за свадебного стола, так до самого развода и не проспался». Биография каких тысячи, миллионы, судьбы только разные, а биографию можно составить одну стандартную и только вписывать в неё нужные имена и фамилии. Приехала в родной хутор учить детей, а учить некого. Мать померла, козы, хозяйство... Изредка вот такие случайные гости, вроде меня...

Но в то утро я был на краю блаженства. И даже подумывал: а правда, не остаться ли?.. Ну что я теряю там, в этом сволочном, испоганенном мире. Пускай всё идёт, как идёт.

До света ещё она подоила корову, согнала с база. Вошла свежая, как

ясная зорька. Процедила и подала мне кружку парного молока. Я выпил, протянул к ней руку, и она с готовностью сбросила платье, и утром это было даже лучше, но вечно же это продолжаться не могло. Я вспомнил, какие важные люди меня ждут, какие важные дела. А она всё-таки не утерпела, отомстила.

— Может, откопать вам на дорогу баночку.— Снова перешла на «вы».

— Какую баночку?

— Да трёхлитровую, с бумажками. Заработали.— И тут же покраснела, пожалела, и по щекам потекли слёзы.

Проводы были трогательными. Провожали нас всем хутором. А у Старого Городка уже ждал Хозяин со всей свитой. Так было условлено. Как же! Историческое место! Сюда только и возить именитых гостей. Отсюда начиналась наша станица. Об этом ещё в журнале у Петра I записано, который вёлся при походе на Азов: «Да прошли речку Медведицу, впала в Дон с левой стороны, да городок Медведица же стоит на левой стороне».

* * *

— Дед Мажар! Дед Мажар!

— Ну чего всполошились, супостаты?

— Там гроб!

Этот гроб нас ничуть не напугал. Он нас удивил. Мы сразу догадались, что гроб этот не от недавней войны, а из глубокой сказочной древности. От недавней войны гробов тут было мало. Скелетов и лохмотьев было много. Однажды дожди обмыли, а мы раскопали два блиндажа. Открыли, а в нём шесть немцев, и все возле двери голова к голове.

— Наверно, воздух подтягивало,— сразу же определил Костя.

А мы тут обвалили часть обрыва над Доном, и вдруг показался угол чёрного, словно обугленного гроба. Кто в нём, что в нём, может, старинное оружие? Современным нас не удивишь. Мы попытались раскопать гроб руками, но это нам не удалось, и мы пошли к деду за лопатой.

Дед Мажар всё лето жил на обрыве над Доном в плетнёвой немазаной сторожке. Он перевозил с берега на берег жителей ближайших хуторов то на базар в станицу, то с базара из станицы, брал за перевоз по гривеннику и аккуратно отрывал от круглой кателки розовые билетки. Нас, пацанов, он перевозил бесплатно. Мы сами гребли. Мы его вольной жизни на берегу завидовали, мы ведь не понимали, что такое ВОЛЯ! Но мы уже знали, что свобода — это железная необходимость. Нам-то казалось тогда, что мы самые свободные и счастливые дети на земле. Впрочем, это нам внушили.

Дед нашему открытию не очень-то обрадовался.

— Значит, кладбище начало подмывать,— сказал он непонятно. Спятил дед. Какое кладбище на пустынном берегу Дона.

Пока он собрался, отыскал лопату и, кряхтя, пошёл осматривать чёрный угол нашего гроба, тот исчез. Как сквозь землю провалился. Такое поведение гроба деда не очень-то удивило. Его, наверно, трудно было уже чем-нибудь удивить. И дед Мажар нам поведал, что это место называется не «Мажарова переправа», как все уже привыкли, а «Старый Городок». Что ещё в незапамятные времена тут начиналась наша станица. Мы рты пораскрыли и даже на время позабыли о таинственном исчезновении гроба.

А дед Мажар показал — вон в том месте, где из пруда вытекает ручей и, словно маленький водопад, всё лето падает с обрыва в Дон, нет, сначала не в Дон, а в подвешенную дедом широкую сапетку. «Ловись, рыбка, большая и малая». Дед спит, водопад журчит, смотришь, какая рыбёшка и свалится прямо в дедову садовню, из которой мы тоже, бывало, её потаскивали. А вообще-то, на Мажаровой переправе самые сомы и сазаны, а уж про лешей или

какую другую рыбу и говорить не приходилось. Оказывается, этот ручей и был когда-то руслом Большой Медведицы. А текла она об самые пески, через всю Ширину, Большое Вяжное озеро, пруд... Откуда в лесу возьмётся пруд, озёра прудами у нас никогда не называли. Тут, наверно, казаки сделали первую запруду. По дедову рассказу выходило, что Большая Медведица была как живая. Пока казаков было мало, пока они прятались в лесах, Медведица текла рядом. Но как только они поокрепли и переселились на правый степной берег, она сменила русло и стала впадать в Дон прямо против станицы, там теперь Малая Медведица. Потом поведение казаков Медведице, видно, чем-то не понравилось, и она ушла вверх по Дону за монастырь и оставила там Старую Реку, но и там, в Монастырском лесу, ей не поглянулось, и она перекинулась ещё выше к Лысой горе, дальше идти некуда.

Казаки же на левом берегу были «левыми» — против царя и Москвы, на правом берегу стали «правыми» — за царя и отечество. И не думали они, и не гадали, что на этом правом вольном берегу их когда-нибудь превратят в подобие рабов.

— Дед Мажар, а казаки были храбрые?

Дед Мажар вдруг как-то весь вытянулся, подобрался и сразу стал похож на настоящего казака.

— Во какие были казаки! — показал он внушительный кулак. И мы сразу поняли. Силу кулака у нас никто не отменял.

— Дед Мажар, а мы тоже казаки?

Дед сразу сник, ссутулился, стал обыденным и скучным.

— Какие вы казаки...

— А кто же мы, мужики?

— Тьфу! Поганцы! Мужики!.. Придумали... Мужики...

— Тогда кто же мы?

Но дед Мажар не знал, кто же мы. А Димка сразу догадался:

— Мы никто. Мы советские. Мы самые счастливые и свободные дети на земле!

Дед плюнул, махнул рукой и поплёлся в свою сторожку.

На высокой обрывистой круче над Доном расположился наш город-станция. Множество тропок по ней сбегает к его чистым и тихим водам. Выйдешь на кручу над Доном, и открывается отовсюду просторный вид на луга и леса, и глаз не нарадуется, особенно весной, в разлив, когда поляя вода живым огромным зеркалом на много, много вёрст отражает всё вокруг, а уже распущенные вербы с первыми зелёными листочками нежно глядятся в неё. Дальше видны задонские хутора с белыми хатами и куренями, дальше отсюда виден ни больше ни меньше как земной рай.

Дон, сделав широкую петлю, как бы в подарок отрезал станичникам часть левобережья с лесом и озёрами под названием Брехунья, ныне Комсомольская роща. Там были самые бои, и мы находили потом немало добра, которое взрывается и стреляет. Глубокий овраг, по-нашенски Птахин буерак, делит город-станцию почти пополам. Когда-то здесь была речка, и по дну до сих пор ещё бежит родниковая вода, но её давным-давно загадили...

* * *

А в Ширине душится рыба...

В той самой Ширине, которая как бы живёт одной жизнью с Доном. В Дону зимой поднимается вода — и в Ширине поднимается, в Дону опускается — и в Ширине опускается. Как будто она редко, редко дышит...

Наверно, подземные тайные ходы соединяют её с рекой и уже со всем остальным миром. Тайна единения с миром, сколько лет она волнует человечество...

Ширина — это и пространство, огромное пространство нашего детства и юности, которое не имело берегов, вмещающая вселенную и вечность, самые далёкие звёзды и необыкновенные, ещё не открытые миры. Жизнь тогда нам казалась бесконечной...

«Пятак поймал шесть мешков!!!»

Значит, с полмешка, а то и целый мешок Пятак поймал точно. Он наипервейший специалист по «духам», по обсыхающим к осени музгам и озёрам, в общем, по всем тем местам, где рыба начинает гибнуть. В настоящей рыбалке Пятак дундук дундуком. Но имеет особый нюх на разные заморы, которые случаются всё чаще и чаще.

Пятак не один. Одному брать рыбу, особенно накрывалками, несподручно. Пятаки обычно объединяются в шайки. Каждая шайка старается захватить пересыхающее озеро первой. На их жаргоне это называется «по свежачку». После налёта шайки накрывальщиков в озере остаются одни лягушки да чудом уцелевший сазан или карась. А чтоб озерцо скорее обмелело, его надо «протоптать». Выражаясь на простом человеческом языке, побродить по нему, нарушить такую хрупкую илистую оболочку дна, и вода начнёт уходить прямо на глазах. После её надо хорошенько взмутить. После подготовительных операций шайка накрывальщиков выстраивается в шеренгу и нападает на обречённую рыбу. Издали это довольно любопытное и мрачноватое зрелище. А поближе ещё любопытнее и мрачнее. Глаза накрывальщиков бессмысленно вытаращены в пространство. Стой ты на берегу хоть в десяти шагах, тебя вряд ли заметят. Они, словно в экстазе, ничего не видят. Спины у всей шайки сгибаются в одновременных и частых поклонах. Как будто это бредут паломники, верующие в неизвестно какого бога. Впрочем, известно, в бога Хапуна. Ни шума, ни разговоров. Птицы и разная живая тварь вокруг словно тоже умолкают, поражённые столь необычным зрелищем. Только частые сочные всхлипы будоражат осеннюю тишину. Вот один замирает, потом запускает по самое плечо руку в накрывалку и начинает ловить мучущуюся там рыбину. Накрывалка вздрагивает от мощных толчков. Другие безошибочно определяют: «Сазан» — и смотрят на своего соучастника чуть ли не с ненавистью. Ведь тут не как в настоящей артели — всем поровну. Нет, тут кто успел, тот и съел.

Один мой землячок, давно обосновавшийся в столице, чуть ли не взахлёб рассказывал, как они брали сазанов в глухом лесном озере.

— От него такой бурун!.. А ты на него!.. — В глазах у рассказчика появился нехороший блеск. Руки сами собой взметнулись над моей головой, как будто он и меня собирался «накрыть». Я невольно отстранился.

— Нет, это спорт! Это настоящий спорт!

Лично я таким «спортом» никогда не занимался и не смог оценить восторга этого «спортсмена» по достоинству.

Я и сам немало рыбы передумал. Как-никак работал в рыбколхозе. Тогда мы решили спасти Дон! На общем колхозном собрании в недостроенном гараже люди сидели где попало, и только красная скатерть на столе президиума да Красное знамя в углу говорили о серьёзности и исторической миссии происходящего.

Рыбаки курили, жёны рыбаков лузгали семечки, какая-то несмышлёная дворняга вертелась под ногами. На неё шикали, легонько пинали ногами, но она упорно не желала уходить, потому что хозяин был тут, хоть и делал вид: мол, я не я и собака не моя.

А от стола президиума неслись речи:

«Хватит жить по старинке, куда кривая вывезет! Надо спасать Дон. Нельзя пускать добычу рыбы на самотёк! Надо беречь и умножать рыбные запасы!...». И много ещё всяких «надо!».

Рыбнадзору прямо в глаза говорили, что он не столько охраняет, сколько

пропивает Дон! Новый председатель, который был до этого заведующим рыбпунктом, куда рыбаки сдавали рыбу государству, произнёс против рыбнадзора целую обвинительную речь. Хоть сейчас бери и сажай в тюрьму. Его поддержали жидкими аплодисментами. Сразу было видно, что пропивают Дон не одни деятели рыбнадзора.

Таких собраний я ещё никогда в жизни не видал. Тут голосовали не только «за», но и «против». Я тоже голосовал или «за», или «против». Но в душе я не был равным среди равных. Я чувствовал, что здесь настоящие люди, много настоящих людей. Тут не только свобода, тут уж воля!

Самый первый приказ нашего нового, молодого, перспективного бригадира гласил: «Смотайся в озеро Орешино и погляди, сколько там воды».

Я добросовестно сел на велосипед, переехал по понтонному мосту Дон и покатил по просёлочной дороге в сторону Орешина, совершенно не соображая, сколько в нём должно быть воды и как определить её запасы. Я катил вдоль Дона, радуясь, что я честно выполняю самый первый отданный мне приказ. Дорога эта уютно виляет меж прибрежных тополей, то с размаху вылетит на самый обрыв, словно для того, чтобы убедиться, что Дон вот он, весь тут, а потом вдруг сворачивает в сторону на луг, к Ширине, но, не добежав до её просторных плёсов, снова ныряет в лес, туда, где недалеко за Шириной, как бы прячась в лесу от людских глаз, затаилось озеро Орешино. Но от людских глаз не спрячешься...

Не раз и не два стоял я на этом уютном озере вечернюю зорю. Пришло время, что Ширину городские охотники начали оккупировать, да так густо, что дробине негде упасть, поэтому я и уходил на Орешино, хоть уток меньше, зато спокойнее. Бросив велосипед в кустах, я подкрался к тихим заросшим плёсам. С большого плёса сорвалась стайка чирков. Давно ли мы здесь охотились и рыбачили? Всё те же тополя, на полуострове чуть ли не посреди озера раскидистый мощный вяз, всё то же, а мы, кажется, уже ушли отсюда насовсем. Димка где-то в Сибири, да и я, не уезжая никуда, как будто тоже ушёл отсюда насовсем.

С такими невесёлыми мыслями подошёл я к главному плёсу, стараясь определить, сколько же в озере воды. Воды было примерно столько же, как и всегда в конце лета. Об этом я и дома знал. Но чтобы в точности выполнить приказ бригадира, я разделся и забрёл на середину плёса. Воды было по грудь. Я догадался ещё в правлении, что этот приказ никому не нужный. Но нашему новому бригадиру надо было отдать кому-то свой самый первый приказ. А дед Максай, который до этого двадцать лет был бригадиром, но чем-то, видно, не понравился новому председателю, был мудрый и в это дело вмешиваться не стал. Мы, конечно, быстро поумнеем. Рыбачье дело дураков не любит. Тут не «раз-два, взяли!». Тут головой соображать надо. Бригадир и потом приказы отдавал, множество приказов, но дед Максай их как-то незаметно уточнял, и все были довольны. А пока я честно выполнил приказ, вернулся в правление и доложил:

— Воды в Орешино по грудь.

День был жаркий. Мы взяли колхозный грузовичок, поставили в кузов две порожние бочки, посадили участкового инспектора Емельяна Кривова и поехали спасать сазанью молодь. С Емельяном я ещё недавно учился в одном классе и даже сидел за одной партой. У Емели была одна и та же шутка: как только я зевну, а зевал я на уроках часто, тут же сунет мне палец в рот. Мне это надоело. Я сладко раскрыл рот и сразу щёлкнул челюстями, как какой-нибудь хищник. Емеля взвыл, переполошив весь класс. С урока нас удалили вместе... Но вот он стал инспектором рыбнадзора и сразу же из Емели превратился в Емельяна, и тут уж ему палец в рот не клади, всю руку оттяпает. Емельян сидел рядом со мной, привалившись к кабине, на голове у него фуражка с кокардой, сбоку наган, на коленках планшетка

с бланками протоколов. Оба пригибаемся, когда какая-нибудь ветка пытается сшибить нам головы, и я обращаюсь к нему серьёзно и даже немного почти-тельно:

— Емельян...

Но разговаривать особо не о чем. Это раньше общаться с ним было довольно легко. Он смеялся. Не надо было острить, чтобы рассмешить Емелю. Как говорят, покажи пальчик, и он уже смеётся. А на уроках у доски он обычно «замыкал». Скажет своё знаменитое «Ну!» — и дальше без подсказки не сдвинется с места. Теперь Емельян начальник. Браконьеры его боятся как огня. Обычно он произносит своё знаменитое «ну!» и «замыкает», и тут с ним уже не договоришься.

Боятся Емелю, но только не настоящие прожжённые браконьеры. И жизнь у Емели — дом отгрохал, в доме полная чаша, ну чуть ли не по щучьему веленью.

Машина выходит на небольшой уютный луг недалеко за Шириной, и мы подкатываем к Озорникам. Это два озера на лугу — Большие и Малые Озорники. К осени они начали безнадежно мелеть, а то и совсем пересыхать. За что полюбили сазаны это коварное место, но из года в год они мечут икру здесь. Дело в том, что оба эти озера отрезает от Дона незаметно и быстро. Ещё вчера весь луг вместе с Озорниками сплошняком залит водой. Вода на сбые. Сазан идёт метать икру; как у нас говорят, «на бой», а на «бою» дурней сазана рыбы нет, он всякую осторожность теряет. «Трётся» в траве, в камыше, выставя спину наружу. Порют его острогой, вилами, бьют из ружей... Один лишь ручеек, петляя между подмытых корневищ тополей и верб и вдоволь напетлявшись, почти отвесно падает с обрыва в Дон. На этот жалкий ручей, оказывается, у сазанов вся надежда, чтобы, выметав икру, подобру-поздорову вырваться опять на волю.

По весне я, когда ещё не вступил в рыбколхоз, рыбалил перемётами. Хоть это тоже запрещённая снасть, но рыбнадзор смотрел на перемёты сквозь пальцы — так, забава для пацанов. Сети, вентера — тогда уж браконьер. А мне надоело каждый раз вздрагивать от звука лодочного мотора, тем более что даже Емеля попытался меня оштрафовать. Подлетает вечером на своей «дюральнойке»:

— Рыбалишь?!

— Не.

— Ну?! — Емелю замкнуло.

— Велосипеды ремонтирую.

— Гы-гы-гы!

— Ты бы хоть поздоровался.

— А протокол?

— А искупаться не хочешь?

— Гы-гы-гы! Вода холодная.

— Дай стрелкнуть из пистолета?

— На. А куда?

— Ставь спичечный коробок.

Через минуту мы позабыли, что я браконьер, а Емеля рыбнадзор. Мы вспомнили детство... И всё-таки я переключился на перемёты. На уху всегда поймашь, а вся неприятность в том, что надо копать червей в лесу, где тебя с восторгом поджидают тучи жаждущих насосаться крови комаров. Зато на Дону их мало. Насадил перемёты и полёживай где-нибудь на бережку, строй грандиозные планы насчёт собственного будущего и будущего целого мира. Ведь этот мир постоянно нуждается в перестройке, никому никак не сделать его совершенным.

Но в тот майский день я блаженствовал. Разделся до пояса. Рыба брала плохо. А когда рыба клюёт плохо, то как-то спокойнее на душе. Не надо

прятаться от рыбнадзора, хранить, везти домой, солить, вялить, оберегать от мух рыбу. В тот день я решил переночевать на Дону недалеко от ручья, что вытекает из Озорников. Большие Озорники были ещё полны воды, ручей весело журчал, падая с обрыва в Дон, и ни о каких сазанах я не думал. Набрал сухого плавуна на костёр, сгондобил из бурьяна и прошлогоднего сена удобный логово. Сварил ухи, сытно поужинал, лёг, закурил и устался на притихший внизу, под обрывом Дон.

На Дону я никогда не чувствую одиночества. Но мысли у меня были не очень весёлые. С этими невесёлыми мыслями я и уснул.

Первые капли упали на лицо крупные, как будто небо незаслуженно обидели и оно заплакало молча. Я попытался укрыться с головой плащиком, который в осеннем дождливом Ленинграде подарил мне поэт Игорь Григорьев. Он хорошо знал, что такое нищета. Как-никак, а мы оба были поэты. Он уже с книжкой, а я со стихами, которые Игорю нравились. Он поверил в меня, как в будущего поэта. Игорь с семнадцати лет партизанил на Смоленщине и много испытал на собственной шкуре. Как в человека я в него поверил безусловно. Он вовремя поддержал меня в моей неудачливой поэтической судьбе. У меня приняли рукопись стихов в издательство. А пока я старался дотянуть до аванса на рыбе и манне небесной.

Небо расплакалось не на шутку. Пришлось вылезать из своего логова и искать спасенья под высокими вербами возле ручья.

Мне показалось в темноте, что он подозрительно чавкает, как будто в нём кто бродит. Я подошёл поближе, присел на корточки, прислушиваясь и вглядываясь в мрак под ногами. И тут, словно для того, чтобы я ненароком не поломал глаза, всё вокруг озарилось от яркой вспышки молнии. И я увидел в ручье сазанов. Не одного, не двух, а сазанов, которые вытеснили остатки воды из этого скудного ручейка и спешили, ползли на боку, прыгали поскорее к Дону. Не раздумывая, я накинулся на них. Задержать, остановить, схватить! Поскользнулся, упал. Преграждая сазанам дорогу грудью, барахтаясь в грязи, я хватал их, они вырывались, прыгали через меня и уходили!.. Кажется, я что-то кричал, а они всё уходили, уходили и уходили. Как-то мне удалось зажать одного между колен и, подхватив под брюхо, выкинуть на берег. Пока я хватал другого, в коротком всплеске молнии увидел, что первый, прыгая не хуже акробата, скатился назад в ручей. Правду говорят, что в такие моменты бог лишает человека разума. Ведь недалеко в лодке у меня лежал широкий подсад, которым можно выкинуть на берег не один десяток рыбин. Но о нём я даже не подумал. Я хватал, хватал и хватал!.. Вспышки молний, трескучие удары грома, сплошные потоки воды и обезумевший человек, барахтающийся в гряде мощных рыбьих тел. О том, что это целое богатство, я тоже не думал. Я хватал и хватал! Во мне проснулся звериный инстинкт жадности. Нет, я неправ. У зверей нет такого инстинкта. Руки у меня уже все изранены острыми сазаньими пилами, но я этого не чувствую и не замечаю. Прижав к груди сазана, который молотит меня по морде мощным хвостом, кидаясь на осклизлый берег, чтобы отбросить свою добычу подальше. Падаю на четвереньки, рычу, а в сознании: они уходят, уходят и уходят...

Сколько это продолжалось и сколько бы продолжалось ещё... Но само небо словно решило отрезвить меня. Оно огненно разверзлось и обрушилось на мою голову всей своей тяжестью. Меня подбросило, я ослеп, оглох и беспомощно сидел в грязи, постепенно приходя в себя. Вербы над головой в такую грозу — это же, считай, гибель. Сазаны продолжали скользить и скакать мимо меня, но мне уже было не до них. Слегка контуженный, как близким разрывом снаряда, я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. И эти сазаны, и непрерывный блеск молний, резкие удары грома, полыхнувшая верхушка вербы, которая на миг расцвела огромным огненным цветком, — всё это уже мне представлялось в каком-то другом, нереальном, фантастическом мире. Кое-как встав

с четверенек, я кинулся берегом на луг на открытое место. Там под бесконечным ливнем я присел на корточки, накрылся Игоревым плащом и начал причитать неизвестные мне доселе языческие молитвы.

А я ведь уже потерял веру не только там в бога или чѐрта, но и в человека. Я уже ни во что не верил, кроме себя. Мне казалось, что себя-то уж я знаю, знаю все свои недостатки и достоинства и в любом случае могу управлять собой. Но эта ночь, это предупреждение свыше сильно поколебали мою уверенность. Одно воспоминание о том, что я вытворял, будучи в здравом уме и трезвой памяти, вызывало у меня нечто вроде нервного шока.

* * *

Машина подошла к Большим Озорникам. Знали бы рыбаки, что я вытворял тут весной! Ручей давно высох. Озорники давно обмелели. Подъехав ближе, мы увидели в озере шайку накрывальщиков. Они не обратили на нас никакого внимания, продолжая хлопать накрывалками.

— Вот туды-т твою в жисть! Сроду за Пятаком никуды не поспеешь! — в сердцах выругался дед Максай.

Емеля решил показать свою рыбнадзорскую власть:

— А ну вылезай! — крикнул он строго.

Накрывальщики как будто и не слышали.

— Кому говорят, вылезайте? Не то сычас всем квитанции выпишу!

Накрывальщики начали разгибать спины. Они с удивлением огляделись, как бы приходя в себя, соображая, где они есть и кто это их позвал. Первым к машине на берег выбрел Пятак. На него и так-то не очень приятно смотреть, на водянистые воровато бегающие глазки, на вечно перекошенный слюнявый рот, а тут ещё и в грязи. Через плечо перекинута торба, в которой ворочаются штук пять сазанов, в руках широкая плетёная корзина без дна, накрывалка. Остальные накрывальщики начали выбредить где попало, пряча торбы с рыбой в траве.

— Здорово живёте! Да кубыть мы знали! Мы бы ни в жисть суды не пошли. Мало, что ли, музг обсыхает.— Пятак обращается в основном к деду, полагая, что тот всё ещё бригадир.

— Ну вот что! — перебил его Емеля.— Мотайте отсюда, и чтоб духу вашего тут не было.

За накрывалки, конечно, никакого протокола не составишь. Рыба всё равно бы погибла. Вода в Озорниках была уже мутной, как кисель. Малёк густо жался к берегу, выскакивая на прибрежную травку, словно в поисках свежей живительной влаги.

Я спрыгнул с машины и подошёл к берегу. Накрывальщики потрудились на славу. Ведь так взмутить столько воды тоже надо уметь. В мутной жиже какая-то каша малька, он задыхается, высовывает наружу головки и выскакивает под ноги на берег. Мне впервые в жизни стало его по-человечески жалко. Уже множество дохлых рыбёшек лежит на берегу и плавает кверху брюхом по всему озеру.

— Малёк дохнет! — крикнул я.

— Не додохнет. Пушай. Сазанчик, он живучий. А это дохнет всякая бель, шурята.

Лезть при накрывальщиках в эту мутную жижу и спасать малька рыбакам вроде бы и неудобно. Наконец те собрались на противоположном берегу, напялили на себя накрывалки, стали похожими на огромных пауков и удалились в лес.

Рыбаки разлеглись под разлапистой вербой в холодке на травке. Веря в полнейшую бескорыстность этого мероприятия, я не сразу догадался, что приехали мы сюда не только спасать сазанью молодь. А как только догадался, понял, что рыбаки большие политики.

— Ну, Пятак! За ним сроду никуда не поспеешь!

— У-у! Вьюн! Всю округу obeжит! Да то чё ж! Он скот гонял, дык, поверите иль нет, за день от Царицына домой доходил. У нас на хуторе его председателем за это избрали: мол, куды надо, враз сбегать.

— Ну и как, бегал?

— Бегал, ага. Дурь-то из него так сразу и попёрла. Мирон Гаврилов бирюком жил, ды и сам чистый бирюк, глядить, сроду шеи не повернёт, а Пятак его в колхоз хотел загнать, к овцам!

— Ну и загнал?

— Загнал... В Сибирь. Мирон привёз дрова, свалил у база, а Пятак тут как тут: «Убирай сычас же дрова, земля кругом колхозная, не имеешь никакого права, единаличник, пользоваться колхозной землёй!». Мирон, ни слова не говоря, зачал кидать дрова на крышу, на курень. А Пятак вьюном вокруг и, видать, того довёл. Схватил он его и зашвырнул вместе с дровами на курень.

— Га-га-га!

— Забрали Мирона. Как в воду канул... Иль Палашка, красавица была вдовая, а в колхоз ни в какую. Пятак к ней, конечно, по другому делу. С рваной ноздрей, слюнявый. Та ни в какую. Дык он у неё последнюю коровёнку с база свёл. Выдумал приказ: вот, мол, тебе норма вспахать десятину, а не то убирайся из хутора. Ну, та сама запряглась в плуг и пашет. Пятак на дыбки. Какой уж там Пятак, целый рупь с половиной! Такая-сякая, компрометируешь новую власть, насмехаешься! И до чего додумался, стервец. Сын у неё был в зятях. Комсомолец, активист, тоже мать уговаривал не артачиться, вступать в колхоз. Дак он вызвал сына, дал ему винтовку, пять патронов и приказал гнать под конвоем родную мать в райцентр и сдать там куды надо!

— Га-га-га! — было по инерции засмеялся Емеля, но, видя, что его никто не поддержал, тут же оборвал смех.

Вот это Пятак! А я-то думал, так, шоболок, и всё. А у него вон какая богатая история.

Трудно было понять этих людей. Смеются и над глупостью, и над жестокостью, и над погубленной жизнью смеются. Сочувствуют и смеются. Не понимал я тогда, что этот смех охранный, что сохранил он всё-таки в людях всё истинно человеческое.

— Ну, хватит разлёживаться! — строго приказал бригадир, он засуетился, отдавая приказания, но особого энтузиазма никто не проявил. Один я жаждал немедленно включиться в бурную деятельность, но как в неё включиться, не имел ни малейшего понятия. Строгий дед Семён, который, как я заметил, не смеялся и в разговор не вступал, взял топорик и пошёл в ближайший лес срубить холудцы для бредней. Я увязался за ним.

— Вот хороший холудец!

Дед не обратил на моё предложение никакого внимания. Я обиделся. Уж чего-чего, а холудцов для бредней я и сам немало порубил. Невелика мудрость срубить палку поровнее.

— Отличный холудец, — думая, что дед не слышит, пробурчал я как бы про себя.

И дед Семён не выдержал. Усы его воинственно ощетинились.

— И чему вас токма учили?! Ды меня отец за такой холудец бил бы и плакать не велел!

Я ничего не понял, стоял и, видимо, глупо моргал глазами. Дед догадался, что я ничего не понимаю, и сжалился надо мной.

— Ты знаешь, чё бы ты сейчас срубил? Дерево!

Ну, дерево, ясно же, что не камень.

— Нельзя какое дерево рубить от корня. Понял? Это же не паклёнок и не кустарник. Де-ре-во!

Я наконец понял. Помнится, мне и собственный дед что-то об этом говорил, но я пропустил, видно, мимо ушей. Мы срубили четыре палки на холудцы и вернулись к рыбакам. Те так же лениво полёживали и покуривали. Казалось, что никто и не собирается лезть в грязную воду и спасти сазанью молодь. Я поглядел на Большие Озорники. Воды в озере ещё много, но отножины и прибрежный камыш уже обсохли, озеро стало почти круглым. Правда, что природа не любит ни прямых, ни острых углов. Невозможно представить, чтобы в небе вдруг появилось квадратное облако. Да это же было б как светопреставление! Зато люди прямо-таки обожают всё ровненькое, пряменькое, правильное, даже на холудцы вон ветки выбираем поровнее, кривуляку никто не срубит. Против этого я ничего не имею. И всё же приятней глядеть на причудливые лесные опушки, они ведь не кажутся нам уродливыми. Даже засохшее, корявое дерево не выглядит уродиной в общей гармонии леса. Но стоит там потрудиться человеку, накидать что ни попадя, от консервных банок до раскрашенных полиэтиленовых мешков, и сразу видно, что это ненужный никому, режущий глаза мусор. Даже взмученные Озорники не кажутся издали какой-нибудь загаженной лужей. И всё-таки на мутную воду в Озорниках смотреть было неприятно.

Не спеша рыбаки наладили два мальковых бредня. Машина пошла к Дону за свежей водой. А мы с дедом Максаем сделали первый заброд. Его никто не гнал в воду, есть и помоложе, но любая рыбалка, видно, доставляет деду истинное удовольствие. Емеля уселся в холодке под вербой, положив на колени планшетку с бланками протоколов. И у меня тогда даже не возникло мысли, что вот Емеля какой-никакой, а начальник, посиживает на бережку, а мне приходится лазить по грязи. Нет, эта мысль мне и в голову не пришла. В бредень попала щука.

— Емельян, щука!

— Ну и чего?

— Как чего! По щучьему веленью, по твоему хотенью, что у неё попросить?

— Пол-литра.

Рыбаки смеются. Кто-то предлагает послать за водкой в ближайший хутор.

— А машина для чего? — практично предлагает Емельян.

Я расхохотался. Ведь Емеля самый ленивый из дураков в русских сказках.

— Емельян, попроси щуку, будешь на печке за водкой ездить.

Молоди сазанчика в бредне какая-то каша. Щуку я швыряю под вербу.

— Составь на неё протокол.

Рыбаки смеются.

— Фамилия?! — строгим рыбадзорским тоном спрашивает Емельян.

Кто-то подсказывает.

— Национальность!

— Год рождения!

— Семейное положение! — сыплется со всех сторон.

— Злостная браконьерщица! — заключает Емельян авторитетным тоном. —

В котёл.

У рыбаков существует полушутливое поверье, что от мяса щуки повышается мужское достоинство. И кто-то тут же предлагает:

— Деду Максаю!

— Га-га-га!

— Жеребцы! — беззлобно отругивается дед и садится в грязную воду. Жарко. Я тоже сажусь, один чёрт — уже по уши в грязи. Вода парная. Как только сазанчик и терпит.

Переливаем его из бредней в бочки со свежей водой. Емельян должен вести учёт. Для того он здесь.

— Емельян, считай! — смеются рыбаки. Но сосчитать всех мальков, конеч-

но, невозможно.

Генка-шофёр достаёт из-под сиденья литровую банку, лезет в кузов, черпает из бочки малька с водой.

— Сколько тут будет?!

— Тысяча!

— Сто тысяч!

— Десять тысяч наверняка.— Это «наверняка», сказанное Генкой, убеждает всех. Остальное подсчитать нетрудно. Бочки столитровые — в каждой миллион мальков.

Первые два миллиона повезли в Дон. Я тоже поехал, чтобы искупаться в чистой воде и посмотреть, как первые два миллиона мальков обретут свободу и продолжение жизни. Ехать недалеко, к Мажаровой переправе. Бочки вылили в Яму. Мальки, вяло пошевеливая хвостиками, расплылись большим серебряным пятном на поверхности воды. Их начало кружить в медленной и плавной круговерти заводи. Не верилось, что они вообще отойдут и обретут жизнь. Мы с Генкой и Емельяном молча стояли на берегу и ждали. Мне показалось, ждали долго. Но вот эта полуживая масса зашевелилась сильнее, рыбёшки начали переворачиваться спинками вверх и скрываться под водой. Пятно сначала посерело, потом стало быстро редеть, и вот уже только совсем ослабевшие или помятые рыбёшки остались на поверхности воды. Тут мы заметили, что множество рыбьих носиков беспомощно тычутся в прибрежный песочек, как будто мальки стараются выбраться на сушу.

— Во, дуры! Во, дуры! — начал восторженно приговаривать Емельян, присел на корточки и стал рукой отгребать мальков от берега.

— Протоколы намочишь,— сказал Генка.

Емельян подобрал планшетку на колени.

— Во, дуры! Гля, ничего не соображают! Га-га-га! На берег лезут! — Емельян был в восторге.

Постепенно рыбёшки поняли, что тут берег, а позади простор, воля, и начали скрываться в глубине. Дон, в этом месте широкий и первозданный, принял их в свои воды, в эту надёжную колыбель беспрерывной и вечной жизни. А мы вроде всемогущих богов, которые могут спасти миллионы жизней, но могут и уничтожить всё живое на земле. Мы присвоили себе право карать или миловать, но мы боги, которым бесполезно молиться. Мы не в состоянии удовлетворить самих себя.

Набирая в бочки свежей воды, заполняя их мальком, мы снова и снова выпускали сазанчиков в Дон. Воду в Озорниках взмутили так, что она стала походить на чёрный кисель. И тут кто-то заметил возле одинокого кустика чакана широченный горб сазана. Мы с дедом Максаем отрезали его бреднем и стали прижимать его к берегу.

— Сычас уткнётся носом в ил и пропустит над собой нижнюю обору,— сказал дед.

— Да ну!

— Вот те и ну, поглядишь.

Мы ещё немного пробрели, и что-то сильно и тупо ударило мне по ногам. Сазан, вздыбив грязный бурун, ушёл.

— Во! Проклятый! — Дед бросил холудец.— Ничего, поглядывай, где-нибудь опять высунется. Такой мути ни один сазан не выдержит.

Из-за какого-то сазана, которых дед наверняка переловил тысячи, он мгновенно преобразился. Его маленькие голубые глазки загорелись вдохновенным огнём азарта, круглое лицо с седыми волосами вокруг словно засветилось. Да-а, дед был настоящим рыбаком.

Рыбаки с интересом наблюдали за нами с берега. Они ополоснулись из бочек с чистой водой, обтёрлись травой, обсохли и лезть снова в эту грязь

никому не хочется. Мы с дедом вылавливаем остатки малька, внимательно поглядывая по сторонам. Малька остаётся всё меньше и меньше, а того, что густо посеребрил берега, спасать уже не имело смысла. Тут кто-то, указывая с берега в сторону небольшого заливишка, крикнул:

— Два!

Забрать всех сазанов накрывальщики, конечно, не могли. Этих двух мы с дедом прижали к берегу без особой канители. Дед поднял одного, сазан понуро опустил хвост.

— Фунтов десять,— прикинул дед на глазок.

Второй был поменьше, килограмма на три. Тогда мы побрели вдоль берега и подцепили ещё одного. И тут дед заметил широкую чёрную спину, наверно, того сазана, что ушёл из-под моих ног. Мы потихоньку окарачили его бреднем, осторожно свели холудцы, но он уже не сопротивлялся и не пытался никуда убежать, даже не ушёл под воду, как будто понял, что убежать бесполезно. Так в бредне мы и вынесли его на берег.

— Гришка Мелехов! — сказал кто-то, любовно разглядывая полупудового красавца.

— С лампасами!

— Казак!

— Ишь, сабля какая!

— Не помогла!

— Сила силу ломит!

Этому сазану были возданы все почести, которые положены в таких случаях у рыбаков. А сазанов, кроме молодых, которым имя «горбыль», рыбаки у нас называют «казак» и только самых выдающихся — «Гришка Мелехов».

— Ну что, Емельян, выпустим в Дон?

— Хи-хи-хи! — захихикал Емельян, обидевшись, что его так грубо разыгрывают.

Тем временем вороны уже расселись на вершинах тополей и верб, терпеливо дожидаясь, когда мы отсюда уберёмся. Добычи им тут остаётся много. Дед Максай долго глядел на эту чёрную лужу в серебряном ожерелье, потом сёрдито сплюнул:

— Как Мамай воевал! — осуждая неизвестно кого.

Две последние бочки целиком заполнены мальком. И тут деда осенило:

— Давайте отвезём эти бочки в Ширину, к родничкам.

— Ну и хитрый же ты, Максай Дмитрич! На старости лет запасец хочешь сделать, чтоб прямо в огороде сазанов ловить.— Дед живёт на соседнем хуторе.

— А то чё ж! Весь наш будет. Сазан, он домосед и растёт быстро. Все тут же согласились две последние бочки вылить в Ширину и там же у родничков сварить уху.

Езды не ахти как много, но грязь на нас с дедом успела высохнуть, больно тянуло кожу, я начал нудиться, морщиться, а дед подтрунивал:

— Терпи, казак, атаманом будешь!

Как только машина подошла к родничкам, я кинулся в Ширину, в родную мне с детства Ширину. Тут было столько приключений, столько радостей и, кажется, ни одной печали. Но Ширина оказалась не только для меня родной. Дед, барахтаясь рядом, отмывая грязь, поведал:

— А вон там вон хуторок был. Рыбаки жили. Семья. Меркуловы. Они сроду Ширину покупали и жили рыбой. Рыбы тогда из Ширины брали — страсть божья! А дед у них, Петрович, и зиму, и лето ходил в нагольном полущубке, подпоясанный вентерным подкрылком.

— Бедные, что ль, такие были?

— Да ты что! Поглянь, какое озеро ихним было! Дед-то, знаешь, какой

рыбак был! Поглядел бы. Теперича таких нет. Измельчал народишко. И, помани моё слово, кто за длинным рублём в колхоз пришёл — это не рыбаки. Вот кончится дурочка с синьгой и полезут из колхоза, как раки.

Дед хоть прямо не сказал, что я тоже пришёл в рыбколхоз за длинным рублём, но мне всё равно стало обидно.

— А богатство тогда вовсе не так почиталось. За длинным рублём не гнались. Вам, молодым, ток бы денег побольше. А богатство по-другому понимать надо. Всё вон вокруг твоё, ты хозяин, вот и поступай по-хозяйски, с душой, а не так, спустя рукава.

Дед заранее меня в чём-то обвинял. А я обижался, потому как не мог признать, отчего дед прав. Это, конечно, трудно понять с чужих слов, что никаких таких особых удовольствий за деньги не купишь. Вообще-то, смотря что считать удовольствиями, и счастьем, и смыслом твоей жизни. Смотрел я на этих людей, которые прожили жизнь не приведи, Господи, и не видел, что они несчастливы. Действительно, они жили не ради длинного рубля, а ради любимого дела, любимой реки, озёр, земли, и жизнь их была полна простого, но и великого смысла.

А дед Максай горевал:

— Зарастает Ширина!.. Бывалыча, главный плёс каждый год цепями тянули, чистили, сбивали коблы.

— А тепер чё ж?

— Тепер где народа наберёшь. Никому не надо.

Тем временем машина гыркнула и повезла «Гришку Мелехова» менять на водку. Начали составлять акт на спасение молодежи. Емеля и правда хотел указать десять миллионов. Но дед Семён сердито сплюнул:

— Филькина грамота! Курям на смех!

Указали один миллион. Все были настроены благодушно. Сделали доброе дело. На этом «спасение» Дона закончилось.

* * *

И вот в Ширине душит рыба.

Я не любитель ходить на дух, хоть отлично знаю, какие ещё остались в Ширине лини, а особенно шуки. Шуки, эти зубастые твари, первыми не выдерживают и идут на дух. Такие хищные и такие квёлые. Конечно, кроме карася, ни одна рыба такого не выдерживает. А карась-идеалист может зарыться в ил и проспать там хоть целую вечность. Били как-то на хуторе на песках колодец и в желонку попал карась. Лежал он на двадцатиметровой глубине в иле. Пустили в ведро с водой — ожил. Сколько он лет там пролежал, одному богу известно. А человечество всё никак не решит проблему анабиоза.

Пробьёшь во льду прорубь. От чёрной умирающей воды гнилой запах. Не успеешь очистить это «окно» ото льда, а там уже копошится молодь. Слабенькими ротиками она жадно глотает воздух и чуть ли не выскакивает на лёд.

И вот в лунке живая белая каша. Но опытного духовика эта мелочь не интересует. Не кильки же он пришёл сюда наловить. Опытный духовик пришёл взять рыбу. Это кто доброй рыбы не видал, старается делать черпак чуть ли не из марли. Суетится, выкидывает на лёд разную мелочь и может не заметить, как потихоньку, одна за одной подходят к «окну» шуки. Они выставляют из-под льда только кончики носов и не шевелятся. А молодь кипит, молодь их маскирует и даже спасает.

Но опытный духовик смотрит не в лунку, а туда, дальше, за её закраину. И вот из чёрной воды высунулся плоский хищный нос, рядом пристраивается второй, третий... Дальше дело техники. Но даже этих зубастых хищниц ловить в такой момент становится жалко и совестно. Конечно, пока в тебя не войдёт азарт или жадность.

Азарт толкает и на такое. А жадность... Это началось после того, когда перепрудили Дон. Разлилось огромное Цимлянское водохранилище. Рукотворное море. Это море затопило богатейшую пойму с рыбными озёрами, лугами и лесами. Скоро Цимла «зацвела». Рыба пошла на дух, на свежую воду вверх по Дону. И началась «дурочка». Рыбу брали тоннами, десятками, сотнями тонн. Пятьдесят тонн синьги протушили в нашем жалком рыбпункте и зарыли в Брехуны. Вонь! За версту не подойдёшь. Это был бум, рыба лихорадка. Хапали все, кому не лень. В половодье ловили рыбу прямо на огородах, а на сбыте воды она оставалась даже в сараях. У нас в сарае остался и сдох здоровенный сом. Протух.

Такого на Дону, наверно, со дня его сотворения не было. Взвинтили спекулянты цены на вяленую синьгу в Донбассе. А Донбасс рядом. У шахтёров тоже «длинные рубли». Гуляй, братва!..

Когда в Дону ловить практически стало нечего, нам дали участок на Цимле. Там мы и начали подлёдный лов. А посреди зимы Цимлянская ГЭС внезапно сбросила воду. Лёд повис на опорах железнодорожного моста Волгоград — Лихая. Подо льдом образовалась пустота. Рыба там осталась как в холодильнике. Лезь и бери голыми руками. И полезли, понаделали проходов под эту ледяную крышу. Жадность оказалась сильнее страха.

А как там было красиво! Сверху голубой купол льда, как небо. И под этим «небом» множество мелких лужиц, набитых живым серебром синьги и золотом сазанов. Как и кто сумел открыть этот необыкновенный мир? Но новость, слух моментально долетели до Донбасса. Ринулась оттуда армия любителей лёгкой наживы. «Природа не терпит пустоты». И они её заполнили, набивая рыбой рюкзаки и чувалы. Какой уж там страх! И «небо» рухнуло. Сколько там осталось, никто не считал, да и невозможно было посчитать.

А то, что казалось таким богатством, мгновенно обратилось в прах, в ничто.

Нет, бог Хапун, оказывается, сильнее всех других богов. Это он правит миром.

Ведь и сам я в ту грозную ночь недолго просидел на лугу, накрывшись Игоревым плащом. Как только электричество страха из меня вышло, никакие громы-молнии уже не могли меня удержат. Вместо языческих молитв полетел отборный русский мат. «Дурак! В бога! В креста!» Я ринулся к лодке. Как же я сразу не догадался?! Но гениальные мысли не всегда приходят вовремя. Проще простого, подогнал лодку в то место, где ручей падает в Дон, и все дела. Я спешил. Мне казалось, что сазаны все до единого уже ушли в Дон. Но они ещё не ушли. Они начали увесисто шлёпаться на дно лодки, прямо к моим ногам.

«Вот это рыбалка так рыбалка!» — ликовал я.

Но я забыл, что вместе с сазанами в лодку льётся вода. Нет, бог Хапун хитрый. Он даст похапать, а потом одним махом лишит всего. Пока я ликовал, не давая сазанам выскакивать из лодки, она потихоньку затонула. И все сазаны ушли. И сам я чуть не ушёл на дно.

Да, это коварный бог: «Хапайте, люди, хапайте! Вам нужны шикарные условия жизни, вам нужно всё шикарное: автомобили, самолёты, хапайте, люди, хапайте, я вам помогу».

Недаром великий гуманист Экзюпери сказал, что один бедняк Паскаль стоит сотни благополучных ничтожеств. И дед Максай знал истинную цену жизни. Да и я был чертовски богат. У меня было всё: здоровье, любимая река, любимая женщина, в моём распоряжении был весь мир, только я этого не осознавал. Мне тоже хотелось шикарной жизни: вино, женщины, машина...

Нет, я не осознавал, какие мы были богачи, когда впервые в жизни открывали с Димкой этот мир, наполненный великим смыслом бытия...

* * *

Вспоминая Ширину, и эту вербу, и родничок, я почему-то вспоминаю Сою Жгону. Мы ведь тогда не знали, что всё в мире взаимосвязано, даже воспоминания. Верба хранила родничок, чтобы его не засыпало песками, родничок питал вербу своей студёной водой, а мои воспоминания питает необозримая ширина нашего детства и юности.

Я вспоминаю Сою-Саньку, девчонку с нашей улицы, в которую влюбился пылкий итальянский юноша, Ромео, офицер, завоеватель. Жизнь разыгрывала драмы, переплетая человеческие судьбы в кроваво-жутких оргиях, до которых невозможно было подняться в своих творческих фантазиях даже гениальному Шекспиру.

* * *

А Соня видела в небе ангелов.

— Видишь?.. Видишь?..— говорила она мне заворожённо-таинственным шёпотом, словно боясь их спугнуть.— Вон они, вон! Крылья у них как из лёгкого белого шёлка, огромные, огромные! И прозрачные... Кружатся и кружатся на одном месте. И чего они там кружатся?..— Соня забывалась. Я изо всех сил тоже паялил туда глаза, стараясь заглянуть в самую глубину, и ничего не видел.

Тогда я смотрел на Сою, на её блестящие влажные глаза, которые мне уже казались поверхностью глубокого чёрного омута с дрожащими ресницами над ним. Глаза её смотрели не мигая, как у мёртвой, и видели там каких-то белых ангелов с огромными прозрачными крыльями. Мне почему-то становилось страшно. Я не хотел ангелов, и я начинал теревить Сою за косу:

— Где они, эти твои ангелы?! Ты всё обманываешь! Ты всегда обманываешь!

Но Соня меня не замечала. Она лежала на спине с поднятыми коленями, со сбитым на живот платьем, и я уже стыдился на неё смотреть. Это была какая-то другая, неведомая мне Соня, не Санька-Цыганка, соседка, которая заманила меня, чтобы показать своих ангелов.

— Они улетели, да? — но ангелы всё кружились и кружились, а вот Соня как будто улетела. Она ничего не видит и не слышит. И я не знал, как её вернуть, оживить, тогда я сильнее дёргал её за косу, обнимал и совал палец в полуоткрытый рот. Соня прихватывала палец не очень больно, но крепко. Она оживала...

И вдруг поворачивалась, делала страшные глаза, страшные-страшные, словно пронзающие тебя насквозь, зрачки всё расширялись, обволакивали, засасывали в свою чёрную бездну, руки поднимались как бы сами собой и медленно-медленно, со скрюченными пальцами, как лапы огромного паука, тянулись к тебе, и сама она вдруг превращалась в жуткого паука с выпученными глазами, неотрывно глядящими тебе в самое нутро, а пальцы начинали быстро-быстро плести невидимую сеть, пленять тебя в неё, всё тело делалось беспомощным, так что ни дохнуть, ни охнуть, в горле пересыхало, крик пересыхал в нём и никак не мог вырваться наружу, а она, как хищная паучиха, вдруг набрасывалась, словно стараясь высосать всю твою плоть и кровь, и ты мгновенно исчезал в её горячем теле, задыхался, чуть не теряя сознание, делалось невыносимо жутко и сладко в её безжалостных жгучих тисках, и ничего не осознавая, не соображая, вдруг проваливаешься в чёрную бездну, в бесконечную бездну, как во сне, и вот уже, кажется, последний предел, и всё — гибель; но Соня вдруг, звонко расхохотавшись, становилась прежней Соней, Санькой, которая прямо-таки не может, чтобы человека не мучить, не доводить до последнего издыхания.

— Дура! Не буду с тобой больше играть! — и я убежал и исподтишка

подглядывал за ней в дырочку плетня — что она там делает в своём дворе, в саду, на огороде. А потом:

Санька-Цыганка,
Кашу варила,
Сашку кормила!

Или:

Жених и невеста!
Жених и невеста!
Жареное тесто!

Я её ревновал. Был такой Сашка Молдован, же-них, как все говорили, «оторви и выкинь», но Соня-Санька его без памяти любила. Прямо-таки без памяти! Чёрный весь, бровищи широченные, глазищи — во! Мы его боялись как огня. А потом его немцы расстреляли вместе с заложниками над Птахиным буераком.

* * *

Такой я тогда запомнил Сою. А Ширины ещё не было и вербы над родничком не было, то есть Ширина была, она где-то плескалась своими просторными тихими водами, и верба над родничком, она уже росла и хранила его, и молнии ещё, наверно, не выжгли из неё всю сердцевину, был этот огромный просторный мир, но для нас он вдруг начал сужаться, обугленное по краям небо уже было бездонным, и не было уже там никаких ангелов, там начали появляться чужие самолёты со свастикой на крыльях, они словно придавливали землю, и мы существовали в тесном мире страха, который всё рос, всё сжимал наш и без того крошечный мирок до гнетущих тяжёлых стен погребца или подвала, до автоматных близких очередей и чётких отдельных винтовочных выстрелов, до сочно грохочущих взрывов снарядов и бомб, от которых лопались стёкла, и наш мир, загнанный в тесноту наших грудных клеток, продолжал там существовать гулками и частыми ударами обмирающего от страха сердца. Пространство жизни становилось всё скучней и бессмысленней, и не было в нём уже никаких сказочных видений и никакого всемогущего Господа Бога, и никаких надежд.

Чужеземные пришельцы оказались не страшными чудовищами, но было в них что-то неуловимо нечеловеческое, что-то постоянно угрожающее и заставляющее втягивать голову в плечи.

Но Сашка Молдован их не испугался. И чтобы показать пацанам, что он ни капельки не боится, он подошёл к немецкому офицеру и сказал: «Дядя, дай закурить!». Он так и сказал: «Дядя, дай закурить!» — это прозвучало как вызов. Мол, ни во что я тебя не ставлю. И для понятности ещё показал, чего он хочет. Немец его поманил, подозвал поближе и внезапно с размаху влепил оплеуху, так, что Молдован полетел в пыль. К такому он не привык. Он ведь не знал, что они пришли нас воспитывать, учить, как нам существовать дальше, и эта оплеуха была, так сказать, воспитательной. Пацанам-то казалось, что немец пристрелит Молдована из автомата, как собачонку, и это было бы так естественно — чтобы другим неповадно было. Но тут всё кончилось просто оплеухой.

Воспитывать они начали попозже. Они ходили по дворам и забирали пацанов пятнадцати, шестнадцати лет. Их приводили в комендатуру и предлагали добровольно становиться помощниками великой германской армии. Собирали туда и взрослых, тех, кто по болезни или по каким другим причинам не попал на фронт. Ведь в начале войны ни кулаков, ни детей бывших кулаков

в армию не брали. И вот этим обиженным, кто уже побывал в ссылке или отсидел в тюрьме, предлагали становиться полициями, а пацанам вроде помощников этих самых полицейев. Тех же, кто не соглашался, отводили в Нагорную школу возле заброшенной ещё с революции Нагорной церкви. Они становились заложниками. Сашку Молдована забрали прямо на улице и отвели сразу в школу, его бандитская рожа, видно, не внушала немцам никакого доверия, а может, они приняли его за цыгана. Остальных же они начали воспитывать. Но заложников расстреляли не сразу, Соня раза два пробиралась к школе, носила Сашке передачи, от которых тот гордо отказывался. Он её видеть не хотел, и всё из-за того итальянца, что стоял у Сони на квартире. Это из-за него, когда Молдован был на свободе, он вlepил своей возлюбленной пощёчину. Ни в заложниках, ни в этой игре в помощников полицейев ничего ещё особо страшного не было...

* * *

Соня: Как я узнала, что ночью их будут расстреливать?

Следователь: От кого узнали?

Соня: От итальянца. Ну, того, что стоял у нас на квартире.

Следователь: С которым во время оккупации вы имели связь и от которого вы забеременели. Но это пока к делу не относится. Он что же, сам вам сказал, что ночью будет проведена ликвидация заложников?

Соня: Не-ет...

Следователь: Так как же это вам стало известно?

Соня: Как?! Я не знаю сама. Я догадалась.

Следователь: Учтите, нам всё известно. Так что советую говорить правду. Только правду! Как вы могли догадаться?

Соня: Я не знаю. Я почувствовала, что ночью их будут расстреливать. Я не знаю сама.

Следователь: Вы сказали, что вам это стало известно от итальянца-офицера, который стоял у вас на квартире и с которым вы имели близкую связь.

Соня: Я?! Связь?! А это?! Это связь?!

Следователь: Не повышайте голос. Не советую. Вы обвиняетесь в том, что из-за вас погиб Александр Молдованов. Вы его знали?

Соня: Знала.

Следователь: Вы признаёте свою вину?

Соня: Признаю.

* * *

Соня всё это уже слышала:

— Згоная! Згоная! С итальянцем спала! С итальянцем спала!

Соня тогда ещё поняла, почувствовала, что клеймо на щеке — это просто ожог, ожог невыносимой любви, и ненависти, и беспомощности. И никакого позора, а тем более её вины в этом нет, этот огонь опалил, превращал в пепел больше человеческих душ, чем фашисты успели сжечь в своих крематориях. Кто это преувеличил, какой безумный маньяк, поэт, что от любви можно сгореть так же, как если тебя обольют бензином, сожгут на костре или сунут в печь?

Когда Соня узнала, что в эту ночь их будут расстреливать, её Сашку будут расстреливать — из-за неё, она считала, что из-за неё, — она с вечера пробралась в заброшенную церковь, куда пробиралась уже не раз, принося передачи, от которых Он гордо отказывался. Когда она узнала, что это так просто, что на войне не считаются с заложниками, хоть они ни в чём не виноваты, их всё равно убивают... И Соня сидела в пустой, заброшенной

людьми церкви, и Христос из-под купола, уже слегка облупленный и ободраный, строго смотрел на неё. А может, и не смотрел, ей только так казалось, но чем больше смеркалось, тем строже и неприступнее становился его оживающий взгляд, и Соня чувствовала себя ничтожеством, букашкой перед этим строгим величественным ликом, хоть никаких грехов за ней не было. Ей не в чем было покаяться, а пощёчина была не за то, что она сделала, а за то, что она могла бы сделать, и она жгла ей щёку ещё тогда посильнее ожога, посильнее этого клейма, шрама, из-за которого после с ней станут обращаться как с Сонькой Жгоной.

Она, говорит, ждала долго, так долго, что прошла целая вечность, дольше которой уже не бывает, чтобы смыть эту пощёчину или тоже умереть, но пред смертью всё-таки очиститься, оставить свою душу, свою совесть чистой. Она знать не хотела ни о каком итальянце, который мог бы её покорить или купить конфетами, нет, не покорить и не купить, а потом, потерявши уже человеческий облик, надругаться над ней.

А потом она начала молиться: «Господи, услышь меня. Ну что тебе стоит? Господи, спаси Сашку! Господи, сделай так, чтобы никто никого не убивал. Господи, это я виновата! Из-за меня, Господи, из-за моей гордыни, Господи! Ну что тебе стоит? А я всё-всё сделаю, что ты только захочешь. Господи, сделай так, чтобы вдруг не стало никакой войны, не было никаких войн, я бы всё-всё сделала, я бы умерла хоть сейчас, хочешь, прямо сейчас, прямо вот тут. Господи, но зачем же терпеть, для чего же терпеть?! Мы и так столько терпим. Господи, спаси Сашку, больше я у тебя ничего никогда не попрошу».

В церкви вдруг посветлело. Словно лёгкое сиянье озарило внутренность храма, и Соня застыла в ожидании чуда. Но никакого чуда не происходило. Просто месяц пробился сквозь лёгкую наволочь облаков и озарил притихшую испуганную землю. И тут Соня услышала голоса и поняла, что ИХ уже выводят. Ей показалось, что купол опускается всё ниже и ниже, готовый раздавить её, похоронить под своими тяжёлыми сводами навеки. Тогда она метнулась к выходу. Она думала увидеть людей, но увидела призраки. В неверном зыбком свете они почти бесшумно выходили из школьного двора, и только несколько железных касок, зловеще поблёскивая и покачиваясь, убедили её в том, что это происходит на самом деле.

Соня опомнилась, когда уже поняла, что ИХ ведут к Птахину буераку. И ещё Соня поняла, что немцы или там итальянцы, в общем фашисты, спешат, что им хочется поскорее развязаться с этим делом, чтобы успеть до утра выспаться. Птахин буерак, это из-за соловьёв, которых у нас зовут ласково «птаха» и которые в эту ночь всю заливались в садах над Птахиным буераком. Но Соня соловьёв не слышала, соловьёв они с Сашкой слушали в Брехунье, когда в первый раз целовались, они и целоваться-то ещё как следует не умели. Ночь не то чтобы была лунной, а скорее светлой, когда эти белые облака тонким слоем покрывают небесный купол, когда самой луны не видно, а рассеянный свет словно проникает повсюду в самые укромные уголки. Соне представлялось, что она увидит людей, увидит Сашку и как-нибудь, может, даже одной силой своего взгляда даст ему почувствовать, что она не виновата. Чтобы он её простил, что всё это было тогда ещё игрой, что не стоило ревновать Соню к итальянцу и задира́ть его, ведь итальянец был никто. Его не звали, он сам пришёл, поселился в чужой для него хате, и какой бы он ни был красавец, он и мизинца не стоил того, кто вечно ходил босиком в засученных до колен штанах, готовый всегда и везде драться и огрызаться, потому что у него был такой характер с самого раннего детства, потому что он тоже был безотцовщина, и хоть говорят, что характера с детства не бывает, это неправда. Он влепил ей пощёчину из-за этого самого итальянца, якобы за то, что она ему улыбку или взяла у него конфеты. И Соня показала характер, показала, что её нельзя бить по щеке, ей можно

сжечь эту щёку, как потом и сделал этот итальянец, Ромео и фашист, прижав Соню к раскалённой плите. А теперь она не хотела, не могла, чтобы он, единственный, умер, так и не узнав, что напрасно вклеил ей пощёчину, что не стоило из-за этого умирать, так ничего и не узнав в свои шестнадцать лет, не узнав Сони, ничего, ничего!..

И ведь главное, как всё это просто делается: вот ты ещё на свободе, ничего не знаешь, ничего не ведаешь, ты спешишь по каким-то своим делам... И вдруг: «Ком!» — что за «ком», зачем «ком», за что «ком». «Ком! Ком!» — властно зовёт рука в чужом зелёном мундире, и тебе прямо в глаза поворачивается слепое дульце автомата. Ещё мгновение назад ты, кажется, готов был бежать, сопротивляться. Но вот ты уже загипнотизирован, ты не только арестован, ты уже приговорён, обречён, и всё в тебе парализовано. Пойди ты не туда, не попадись в это время на глаза... И что же?.. Неужели это сама судьба, рок?.. Провиденье Господне?..

Как Соня ни вглядывалась, она не могла различить отдельно ни одного человека, ни одного знакомого, она видела призраки. Она видела, что убийцы и те, кого сейчас будут убивать, спешат в каком-то молчаливом страшном соглашении поскорее развязаться с этим делом. И никаких криков протеста, никакого сопротивления, ни даже попытки сопротивления. А этих касок всего лишь пять. Соня посчитала: всего-навсего пять. Да если всем сразу, всем миром кинуться, навалиться, так от этих касок и мокрого места не останется! Но они покорно спешат к Птахину буераку.

Но в ней ещё жила надежда. А вдруг!.. Она обманывала себя: а вдруг их отпустят. Никто их расстреливать не будет, да и зачем? Доведут до Птахиного буерака и скажут: «Марш по домам!» А вдруг!.. — эта надежда, может, жила и в них, пока они покорно спешили к своей гибели. Это «а вдруг» погубило уже миллионы человеческих жизней.

Они повернули в Майский переулок, а Соня, как кошка, бесшумно метнулась к другому переулку, чтобы опередить, скатиться неслышно в яр, в этот буерак, который она хорошо знала — с пацанами лазила по садам, и там уже на дне встречать их, пускай даже мёртвых.

Она не ошиблась. Их подвели почти к тому же самому месту, где внизу, притаившись у самого родничка, который ещё не успели загадить, ждала она. Ждала его, уже обречённого, ждала обречённо, потому что большего она сделать просто не смогла. Когда перед тобой лишь призраки, а не люди, большего сделать просто невозможно. Она ждала недолго. Наверху, почти над самой её головой, вдруг раздался грохот, нет, он не походил на гром, это был отчётливый, равномерный грохот огромной швейной машинки, которая, не прерываясь, не выправляя строчки, сшивала в одно огромное целое человеческие судьбы. И сквозь этот грохот она услышала, как бесшумно, мягко, как пацаны из чужого сада, начали скатываться и падать человеческие тела. Она хотела сразу броситься туда, но что-то её удержало. И вдруг разом всё стихло. Соня даже удивилась — так быстро. Ей-то казалось, что сорок человек будут расстреливать чуть ли не целую вечность. На самом деле оказалось, что расстрелять сорок человек не ахти какая работа. Так, тьфу! Соня ещё думала, что расстреляли не всех, что кого-то пожалели, но ни единого звука, вскрика, стона... Тишина. Даже ни единого слова. Она уже вышла из своего укрытия, уже направилась было в ту сторону, но тут на дне оврага вдруг вспыхнуло яркое пламя, иссиня-яркое, и сразу же вместе с грохотом что-то упругое, неимоверно сильное приподняло её в воздух, толкнуло в грудь и швырнуло вдоль оврага, вдоль этого Птахиного буерака, в котором в эту ночь уже не было слышно соловьёв.

Если бы она потеряла сознание, если бы она ничего не помнила, но она в одно мгновение поняла, что кинули не одну гранату, а две. И те, что были там, на дне оврага, может, ещё живые, может, хоть чуточку, самую капельку

живые, ведь у человека всегда есть надежда, теперь были все мертвы.

И это были не ОНИ, а ОН, или ОНИ в НЕМ, или ОН в НИХ — всё равно это было уже одно целое. И это целое было уже неподвластно никаким земным и никаким небесным силам. Соня перестала верить. Из неё вытряхнули эту веру в НЕГО, во всемогущего, в кого она ещё верила до этой вспышки, до этого блеска, который озарил вдруг всё мирозданье и на миг повис над оврагом ярким куполом, на котором даже не было изображения Христа.

Она долго лежала на спине с широко открытыми глазами, устремив взгляд в бездну, в которой уже ничего, ничего для неё не было, а ещё не загаженный студёный ключ родничка медленно-медленно возвращал ей силы. И тут к ней пришёл настоящий страх. Уже ничего не соображая, она кинулась домой.

Начался разгром под Сталинградом, а Господь Бог наслал в это время на землю такие морозы и метели, что сверхчеловекам в их шинелишках и сапожишках стало не до войны. Пленных согнали в Птахин буерак, в затишку, больше их держать было негде, квартир никто не готовил. И кормить их тоже было некому, положение, прямо сказать, аховое. Это не то, что посреди лета расстрелять каких-то заложников. Тут уж всё против: и Бог со своими морозами, и русские, которые не пожелали сдать Сталинград.

Мне об этом рассказывала Соня:

— Судьба, она знает, что делает. Согнали их в яр, мороз был — воробьи на лету замерзали. Итальянец неизвестно куда делся, может, в том же яру сидел. У меня щека вся струпьями пошла. Мать убитая в чулане, похоронить некому. Я одна-одинёшенька. Зло меня взяло не знаю какое! Подобрала немецкую гранату в снегу, такую, знаешь, с длинной деревянной ручкой. Пойду, думаю, кино им гостинец. Гранату за пазуху. Иду. Подхожу, часовой мне кричит: «Нельзя! Не подходи!». А часовые пацаны ещё. Там один с автоматом, там... Подхожу. Глянула. Господи! Ими весь яр забит! Копшатся, серые как вши. И кучами, кучами. Думаю, что же они там делают? Пригляделась, они рычат, скулят, лезут друг на друга, а когда куча распалась, вижу, что они разорвали человека и едят... У меня в глазах всё почернело, враз про свою гранату забыла, стою оцепенев, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Вижу: ещё один начал доходить. Они тут же его окружают, свора невиданных двуногих зверей, ждут... Всё теснее сжимают кольцо, и не успел он скопытиться, как они всей сворой кидаются, рвут с него одежку и жрут! Жрут! И это — люди?! Ведь они тоже были обыкновенные люди, а никакие не сверхчеловеки. «Что же вы глядите?! — закричала я часовым. — Разгоните же их!» Один боец сжалился и дал очередь из автомата. И эта воющая, рычащая куча лохмотьев распалась, поползла под стены. А ведь кто-то из них наверняка выжил и сейчас живой. Интересно, верит ли он теперь в своё всемогущество?»

* * *

Часто любят повторять, что детства у них, то есть у нас, не было. Это неправда. Была война. И недалеко от Ширины до сих пор заполняются дождевой и снеговой водой глубокие ямы от блиндажей и помельче от солдатских окопов. В блиндажах спасалось начальство, а в окопах лежали рядовые. «Землянка наша в три наката...» — как поётся в песне, — брехня. Не было у солдат землянок в три наката. Над ними было только небо со всевидящим, всезнающим Господом Богом. Впрочем, ни хрена он не видел и не знал. Вряд ли в них кто уцелел. Там мы чаще всего находили стреляные гильзы, в русских по левую сторону Дона — русские, в немецких в Брехунье по правую сторону — немецкие и итальянские тоже, а вот румынских почему-то не было. А в одном окопе нашли винтовку с погнутым стволом и сразу окрестили «еврейская», из-за угла стрелять. Мы находили также кинжалы и каски, часто пробитые навывлет, запалы от гранат и гранаты с запалами, которые кому-то так и не удалось кинуть. За них это уже делало

мы. Оставались без глаз, без рук, без ног, бывало, что и без головы. И без детства. Но оно всё равно было. Пускай голодным, коротким и бесконечным, таким, каким оно осталось для нас навсегда.

В какое-то лето колхоз на берегу Ширины отгородил летние базы для свиней. Ух, как мы разозлились, когда пришли на охоту! И Димка, этот прокуда Димка, пристрелил на вечерней заре «нечаянно» поросёнка. «Слышу, утка хрюкает в камышах!..» Поросёнка он решил изжарить целиком на вертеле. Паша Малин от такого «жаркого» вежливо отказался. Но мы с Димкой назло, не знаю кому, поросёнка съели. С полночи и до тех самых пор, пока солнце поднялось в дуб, отсидели в кустах со спущенными штанами: Наши желудки к подобным деликатесам оказались неподготовленными, и Димка проклинал не себя, не поросёнка, а колхоз. Видно, его проклятия кем-то там были услышаны, и, к радости всех рыбаков и охотников, свиные базы с берега Ширины на другой год убрали.

В Ширине мне пришлось постигать тайны подлёдного лова на блесну. Опускаешь в лунку блестящую железку с крючком, дёрг, дёрг, и вот он упругий сильный рывок вглубь и в сторону. И через долгие захватывающие мгновения азарта пляшет на снегу возмущённый полосатый окунище. До этого на железки мы сроду ничего не ловили. Особенно зимой.

И вот в Ширине душится рыба...

Вечером я сидел у Сергея, и мы смотрели фигурное катание. И ещё я смотрел на картину Крамского в огромной, сделанной под старину раме «Неизвестная в коляске». Станные мысли бродили в моей голове. Говорят, что эта самая «Неизвестная...» была любовницей Николая II, а Николая II когда-то охранял мой дед, атаманец... Стоял в покоях царя, может, даже видел эту самую неизвестную... И ещё я подумал, что Сергея с детства влечёт к себе всё вот такое недоступное, прекрасное, что с надменностью взирает на нашу мирскую суету. Нет, красота не спасёт мир. И другая картина — «Взлетающие журавли». Они улетают прямо от тебя. Иные уже далеко, а последний только поднимается. И так хочется, и так невозможно их удержать. Сергей написал ещё несколько картин, натюрморт, где водка в рюмке как живая, и бросил. «А зачем?»

Я знал Сергея со второго класса, но не знаю, когда он задал себе этот тихий и страшный вопрос: «А зачем?».

Может, тогда...

За Сергеем охотился немецкий лётчик. Ему почему-то захотелось убить этого мальчишку. Вероятно, он видел, как в стороне от аэродрома оторвалась тройка русских истребителей, но решил сделать ещё один заход. Мальчишка его не боялся. Он шёл серединой улицы пустынного посёлка за Волгой и что-то бережно нёс перед собой, какую-то кастрюльку. Он нёс её обеими руками и не обращал внимания на немецкий самолёт, который на бреющем полёте в третий раз проносился над его головой. Это немца разозлило. Сергей нёс пшённую кашу из госпиталя, где на кухне работала его мать. Не все раненые под Сталинградом успевали съесть свою порцию пшённой каши. Сергей был голоден, но кашу он нёс младшему брату и сестрёнке. Самолёт со свастикой на крыльях легко и красиво развернулся и на этот раз пошёл на Сергея прямо в лоб. Сергей только раз мельком взглянул на него и снова стал смотреть под ноги. Он слышал нарастающий зловещий гул и потом короткую очередь из пулемёта и тут уж увидел ровную строчку вздыбивших землю пуль рядом с ногами. Самолёт обдал его упругой горячей волной, но Сергей так ни разу и не споткнулся. Тогда то ли от голода, то ли от перенесённого менингита он часто терял координацию движений. Он был вынужден всё время смотреть под ноги, чтобы не упасть. Каша была дороже жизни.

Нет, тогда он не мог задать себе этот тихий и страшный вопрос: «А зачем?». Тогда в нём жило ещё всемогущее и властное: «Надо». Надо жить, надо

накормить младшего брата и сестрёнку. Тогда была война. «А зачем?» — сказал он себе много позже.

Иногда природа шутит. И шуточки же у неё. Сыпанула Сергею как какому-нибудь Ломоносову или Леонардо да Винчи, а он, вместо того чтобы обогатить человечество чем-то таким выдающимся, лежит на кровати: «А зачем?». Правильно, человечество этого не стоит.

Сергей всё делал сам. Вся мебель в комнате сделана его руками. В своё время Сергей ставил дома (кальмил), но это ещё полдела. Дед мой тоже всё это умеет. Я как подумаю, сколько у старинного крестьянина было профессий! Только охоту дед не любил: «Рыбка да зайчики доведут до старчески!» — любимая его поговорка. И всему он пытался обучать меня, только ученик уже был хреноватый. У него на уме уже были другие «ценности». Всё это Сергей тоже знал и умел, хотя у него деда не было, у него не было даже отца. Он воспитывался в детдоме. А в детдоме можно было научиться драться, воровать, строить коммунизм, но тому, что нужно в повседневной жизни, ни в детдоме, ни в школе никто никого не учил. Странно. Сергей всё знает. Он знает не только, как надо сделать, но и почему так надо делать. Он знает уже забытое и то, чего ещё никто не знает.

Я искоса смотрю на Сергея. Лицо у него худое, острое, в неверном свете телевизора едва заметно изменилось. Нет, это уже не Сергей. Сер-гей... По-старому Сер-гий. Сера, геенна... Это атрибутика ада. Сера, геенна. Сергей... Как же я сразу не догадался. Я перевожу взгляд на «Неизвестную» и вижу, как она поднимается из коляски и лицо у неё совсем ожило, подёргиваются губы... Да это же Соня, это у неё так подёргивались губы. Кажется, они никогда не знали покоя, даже во сне. Мне становится не по себе. Тогда я снова смотрю в телевизор, в самую его глубину. Там какая-никакая жизнь, прыгают, вертятся, а вот сейчас фигуристка упадёт. Точно, упала. Ей, наверно, больно. Ведь на неё смотрит столько глаз! Встала, отряхнулась... Я бы так не смог. А Сергей? Сергей бы так не стал. И мог бы, всё равно не стал. Мало ли что он умеет. Гораздо хуже, что он всё знает заранее. Может, поэтому он не подвержен никаким порокам, никаким соблазнам.

Чёрт возьми, как бы это так научиться, как Сергей, никогда не терять голову. Всё заранее знать, этого мало. Несёшь рюмку ко рту и ведь знаешь... А завтра!.. И всё-таки несёшь. Ложишься с женщиной и тоже знаешь... И всё-таки ложишься. А она? Роды! Аборт! — и всё-таки ложится.

Нет, я не верю в эту мудрость Сергея. Тут что-то другое. Я уже боюсь смотреть на «Неизвестную», её поведение меня начинает раздражать. Этот надменный взгляд! Нет, это не Соня... Где же я видел этот надменный, прямо-таки уничтожающий тебя взгляд?

Ага, вспомнил. Стадион «Динамо». Толпа. У толпы единое устремление — попасть на стадион. Она единодушна. Но каждый, каждый старается сам за себя. Играет Стрелец. «Торпедо» — «Спартак». Страсти кипят. Болельщики с пеной у рта готовы вцепиться друг в друга. Можно подумать, что от этого зависит по крайней мере судьба человечества. Я случайно попал в эту толпу. Меня притиснули к железной трубе, которой ограничен желанный вход, словно вход в рай. Я уже старался и никак не мог выбраться наружу. Если и у входа в рай будет такое столпотворение, то я туда никогда не попаду. Шум, гам! И вдруг толпа притихла. Сразу вся! И я увидел их, в серых костюмах. Почему они всегда в серых костюмах? Они легко, словно средневековые рыцари в латах, раздвигали толпу. А посередине шла она! Презрительная, надменная, независимая. И вдруг в полной тишине кто-то один, кто-то слишком смелый, или слишком пьяный, или вообще слишком: «Кремлёвская шлюха!» — сказал на всю толпу. Они были уже совсем рядом со мной. Я видел, как они дёрнулись, закрутили головами, но не она. Нет, она даже не оглянулась, а медленно повернула голову, нет, не голову, а всё своё презрение к этой

униженной, притихшей, струсившей толпе, и в мёртвой уже тишине прозвучал её чистый, звонкий, высокий голос: «Были рабами и останетесь рабами!!!». И её взгляд случайно скользнул по мне. И я запомнил на всю жизнь. И как ошпаренный, как будто мне публично вlepили пощёчину, кинулся напролом из этой жалкой, забитой, запуганной толпы поскорее на волю.

Я смотрю на почти обнажённую фигуристку. «Когда все девушки подряд начинают казаться красивыми...» — Сергей недоговорил.

Действительно, когда все девушки подряд начинают казаться красивыми... Девушки — это единственное. Причём молоденькие девушки. Они очень любят фотографироваться. Сергей когда-то участвовал в различных выставках, вон в противоположном углу смутно мерцают фотографии. Одна обнажённая полулежит в прибрежной воде. Её я знаю хорошо. Зоя. Она очень несчастна. Одинока и несчастна. Она вышла замуж. Но она всё равно одинока. Маленькие волны плещутся вокруг её неестественно длинного тела, особенно длинных ног. Рука с едва уловимой стыдливостью поднялась, чтобы прикрыть, защититься, но так и замерла навеки, повиснув в воздухе. Очень живая и очень невинная фотография. За неё он, не помню уж на каком конкурсе, получил первую премию.

Я снова смотрю на Сергея. Сера, геенна... Сатана... Сатанинская гордость. Он всё делает сам. Перешивает одежду на свою слишком тонкую и высокую фигуру, сам себя подстригает, мне кажется, что он сам себе выкопает могилу, сделает гроб, оградку, памятник и сам в неё уляжется. Только бы не обременять людей. Когда я рассказал ему о том случае у стадиона, он спокойно произнёс: «Она права». Я с ним согласился. Я даже развил перед ним теорию в таком духе: «Свобода, равенство и братство, особенно равенство,— это и есть высшая форма рабства. Я, например, не хочу ни с кем равняться. Есть выше меня, есть ниже, но равных...». Он со мной согласился. Ещё бы!!! Ему нет равных. Он не презирает людей. Разве можно презирать людей? Они этого не стоят. Тот, кто про них заранее знает всё, все их тайные помыслы и предсказывает их поступки, не может никого презирать. Он к ним равнодушен. «Ну, что ты нервничаешь, злишься, пускай всё идёт, как идёт...» Я так не могу. Я злюсь. «Зло — это крайняя форма беспомощности», — остудил меня Сергей. Кому хочется быть беспомощным? Но злиться я всё равно ^и перестал. Это, оказывается, выше меня. Для этого надо быть Сергеем. «Гускай всё идёт, как идёт...» Тут одна лишь маленькая загвоздка: Сергей точно знает, куда это всё идёт, а я только предполагаю. Да и кому охота знать, что дорога ведёт прямо в ад.

Наконец фигуристки перестали вертеться, прозвучала торжественная зловещая музыка, «Время». Чуть ли не первыми словами диктора: «...чтобы избежать ядерной катастрофы...». Сергей выключил телевизор. Мы вышли во двор. Я посмотрел на ночь, лунную и притуманенную, потом на крыши домов и на свет в редких окнах и вдруг ярко представил, что вот сейчас в Ширине душился рыба.

— Сергей, принеси телескоп, на Луну посмотрим. (Сергей, кроме всяких приёмников, стереоустановок, фоторужей, сконструировал телескоп, чтобы следить за вселенной.)

— А зачем?

— Может луноход увидим.

Сергей, как обычно, тихо засмеялся. А я устремил взгляд туда, в самую глубину вселенной.

* * *

Надо бы это сделать давно, но мне всё было некогда. Ведь у нас всегда столько текущих дел.

На этот раз я хотел отрешиться от всего. Забыть, забыть и забыть. Ничего

не было, ничего!.. С утра я метался по двору, не находя себе ни места, ни дела. Я уговаривал себя: «На улицу выходить нельзя. Нет, на улицу выходить нельзя...». Стоит только выйти на улицу, и начнётся то же самое, каждый день одно и то же, нет, от этого можно сойти с ума. Слаб человек, ох и слаб! Боже, дай мне силы. Нет, никакого Бога нет. Ты сам Бог и раб Бога своего. И нет тебе спасения нигде, кроме как в себе самом. Сам себя ты обрекаешь на жизнь-каторгу ради необузданных желаний и страстей своих.

Почему же так часто все мы теряем голову? В конце концов я забился в полуподвал, в низы, чтоб ничего не видеть, не слышать, не знать. Я начал чинить сети для ловли человеческих душ. И вдруг слышу:

— Дома?! — Точно так же, как двадцать с лишним лет назад. Тот же голос, те же интонации.

— Дома, дома, вон, в низах...— Это недовольный голос деда.

Входит Димка. Тот же самый Димка. Только в светло-сером костюме и весь из себя элегантней. А я в зашмыганных штанах, в рваной грязной рубаше и неделю небритый.

— Витюля! Живой! — И ну меня мять, тискать.

— Да погоди, костюм измажешь.

— Витюля! Да ты что?! Какой костюм! Ты за кого меня принимаешь! А я за тобой.— Димка всегда любил ошарашить с ходу.

— Как за мной? Погоди, сейчас принесу чистую табуретку.

Он брякнулся на топчан, прямо на грязные сети и округлил глаза.

— Нет. Я тебя не узнаю. Какие чистые табуретки?! Тогда принеси мне кресла и, кстати, захвати бутылочку «кока-колы» из холодильника.— Прежний Димка.

— Сейчас возьму пятёрку у деда и смотаю на велосипеде в магазин.

Димка ещё больше округлил глаза.

— Витя?! Да ты что?! Совсем дурак?! Тогда уж бери всю пенсию. Сколько там дед получает, рублей сорок? Ну, Витенька, этого я от тебя не ожидал...— Серьёзный, даже неловко стало.— Ну на тебе пятёрку! — И на стол полетела пачка пятёрок в банковской упаковке.— Ещё на бутылку? — И на стол полетела другая пачка.— Витенька, значит правильно сказала Александра Ивановна: «Береги то, в чём есть, связывай и вези!» Извини, придётся связывать.

— А куда везти-то?

— Ко мне, в Сибирь.

— «В Сибирь на каторгу свезли!!!» — заорал я.

— Нет, я вполне серьёзно, приехал за тобой.

— Зачем?

— Спасать.

— От чего?

— От алкоголя. От зелёного змия! Он же тебя вот-вот сожрёт!

— Значит, и до Сибири вести уже дошли? Ну и беспроволочный телеграф!..

— Витенька, до Сибири и до самого Тихого океана! Везде наши! Один ты застрял в этой дыре.

Это меня уже немножко покорило. Димка это заметил.

— Витенька, я вчера целый час простоял рядом с тобой, и ты меня не узнал. Не надо, не надо ничего рассказывать! Я всё знаю! Знаю, что теперь там тебя целый месяц не будет, что ты будешь пропадать на Дону...

— Где узнал-то?

— Дорогой, за один час я узнал всё, что тут произошло за двадцать лет. Где ты живёшь?! Это же «Миргород», хуже! А с кем пьёшь?! Как вы вчера на бутылку бормотухи соображали! Я глядел на тебя, и, честно, у меня в глазах стояли слёзы... Я бы мог вас всех в этой бормотухе утопить! Это я же дал вам на две бутылки, а потом до дома шёл за тобой, глядел, чтобы не свалился.

— Ну и как? Дошёл?

— Дошёл, Витенька, ты совсем дошёл. Где верёвка?!

— Да вот, связывай уж сетями.

— Нет, серьёзно, собирайся!

— Смеёшься. На мне одних вот этих тряпок,— я указал на сети,— рублей на пятьсот висит.

— Да ну?! — Димка в испуге округлил глаза.

— Да лодка, да мотор...

Димка приподнялся на топчане.

— Значить, на тыщу!!! — Он вдруг повалился на спину и задрогал обеими ногами. Модные штiblеты полетели в разные стороны. Прежний Димка.— Убил! Зарезал! Уничтожил!!! Воды! Живой воды! Скорей! Только в твоём колоде живая вода.— Неужели мы с годами не меняемся? Он «умер» и сложил на груди руки, как покойник.

Я принёс ведро холодной воды и начал из кружки осторожно, чтобы не замочить ни костюм, ни рубашку, ни галстук, поливать ему на лоб. Он медленно открыл глаза. Выхватил у меня кружку и вылил на лицо, замочив и рубашку, и галстук, и этот элегантный заграничный костюм.

— Витенька, у меня на шее висит пятьдесят миллионов рублей! — Выдав столь умопомрачительное заявление, Димка ждёт, какое же будет впечатление. Но впечатления никакого. Я же хорошо знал Димку.

— Ну, тогда надо сейчас же выпить. С членом правительства я пил, с проститутками пил, а вот с миллионером ещё не доводилось.

— Выпьем, Витенька, выпьем. А пока слушай. Ты едешь ко мне. Через год, а может и раньше, я делаю тебе квартиру. Особнячок. А пока поживёшь у меня, места всем хватит.— Он достаёт цветную фотографию.— Узнаёшь?

Я смотрю: Соня. Соня Жгоная. Боже! Она!

— Ты что, так и не узнал, что мы поженились?

— Не-е... А это, а?..

— Витенька, пластическая операция. Элементарное в наш век дело. Так вот, ты едешь ко мне. Но я тебе сразу скажу, с Александрой Ивановной мы не живём. Живём вместе, а спим в разных комнатах. Мы живём по договору. У меня есть женщина, ребёнок. Не подумай, что я предлагаю её тебе в любовницы или сожительницы. Я ещё не такой мерзопакостный. Но ухаживать она за тобой будет, как за родным. Только не перебивай. Дочь её Джулия в Италии. Подожди. Мы вырастили ещё двоих сыновей, двоих оболтусов.

— Что? Пьют?

— Если б пили. Один закончил институт, один в Афгане... Я бы мог всё сделать. Но сам захотел: «Пойду служить». «Иди, Родина дураков любит». Этот инженер.

— Ну, и чем же ты недоволен?

— Ты знаешь, что такое в наш век инженер без царя в голове? Их вон у меня сколько, сидят, велосипедные ключи изобретают. Нет! Велосипед для них — загадка вселенной! Диплом в кармане, а в голове фирма! Во! Сейчас на твои штаны прилепи американскую наклейку — и уже фирма! И мой такой же. Женил, сделал в Омске квартиру, угрожал кучу денег, а они через месяц зад об зад и кто дальше. Теперь у него на квартире этакий великосветский бардачок, а впереди, чует моя душа, тюрьма. Ладно, об этом после. Получать ты у меня будешь рублей триста пятьдесят, четыреста. Хватит на карманные расходы?!

— А за какие хрены?

— Витенька, я содержу кучу бездельников. У меня одних спортсменов орава, шайка! И все подаю надежды, и все на работе только числятся. Неужель я не могу прокормить одного поэта? Да, знаешь, иду мимо газетного киоска, смотрю, знакомое лицо. Беру — Витенька! Точно. Книжечка стихов.

Сажусь в машину, весь город обскакал. Набрал пятнадцать книжек. Но дарю кому надо. Так что тебя там уже знают. Ты лишь будешь в ведомости расписываться. А-а-а! Понятно. Знаю, знаю. Я сам буду за тебя ставить крестик, а деньги приносить в конверте. Устраивает? Там турбаза, катера, яхты, всё в твоём распоряжении. А охота!.. Всё своими глазами увидишь. А тут? Ну что тебя здесь держит? О чём ты можешь написать? Об этих алкашах? Они же над тобой смеются: «Ну, пошёл поэт — невольник чести!.. Теперь целый месяц стихов не услышим!..». Это они тебе вслед вчера кричали.

— А правда, остроумные ребята?!

— Остроумные. Не дураки. Но всё одно подонки. А там люди! Судьбы. Характеры! Только пиши. Ну, подумай. А пока давай мне штаны. Такие, в рыбьей шелухе, есть?

— Найду.

— Ага, отлично, фирма! А рубаху?

Я снял с себя рваную рубаху. Димка начал раздеваться. Пошвырял своё элегантное барахло как попало на топчан.

— Ага, вот калоши. Ну как? Похож я на настоящего алкаша?

— Не, не похож. Ты лучше скажи, кто же ты всё-таки есть?

— Капиталист, Витенька, современный капиталист!

— И коммунист?

— С восемнадцатого года! Я ещё не родился, а вступил в партию. Я и тебя в неё устрою. Без родимой вдохновляющей и направляющей в наш век никуда! — Он подошёл к русской печке, помазал сажей под глазом. — А теперь?

— Не очень.

— Ну ты что-нибудь придумай.

Не понимая, для чего этот маскарад, я надвинул на его круглую голову мою старенькую кепчонку.

— Вот, теперь почти похож.

— Так, еду, опохмелю твоих алкашей. Я к тебе шёл, а они там уже, где вчера, стоят. Как будто и не расходились.

— Они там каждый день стоят.

— И ты, Витенька, с ними стоишь, и ты, дорогой.

— Бывает, что и лежу.

— Ладно, рюкзачишко есть? Нормально. Приготовь закуски.

— Какой закуски?!

— Ну, чёрной икры, устриц, омаров... Витенька, ты что, забыл, чем мы питались? Сорви огурцов, помидоров, луку. Хлеба я привезу. Какой закуски? Рыба вяленая есть?

— Есть.

— То, что надо. Пошли. Где твой «Россинант»? А помнишь, какой у меня велик был, трофейный. Чудо! Хотел тебе оставить. Продавал — душа кровью обливалась. Но мама... В зону, где они работали, всегда можно было что-нибудь перебросить. Эх! Как вспомню!..

Мы вышли из полутёмных низов во двор. Солнце больно резануло по глазам. Меня замутило. Даже не рад Димке. Ничему не рад. Лечь бы, забыться и ничего не видеть, не знать, не помнить...

— На белый свет бы не глядел.

— Ага! То-то. А сад у вас какой!

В саду, как обычно, копаются дед. Ни матери, ни бабки не видно. Теперь на верхах отдыхают от утреннего очередного скандала.

— Сад вон дед развёл. За один раскулачили, пора за второй кулачить.

— А плантация детдомовская жива? Чигирь помнишь?

— Туда и дороги-то уж нет. Как в песне: «Позарастали стёжки-дорожки...». — И мне почему-то стало жалко детдомовскую плантацию. Земля! Сколько она голодных детдомовских ртов накормила!.. Один сломанный чигирь своим

огромным главным колесом, как некий памятник древним временам, теперь догнывает над заброшенным чистым озером.

— А посмотри, яблоня-то «зимовка» ещё целая и яблоки есть. Сколько уже лет прошло...

И мы оба как бы разом вдруг ощутили громадное пространство времени, отделяющее нас теперешних от нас тогдашних. Даже подумать страшно!

— Да-а...— тянет Димка.— Кстати, а где Паша Малин?

— То ли в Костроме, то ли в Вологде. Он теперь владелец какого-то крупного маслозавода.

— Владелец, говоришь. Молодец! Значит, мозги ещё не пропил. А что я тебе подсказывал?! Вспомни. Что и Паша своё возьмёт, и я не пропаду. Один Витенька будет нищим поэтом. Сбылось? Ладно, поехал. Ну и «Россинант»! — Димка встряхнул велосипед.— Минут через двадцать жди.

Я отнёс его барахло наверх. Одну пачку пятирублёвок он забрал. Другую я сунул ему в карман. А сам подумал: «Я тоже когда-то швырялся деньгами. Но не так». Побрился, вымыл голову холодной водой. Стало немного полегче. Почтище оделся, нарвал огурцов, помидоров. Дед с неудовольствием спросил:

— Кто это?

— Димка. Может, помнишь, не раз у тебя на плантации ночевали.

Дед покачал головой:

— А я было подумал, опять какой-нибудь писатель...

— Не-е! Он директор завода!

— Во-о! Сразу видно человека. А ты как был отряха-мученик... И когда уж ты, Витя, за ум возьмёшься?!

— Ладно, ладно, хватит.— Пошёл в сарай, выбрал вяленой чехони.

Димки не было с полчаса. После Толя Косов рассказывал: «Сидим в «Зелёном ресторане». (Это, значит, в клёнах за кафе.) Ни у кого ни копейки, а «соображаем». Вдруг подкатывает какой-то тип на велосипеде. Я ещё поглядел, велосипед вроде твой. „Фу! — говорит,— насилу нашёл!“ И высыпает из рюкзака на землю кучу бутылок. „Это,— говорит,— вам Витя на опохмелку прислал“. И смотал! У нас вот такие шары! Витя с нами вчера двадцать копеек искал! Ну, мы там все и послули».

— Извини, дорогой, что долго. Еле-еле твоих алкашей нашёл. Забились куда-то в кусты, как воробьи. Значит, совесть всё-таки ещё есть. Мне бы такую рабсилу, я бы из них людей сделал! О! Да ты совсем на человека похож!

— Пойдём, переоденешься. А то тебя Дон такого не примет.

Димка покорно переоделся в барахло почтище. Вижу, рюкзак набит бутылками до отказа.

— Может, подзакусим?

— Нет, нет, нет! Только на берегу!

— Тогда пошли.

* * *

И вот мы снова идём по Брехунье. Брехня. Обман. Вся наша жизнь — сплошной обман. Теперь это «Комсомольская роща». Комсомольцы тут девок валяют. Я начинаю злиться. «Злость — это крайняя форма беспомощности». Но мне всё ещё кажется, что с Димкой мы сможем снова уйти туда, в мир нашего детства. И я гляжу вокруг как бы его глазами. Да-а. Печальная картина. Глубокое и чистое озеро Яма, где мы когда-то купались, высохло окончательно. Тополя над ним давным-давно попилили. Димка о чём-то задумался. Мы и раньше на ходу мало разговаривали. Охотники. Каждое мгновение ждёшь: а вдруг что-то вылетит или выскочит. Но ничего тут не вылетит и не выскочит. Вдруг Димка вскинулся:

— А это что такое?!

— Что? — не понимаю я.

— Это?! — Димка указывает на белые столбы электропередачи.

Столбы и столбы, правда, стоят, как пьяные мужики, да и ведут линию в никуда. У Дона она обрывается. Неужели Димку интересует такая «бесхозяйственность»? Я его не понимаю.

— Как они здесь оказались?! Как ты мог такое допустить?! Нынче же ночью берём зубило и молоток и начнём срубать! — Вроде и прежний Димка, но уже что-то не то. Долго идём молча.

— Да, скучно всё... А там, представляешь, какие боры! Кедрачи! А охота! Нет, ты должен всё это своими глазами посмотреть.

— Дима, бывал я в Сибири и на Дальнем Востоке был, и охотился, и рыбачил, и везде одно и то же.

— Как одно и то же?! — Во! Дима уже начальник.

— Да так, одна и та же пакость, разруха и запустение.

— Ну нет, ты не скажи...

— Да и говорить нечего. Везде один и тот же бардак. Ведь я работал во многих районных газетах, название только одно и то же, то «Путь Ленина», то «Путь коммунизма». Ты вот приглашаешь, а самому, наверно, на заводе дышать некогда. Какая уж там охота?

— Да ты что! Мой завод работает, как часовой механизм! Хронометр!

Я взялся за голову. Хоть болит не голова, а всё, каждый нерв.

— Ага, хронометр! Знаю я эти «хронометры». То вперёд идёт, то назад. Его от одних алкашей никогда не починишь.

— Ну нет, с умом и алкашей можно заставить вкалывать за милую душу. Настоящих алкашей не так и много. Даже ты ещё не алкаш. Можешь же ты не пить по месяцу. Это, Витенька, всё наша распушенность. Самое примитивное и доступное всем удовольствие. Пошёл, взял пузырёк и балдей. Не надо куда-то ехать, ни в какую тайгу, ни на концерт, ни в театр. Телевизор дома. Большинство пьёт от своей лени. Честно. Ну зачем шевелить ногами или мозгами. Хватанул стакан, другой, и всё хорошо, лучше некуда! Как у моего Андрея. Лень, Витя, лень вперёд нас родилась. Я заставил своих мужиков шевелиться. Правда, не сразу.

Тем временем мы вышли к Старому Дону. Озеро почти высохло.

— А это место хотя бы помнишь?

Димка вертит туда-сюда головой.

— Помню, что Старый Дон, вон там, кажется, мы лису поймали...

— Нет, вот это место.

— Не помню, Витенька, хоть убей не помню. Да и сколько лет прошло...

— С этого места ты забросил тогда свой «ТТ», тут ты сказал: «Будем бороться». Это в то утро, когда забрали твою маму. На, можешь отсалютовать. Ты победил.— Я подаю ему его «ТТ».

Глаза у Димки округлились:

— Где взял?!

— В сарае. Я тогда на второй день пришёл, нырнул и достал.

— И работает?

— Попробуй.

Димка поднял пистолет в воздух, но стрелять не стал.

— Нет, не хочу нарушать эту первозданную тишину.— Он ещё повертел пистолет в руке и снова кинул в озеро.— Теперь не достанешь.

— Теперь он мне не нужен. Поживём, поглядим, чем всё это дело кончится. Пошли к Дону, тут уж недалеко осталось. Всё одно и ему скоро подышать. Сделают такие, как ты, и из него сточную канаву.— Я чувствовал, что меня опять может понести. Поскорее замолкаю и закуриваю.

— Я вот смотрю, куришь ты одну за одной, как ещё не подох?

— А ты давно бросил? Вместе окурки собирали.

— Давно, на первом курсе. Мама, главное, там голодная, а я на воле дым поглощаю. Думаю, да лучше я лишний кусок хлеба в зону отнесу. Ох же и злой я тогда был, Витя, зубами скрипел!...

— А я сейчас злой.

— Оно и видно. Но тогда была настоящая нужда. Вагоны на «товарке» разгружал, спал под вагонами. А потом мы с Сашей поженились. Фату ей из марли подруги сшили. На медицинском хоть марля была, а у нас ничего. Сельхозники, люди второго сорта. Жить негде. Саша устроилась уборщицей в контору по найму рабсилы. Дали нам там угол. Ты же сам представляешь, как в Сталинграде в то время с жильём было. Контора в подвале, а на двери такое рыло с топором: «А ты поедешь в Сибирь?!» «Поеду», — думаю. После выпуска попал я в совхоз в Заволжье. Степь да степь кругом. Сайгаков я там побил и уток тоже. Но вижу — не в ту степь попал. Директор — Держиморда, я — пятая спица в колеснице, хозяйство — тихий ужас! Сразу мне на шею пятнадцать комбайнов повесили, которых в природе просто не существовало. Думаю — тюрьма. Надо сматывать удочки. Вшей в войну покормили, хватит. Сын родился, ни в нас, ни на нас. И поехал я в Сибирь. Сначала один. Ну, да это долгая история, потом как-нибудь доскажу.

Мы вышли к Дону.

Дон в этом месте широкий и даже кажется полноводным. Но это только кажется. Его тут можно чуть ли не весь перебрести. Димке, конечно, я этого не говорю.

Солнце уже поднялось высоко. Часов одиннадцать. Дон до того спокойный, что кажется неподвижным. Только редкие пушинки на глади воды, быстро проплывая мимо, угнетают вечностью движения. Всё течёт, всё меняется. Мы пришли, мы ушли. Земля пребудет вовеки. Димка ушёл отсюда насовсем... Он стоит и равнодушно оглядывает чужие ему берега. Ну и хрен с ним! Отливаю воду из лодки. Хорошо ещё, что лодка цела. Раньше на Дону вообще не было воровства. Люди понятия не имели, как это — воровать. Теперь только отвернись. Димка сел на вёсла.

— Куда грести?

— На ту сторону. — Мы плывём к Старому Городку. Но он всё равно ничего не помнит, а напоминать ему мне больше неохота. И что-либо вспоминать тоже неохота, и даже жить неохота. Зря я его сюда привёл. Можно бы и в Брехунье нажраться. Димка меня уже почти перестал интересовать.

— Подожди, не гребь. — Я опускаю «кошку» и ловлю перемёт. Помню, вчера заходил утром Степаныч и сказал, что перемёт он мой насадил, что пора кончать пить, пошла чехонь.

Точно, перемёт насаженный, рыба есть.

— На, иди проверь, если не забыл.

Димка нехотя поднимается, меняемся с ним местами. Он потихоньку перебирает перемёт, всем своим видом желая показать, что ничего хорошего он не ждёт да и ждать нечего.

— Дон мёртвый.

Это я уже слышал. Димкино равнодушие нагоняет на меня тоску. Чувствую — лодка заходила ходуном. Смотрю, руки у Димки затряслись.

— Уйдёт! Уйдёт! Сейчас уйдёт! — Димка крадёт к мечущейся на поводке рыбине. — Ну что это за поводки! Ты бы ещё ноль один поставил! — орёт он на меня в точности как лет двадцать назад.

Мне становится смешно.

Я вижу, что взялся жерех. А подсад я забыл в кустах.

— Подсад?! Где подсад?!

— Нет подсада.

— Какой же ты рыбак?! Охламон! Как был охламоном, так и остался ох-

ламоном! — Вот теперь это прежний Димка. Жерех оборвал поводок, Димка чуть не выскочил из лодки, все «директорские» замашки с него как рукой сняло.

— Не буду дальше проверять. Рвать нервы. (Оказывается, у него есть ещё и нервы.) Иди сам.— Димка возмущён до глубины души, как будто его оскорбили в самых лучших чувствах. Вот это мне уже нравится. А то «директор»! Царь и бог!..

Я снимаю хорошую чехонь, ещё одну, ещё...

— Мы же эту пакость не ели, выкидывали.

— Теперь едим. Сейчас наварю ухи, покушаешь.

— И кушать не буду. Чехотка.

Я вспоминаю, как Димка с ней «воевал». Тогда на Мажаровой Яме появилась чехонь. Всё, рыбалка кончилась. Она хватала не только за крючок, но и за поплавок, и за всё, что в воду упадёт. После нереста дохла, как кета, висела на всех прибрежных кустах, гнила. Её не ели, брезговали. Вообще, я заметил, казаки насчёт еды очень брезгливые. Но Димка-то не казак, он всё ел, а вот чехонь тоже не ел. Он её казнил. Поймает, очистит и назад бросит. У второй вырвет жабры, у третьей отсечёт плавники, он думал таким образом чехонь запугать, чтоб она убралась не только из Мажаровой Ямы, но и вон из Дона! А потом всё-таки чехонь обхитрил. Ведь всё дело было в том, чтобы насадка целенькой ушла на дно. И Димка придумал хитрость. Обмажет насадку илом и забрасывает. Просто и гениально. И мы опять начали ловить добрую рыбу.

На стану тоже всё оказалось целым. Шатёр из парашюта Димке понравился.

— А не промокает?

— Да нет.

Димка забирается внутрь.

— Шикарно, а ты давно здесь не был?

— Не помню. Больше недели.

— И всё целое?

— Свои меня не трогают, а чужих почти не бывает.

— Будут, Витенька, скоро будут. Всё растянут. И парашют твой сопрут.

— Лишь бы Дон не украли.

— И Дон украдут! Вот увидишь!

Нет, горбатого могила исправит. Я снова завожусь.

— Гляди, как бы твой завод не украли! Да, а где работает Соня?

— Саша — врач-психиатр. Кандидат наук. У неё своя клиника. Лечит таких, как ты, ненормальных.

— Понятно... Соня меня будет лечить, Дима кормить, обувать, одевать, водить на охоту. Не жизнь — малина! А я в благодарность напишу про Диму роман...

Спускаюсь к воде, начинаю чистить чехонь. Димке дал, чтобы отмыл, небольшую цибарочку для ухи. Он смотрит на чехонь с нескрываемой брезгливостью.

— Представляю, как благодарные дети преподносят тебе цветы по всяким праздникам и юбилеям. Благодетель...

— Ну ты и злой! Да у тебя ничего святого!

— Ничего. Ни тут, ни там.— Я тыкаю ножом в небо.

— Дошёл ты, Витенька, совсем дошёл. Так жить нельзя.

По его понятиям, я же и «дошёл», а с него как с гуся вода. У меня ничего святого, а у него целый мешок святости. Ну, суки, они же не понимают, какие они подонки! Они же ещё и собой гордятся, своими достижениями. Как же, они уже достигли космических высот! Свя-ятые!.. Варю уху. Злой, хуже собаки. Грабители считают себя благодетелями человечества! Интересно, а куда дальше можно дойти? До Птахиного Буерака — это понятно. А дальше?..

Мне хочется угостить Димку настоящей ухой на берегу Дона. Я стараюсь. Больше, к сожалению, угостить мне его нечем. Он ведь не знает, что такое нищета. Он уже забыл. Разделся, начал купаться.

— Ты бы всё-таки плавки надел. Тут ведь бывают люди.

— Какие люди?! Что ты говоришь?!

Правильно. Ему всё можно и всё дозволено. «Какие люди!» Человкоединицы, рабсила. Кого стесняться? К тому жё там и прятать почти нечего.

Соня и Димка — это вообще какой-то парадокс. Вся наша жизнь состоит из сплошных парадоксов. Димка загорает. Принимает солнечные ванны. Он теперь очень заботится о своём драгоценном здоровье. Но пуздо отпустил. Ножки тоненькие, волосатые. Типичный паучок-эксплуататор. Ловец человеческих душ. Зря я его сюда привёл, подонка.

— Иди хлебать уху.

Сам я есть не хочу. Сажусь просто за компанию.

— Ну, ну, попробуем,— говорит Димка так, будто его собираются отравить.

— Оденься, не то обварю.

Димка покорно одевается. Садится, достаёт из рюкзака бутылку.

— Я не буду,— говорю я. Но сам ещё не знаю: буду или не буду.

— Как не будешь?!

— Так и не буду. Я тут, на Дону, не пью. Хоть это место не поганить...

— Ви-и-итенька!!! Молодец!

И Димка небрежно швыряет бутылку через плечо в Дон. Следом летит вторая, третья... Я ему не мешаю. Какие аристократические замашки! Последняя бутылка на мгновение задерживается, повиснув в воздухе, но и она летит туда же. Димка подозрительно смотрит на меня.

— Не жалеешь? Если жалеешь, то сейчас же бегом в город и принесу вдвое больше.

— Не донесёшь.

— Нет, кроме шуток, не жалеешь?

— Да нет же, что ты пристал?! — Я уже отпустил Димке половину его грехов.

— Молодец! Вот теперь, Витя, мы свободные люди! Делай, что хочешь, иди, куда хочешь, живи, как хочешь! Ты же пойми, что пьянка — то же рабство. Ты — раб! Раб этой рюмки, раб этой бутылки, раб зелёного змия! — Не знаю, кого так красноречиво убеждает Димка, то ли меня, то ли себя.— Сейчас с тобой подпишем договор кровью, что два года в рот не берём.

— Ладно, ешь, а то уха остынет.

— А ты?

— Я не буду. Какая еда, когда весь желудок отравлен. Ну, как уха?

— Вкусная. Такой ни в одном ресторане мира не подадут.

— А ты бывал в ресторанах мира?

— Бывал, Витенька, в Японии был, в Италии, в Швеции...

— А в Америке?

— В Америке не был. Ещё успеем с тобой, побываем! — Димка снова начинает «загибать». Опять «золотые горы».

— Нет уж, Дима, как я родился «без рубашки», так и подохну «без рубашки»...

— Витя, да ты богаче любого миллионера! Нет, серьёзно. Всё здесь вокруг твоё. А живёшь! Хочешь, пьёшь по неделе, тут у тебя полнейший коммунизм, всё стоит, всё целое. А миллионерам, знаешь, как приходится крутиться, он на рыбалке, а у него в лодке телефон, иначе ограбят. А ты ещё ноешь. Теперь я понимаю, почему ты до сих пор не подох. Тебя Дон спасает. Отдохнёт тут, наберётся сил, а потом глушишь «ядерные боеголовки» сумками.

Димка забыл все ресторанные приличия. Ест сразу эту «мерзопакостную»

чехонь, захлѣбывает ухой, сопит, по рукам у него течёт, по бороде тоже. Вот теперь это настоящий Димка, и я отпускаю ему вторую половину грехов. Мне хочется сводить его к Ширине.

Как всегда после сытного обеда, Димка пытается подремать, но я ему не даю.

— Пошли карасей ловить.

— Каких карасей?! Живых?! Ты меня совсем добьѣшь. А удочки?

— Они у меня там спрятаны.

— Прямо какой-то личный заповедник! — Димка моментально поднимается.— Вперѣд на карасей!

Мы выходим на луг. На тот самый луг, где были когда-то знаменитые Озорники. Идѣм мимо ручья, в котором я когда-то барахтался, преграждая грудью сазанам дорогу в Дон. Озѣра давно высохли, от ручья осталась неглубокая ложбинка. Да, скудно всё, но мне и эта скудость дорога. Сколько нас прошло по этим берегам?.. По лугу тут и там свежеперерытая земля.

— Это что такое? — спрашивает Димка.

— Свињи... Дикие. Их тут полно. Не знаю, что они там ищут.

Димка моментально устремляется к свежей яме. Становится на колени.
— Трюфеля! Настоящие трюфеля! Не успели сожрать, мы, наверно, спугнули.— Димка начинает тревожно крутить головой.— Они где-то недалеко...

— Пошли скорей, а то жарко.— Я обливаюсь потом. Нашѣл чем заниматься, свињями.

— Вот бы поохотиться...

Слово за слово — выходим к Ширине. Димка, словно замороженный, останавливается:

— Ши-ири-ина... Точно, Ширина! Я ещё в этой отножине когда-то зорю стоял. Витенька, куда ты меня привѣл! Ну, молодец, ну, спасибо! Пошли к родничку, напьѣмся. Эх! как вспомню водичку!..

— Сходить-то, конечно, можно бы. Только нет, Дима, родничка.

— Как нет?!

— Пересох. Даже родники пересыхают...

Нет, не вернуть ни прежнего Димку, ни Ширину, ни прежнего меня.

В конце отножины кто-то завозился, захлюпал, раздалось чавканье. Свињи. Они тут каждый день «грязи» принимают.

— Пошли посмотрим.

— А не опасно?

Поворачиваю в лес. Димка плетѣтся следом. Делаем небольшой крюк и осторожно выходим в самый конец Ширины.

— Эй! — окликнул я негромко. Там мгновенно всё притихло. И вдруг, раздвигая камыши, прямо на нас довольно быстро что-то несѣтся. Димка невольно отступил. На берег выскочила свињья и шагах в десяти остановилась, как бы спрашивая: «А кто это меня позвал?»

— Ну, чего уставилась, Хавронья?

Хавронья круто развернулась и бросилась назад в камыши. Через некоторое время мы увидели, как она выскочила на противоположный бугристый берег, а за ней один за одним жѣлтые полосатые поросята.

— Пошли отсюда!

— А караси?..

— Какие караси?! Нет тут никаких карасей! Ничего тут нет! Свињи! Видишь, кругом свињи! И там свињи! Везде свињи! Свињья жизнь!

— Ну успокойся, успокойся.

— Чѣ успокаиваться?! Пошли! Справим по Дону поминки, по Ширине, по мне. Выпьѣм за здоровье завода, наших вождей, за свободу, равенство и братство, за великие зоро коммунизма! Ещё за что? За Господа Бога, ведь всё творится под его неусыпным оком, и ещё я с удовольствием выпью

за здоровье великого и непобедимого Зелёного Змия! Пошли... Он мне кажется самым порядочным в этом необъятном вонючем свинарнике!

Я уже совсем не держу себя в руках и чуть ли не бегом устремляюсь назад к Дону. Димка за мной еле поспекает. Ему пузцо мешает, соцзапас. На ходу срываю с себя рубашку. Вот она, Мажарова переправа, Старый Городок, куда бежали от рабства, а попали в такое рабство, какого ещё и на земле не было. С ходу скатываюсь с обрыва, снимаю штаны, ныряю и сразу достаю две бутылки. Димка, наверно, думал, что тут яма. Была яма.

— Что, они там так и лежат?

— Надёжней, чем в холодильнике. На! Пьём из горла. Прощай, Дон, царство тебе небесное!

Димка пить не стал. Он тоже нырнул и тоже достал две. Сверху послышался звук лодочного мотора. Я пригляделся.

— Рыбнадзор. Кидай назад, а то подъедут и всё выжрут.

К стану подрулил Емеля.

— Рыбалите?

— Не, велосипеды ремонтируем!

Емелю уже перестало «замыкать». Обкатался, больше сшибает бутылки, чем ловит браконьеров.

— На, дорогой,— отдаю ему остатки,— помяни Дон.

— Кого?!

— Дон! Вот его! Видишь, что он уже подох. У нас с тобой на глазах подох!

— Гы-гы-гы! — Как был дурачком, так и остался.— А больше у вас ничего нет?

— Не, деньги есть, мотай в город.

— Нельзя, я на работе.

— Ну, тогда давай, работай! Да гляди не надорвись!

Емеля выкинул опустошённую бутылку в Дон, завёл мотор, лихо развернулся и поехал работать.

Димка снова нырнул и достал четыре бутылки сразу. Мы полезли на обрыв. Садимся за столик, раскладываем холодные закуски, помидоры, огурцы, лук, я режу хлеб. Димка рвёт вяленую чехонь. Пьём молча каждый из своей бутылки.

Мне уже легче. Блаженное тепло разлилось по телу, блаженненькие мысли заходили в голову. Всё не так уж и мрачно, жить можно... Я уже согласен ехать с Димкой хоть к чёрту на рога. Я никогда не видел Димку пьяным, мне интересно. Чувствую, сейчас он вдарится в мировую политику. Почему это все пьяные обязательно начинают заниматься политикой? Для меня это загадка природы.

— Конечно, я понимаю, ты обозлён до предела. Но что я могу тебе предложить?.. Поедем, посмотришь, не понравится — вернёшься. Расходы я беру на себя. Подожди, деньги всё равно ворованные, государственные. Если честно, то я не из-за себя и не из-за тебя, а из-за Саши. Я не хотел тебе говорить. Иван в Афгане пропал без вести. А Саша тебя любит... Мужчин не выносит просто патологически. Вот слушай... Как бы тебе объяснить. Тридцать лет была вроде прокажённой. И вдруг... Нет, ты выслушай. Иду я как-то по улице. Я часто хожу пешком. Вижу, впереди Саша. Её же за сто вёрст по одной походке узнаешь. Сам позавидовал. И тут к ней цепляется один черномазый. Вижу, она раз отшила, а тот наглый, как танк, берёт под ручку. И тут Саша на ходу снимает туфельку и по морде! Тот ошалел. Она его второй раз! Тот от неё бегом! Она ему туфелькой в спину. И смех и горе. С тех пор как ей сделали операцию, мужчин она просто не выносит.

А тут я как раз твою книжку купил. Она читала, плакала. Ты же понимаешь, что никакой ты не Есенин и не Маяковский (больше Димка поэтов не знает). Просто там всё про Дон, всё родное, она же здесь так с тех пор ни разу

и не была. Не хочет ехать. Ну, ты ради неё можешь это сделать?!

— С этого бы и начинал. А то «завод!», «директор!».

— Какой завод, Витя! С завода я, кажется, скоро уйду. Если не уведут. Я ведь не только для себя, я ведь и для завода ворую. А сначала был как мышка! Всё ташил в свою норку. Из такой-то нищеты! Как говорят: «Из грязи в князи!» Теперь опомнился. Ничего не надо. Семьи нет, детей не успел воспитать, некогда было. Пить начал.

— Давно?

— Да уж с год или побольше. Саша пока не догадывается. Уезжаю в «командировки». Раз лежу в охотничьем домике на диване, а на меня какие-то чёрные собаки! Ужас! На работе тоже коньяком держусь, как Черчилль! Через каждые полчаса — рюмочка коньяка.

Димка и тут своей пьянке сумел придумать громкое название: «Как Черчилль!». Ну и Димка!..

— Так поедешь?

— Боюсь,— признался я честно.— Мы же все сумасшедшие...

Долго молча глядя на Дон. Он тихий, тихий. Поверхность воды выровнялась и стала глянцеви́то-чёрной, словно застыла. Словно и он о чём-то задумался. Как же! Реке тоже надо опомниться от бесконечного бега своего. Нет, Дон не умер. В головах у него розовая заря, в ногах синие тени. Только мель сероватым смутным призраком, начинаясь где-то от косы, чуть ли не подступает сюда, под обрыв, к нашим ногам. Тут она исчезает, переходя в обманчивую глубину. Когда-то мы приходили сюда с удочками в руках. «Дед Мажар! Дед Мажар! Там гроб!» Разве мы с тех самых пор так уж сильно изменились? Но Дон был не такой. Просто я не замечал, как он меняется. Лишь эта мель, еле вырисовываясь под слоем воды, вызывала во мне смутную тревогу. Так, как будто она уходила в мою душу, медленно затягивала её, и не осталось там уже ни одного глубокого места. Ребятишками мы любили доставать «дно». Не каждому это удавалось. Димка нас и тут обманывал. Нырнёт в глубину, а сам заранее зажмёт в ладони песку с илом, выныривает: «Вот!» И мы ему верили... И глубокие омуты, где хранилось самое сокровенное, постепенно исчезали...

Одинокая чайка в который раз застывает на месте, вглядываясь в мелкую воду на косе, но, так и не сорвавшись вниз, снова начинает делать плавные круги в поисках добычи. Постепенно она удаляется серебристым пятнышком в синие сумерки. Вверху с реки постепенно сползает фальшивая позолота.

После выпитого вина нервы раскисли. Залиться бы горячими пьяными слезами или завывать. А лучше ещё раз приложиться к горлышку бутылки. И никаких трагедий. Трагедий в жизни не бывает. Даже смерть не трагедия.

И когда это пришла в голову человеку мысль о бессмертии? Ведь с этого момента он и стал по-настоящему несчастным. Сидел где-нибудь в уютной пещерке сытый, довольный (только сытому и довольному могла взбрести в голову эта великая мысль), красивая самочка подрёмывала рядом, и вдруг его осенило! Ему захотелось, видите ли, жить вечно.

Не дай и не приведи, Господи. Тут и прожитой жизни хватило, и даже с лихвой.

— Мы же с тобой окончательно сопьёмся.

— Ну нет! Я это дело прекращаю. Мы с тобой подпишем договор два года не брать в рот ни капли.

О Соне мы больше не будем говорить. Нам нельзя слишком серьёзно относиться к этой жизни. Мы никогда не относились к ней слишком серьёзно. Это просто невозможно слишком серьёзно относиться к этой жизни.

— Кровью? — спрашиваю я.— Или вином?

— Кровью, Витенька, только кровью!

Был вечер, настало утро, потом снова вечер, ночь, всё смешалось, мы засыпали, просыпались, ныряли, потом нырять стало незачем, но мы всё равно ныряли, нанырялись до синевы и послули как убитые...

* * *

Мы прилетели утром. Димка куда-то позвонил. Незаметно он преобразился в Вадим Владимировича. Я даже не заметил, когда это произошло. Может, он преображался в самолёте на большой высоте? Конечно, там это легче сделать. Я пытался заглядывать в иллюминатор, чтоб увидеть землю, но её не было. Была чернота. Чёрная дыра. А Димка в это время незаметно преображался. По-хозяйски, заложив руки за спину, он расхаживает по шикарному вестибюлю аэропорта.

И это тот самый Димка, с которым мы дня три, четыре назад стояли на четвереньках и лаяли друг на друга, изображая собак. Потом мы планировали совершенно новую трудовую жизнь. Мы решили никуда не ехать, остаться и разводить коз. Фунт пуха — сорок рублей. Мы забыли, сколько в фунте граммов, Димка утверждал — четыреста, а я — шестьсот. Но всё равно порешили, что дело это выгодное. Потом Димка усомнился: «А где мы будем жить с козами?» — «На хуторе, тут брошенных хуторов навалом. Мы будем жить в Чёрной Поляне. Толстой жил в Ясной Поляне, а мы будем жить в Чёрной...» Меня и Димку обуяла мания величия. Димка сказал, что даст мне сюжет для романа, а я напишу. «Правильно, я буду писать романы, а ты пасти коз. Гонорар пропьём вместе». Но Димкина мания пошла дальше, он сказал, что будет пасти коз и проповедовать библейские истины. Теперь мы спустились на землю. Теперь Димка снова изображает директора, но своего величия ему почему-то не хватает.

Нам подали шикарную чёрную «Волгу». Димка тут же шофёра отпустил, сам сел за руль.

— Куда едем?

— Домой к тебе, куда же ещё?

— Саша сейчас на работе, дома никого нет. Хочешь, покажу город.

Городов этих я уже насмотрелся досыта, почти все они одинаковые, и от осмотра вежливо отказался. Я всё время думал о встрече с Соней и боялся этой встречи.

Долго ехали молча. Подкатили к особняку в соснах. Димка открыл багажник, сунул в руки мне букет.

— А чемодан?

— Потом, пошли.— Он извлёк из кармана увесистую низку ключей, как какой-то Плюшкин, открыл двери и первым втокнул меня. В прихожей стояла Соня, над ней горела аляповатая хрустальная люстра. Она как-то внимательно и подозрительно смотрит на меня, как будто я — это не я. Протягиваю ей букет, как взведённую и спущенную с предохранителя гранату РГД. Осторожно протягиваю. Букет летит в угол, на меня обрушивается шквал, ураган, так что я едва не вылетаю за двери.

— Господи, с цветами!.. Я уж подумала было: «Опять какой-то хлыщ!» В галстук, Витя, да ты ли это?..

Я внимательно посмотрел на её новую шёку. Соня сразу же это заметила, слёзы как бы сами полились из глаз:

— Всё, всё, нет больше Соньки Жгоной, нету, ничего нету.. Подожди, я сейчас. Господи!

Димка спокойно прошёл мимо нас.

— И не алкаш, я же вижу, что не алкаш! — Зрачки провалились куда-то в глубь меня, как будто она сразу же решила осмотреть моё нутро.

— Алкаш, Соня, самый настоящий алкаш!

Глаза её внезапно стали тёплыми-тёплыми:

— А я-то ждала оборванца, заросшего, опустившегося, с мутными глазами...

— С трясущимися руками, с опухшей рожей... Нет, Соня, я не такой алкаш, я особенный алкаш, я алкаш из алкашей! — заякал я.

Соня снова пристально и глубоко заглянула мне в глаза. Так пристально и так глубоко, что мне стало не по себе. И тут Сонины руки стискивают мне шею, и, как тогда, ещё в детстве, она душит, душит меня, доводя до последнего предела, и вдруг отпускает:

— Витенька! — Она начала трясти меня, как грушу. — А я думаю, пускай алкаш, распоследний алкаш, отмою, отхожу вот этими руками, но увидеть хоть одну живую родную душу! — Слёзы снова льются из её глаз, как будто это и правда два чёрных глубоких омута и вода в них никогда не кончается. — Витька! Я уже всё, я уже смеюсь!

Откуда-то снова появляется Димка:

— Ну что ты, в самом деле! Ну, видишь, привёз.

— Витя, он тебя привёз?! Он возит людей как вещи, как чемоданы! Витя, скажи сейчас же, что сам приехал повидать Соньку Жгону. Скажи сейчас же, а иначе я что-нибудь сделаю!!!

— Привёз, Соня, привёз, чуть ли не силком...

— Ну вредина! Как был вредина, так и остался вредина! Погодите же! — Соня куда-то метнулась, и вот в руках у неё уже швабра. Я и глазом моргнуть не успел, как от люстры над головой во все стороны полетели хрустальные осколки, лампочки начали лопаться, как маленькие гранатки, приходящая погрузилась в мрак. Соня расхохоталась, в темноте нашла мою руку.

— Витя, не горюй! Я уже сто раз ему говорила: сними эту пошлятину! Где-то в своём дворце спёр! Теперь я довольна, пошли, пошли. Да не разувайся, плюй ты на эти ковры. Чё будете пить, алкаши?.. Нет, Витя, он не алкаш, он поря-ядочный человек. Величина! Витька, водки! За такую встречу только русской водки! Лишь не окосей. Я с тобой всю ночь буду разговаривать. Я с тобой буду спать. Да не верти ты носом. Мы с Димой живём по договору. Спим с кем хотим, да, Дима? Он тебе всё рассказал, да? Нет, Витя, не волнуйся, всего он никогда не расскажет. Ох же и надерусь я нынче, как самая распоследняя шлюха! Нет, Витя, я буду говорить и говорить, мне надо выговориться. Лишь не окосей. Завтра можешь нажраться хоть по ноздри. Дима, ну что ты стоишь, как монумент. Нет, не могу!..

Димка куда-то вышел. Мы уселись на диван.

— Ну, рассказывай. Нет, подожди, потом. Ты только нынче не засни.

— Соня, не волнуйся. Я теперь трое суток не буду спать. У меня система. Соня вдруг стала необычайно серьёзной:

— Так болеешь, да? А потом галлюцинации?

— Да.

— Хорошо, что приехал. Сделаю из тебя человека!

Все почему-то хотят сделать из меня человека: Хозяин пытался, Димка, Соня, кто там ещё? Прямо-таки святая наивность. И всё-таки странно на Соню смотреть. Живёт у неё только одна половина лица. А вторая как бы находится в постоянной неподвижной задумчивости. Двуликий Янус. Тоже двуличие, только теперь глубоко скрытое. В остальном она всё такая же. Полные яркие губы, чёрные до синевы глаза, недаром итальяшка и тот потерял голову.

— Витя, он тебе всё рассказал?..

— По-моему всё... что он знает.

— Молодец! «Что он знает», — повторила Соня. — Да, именно — «что он знает». Хорошо. Потом. Всё потом. Дима! Ну что ты там копаешься. Да, Витя, жизнь наша — нарочно не придумаешь.

На пороге появился Димка:

— Всё готово. Сейчас поставлю машину в гараж. — Он вышел.

— В гараж?! В какой гараж?! Куда он поехал?

— Ты что переполошился? Гараж под домом.— Соня непонимающе смотрит на меня.

Я и сам не знаю, с чего переполошился. Было такое ощущение, что Димка бросил меня где-то одного и смылся.

Соня усмехнулась:

— Пойдём, умоешься, а может, примешь ванну с дороги?

— Потом.

Она провела меня в роскошную ванную комнату. Зеркала, на полках всевозможные флаконы и флакончики, всё заграничное, и вдруг среди ярко кричащих этикеток заметил полный флакон огуречного лосьона. Это то, что надо. В случае чего, можно опохмелиться. Пахнет огурцом и закусьвать не надо. Оставшись один в этой шикарной ванной комнате, я почувствовал себя совсем неудобно. Разделся до пояса, быстро ополоснулся и поспешил назад к Соне.

Димка уже поставил машину, принёс мой чемодан и рюкзак с вяленой рыбой. Этот замызганный вылинявший рюкзак Димка таскал в аэропорту в Волгограде с таким достоинством, словно за спиной у него покоились царские сокровища. Мельком я заметил, что рюкзак наполовину пуст. Вспомнил о другой Димкиной семье. Хозяин. Я взял чемодан, и Соня отвела меня наверх в «мою» комнату. Комнатёнка уютенькая. На низком журнальном столике портативная пишущая машинка «Олимпия». По левой стене до потолка книжные полки, я прошёлся взглядом по корешкам книг и понял, что всё это или почти всё подписные издания последних лет. Мода. Одни полные собрания сочинений. Моя тощая книжечка стоит прислонённая к какому-то полному собранию, с неё самонадеянный молодой человек задумчиво смотрит куда-то в пространство. Балбес. Возле зашторенного окна то ли тахта, то ли широченный диван. В щёлку между шторами видна какая-то зелень.

Я взял со столика ключи и повертел на указательном пальце:

— Что-то слишком много. Это от входной двери, это от моей комнаты, а это от несгораемого ящика? Придётся ограбить.

— Это ключ от машины. И если ты сейчас же, слышишь, сейчас же не перестанешь ёрничать, я не знаю, что сделаю!

«Зато я знаю,— подумал я,— люстру уже разбила, повысадишь теперь все окна и вообще устроишь такой трам-тарарам, хоть караул кричи. Уж это-то я знаю хорошо».

— Кстати, а ты умеешь водить машину?

— Умею, но с меня хватит одной.

— Как хватит одной?

— Одну я уже рассадил вдребезги.

— Как рассадил?

— Ну что тебе это — интересно? Так рассадил, что одни колёса целыми остались. Карбюратор от мотора отлетел.

— Было страшно?

Я подозрительно посмотрел на Соню. Что это ещё за допрос с пристрастием.

— Нет. В такие моменты страх не поспекает за событиями. Слишком быстро происходит переоценка ценностей. Представляешь, вот ты за рулём, ты чуть ли не царь вселенной, с бешеной скоростью покоряешь пространство и время. Ты подающий надежды писатель, в голове у тебя бродят грандиозные замыслы насчёт покорения человеческих душ, и вдруг лопается баллон, и вот ты уже мешок с дерьмом и костями, который безжалостно вертит в своём нутре эта железка, сама рассыпаясь на части. Ты довольна? Или ещё?..

— Ух ты! А теперь, значит, за руль боишься садиться? — Я понимаю, что Соня решила тут же отомстить за моё ёрничание.

Самым страшным оскорблением для нас в детстве было обвинение в трусости: «У-у! Бздун!». Хуже уж ничего не придумаешь. Было и осталось на

всю жизнь. Соня это прекрасно знает. Чего она хочет? Уничтожить, что ль, меня? Не выйдет.

— Нет, Соня, не боюсь. Теперь я знаю, что если садишься за руль, хотя бы и за руль государственной машины, надо быть профессионалом.

— Ну как же! Ты теперь профессионал, член Союза писателей.

— Я даже алкаш-профессионал, Соня. Никто так не умеет пить.

Последнее слово всё-таки должно быть за мной.

Мы спустились в гостиную. Я сразу понял, что это гостиная, обычно меня принимают на кухне. Димка орудует возле стола. Лицо у него сосредоточенно-внимательное. Когда Димка занят служением Мамоне, то для него хоть трава не расти. Стол сервирован на три персоны. Белоснежная скатерть. «Потом не отстираешь»,— подумал я. Бутылки, хрустальные бокалы, рюмочки, блестящие ножи, вилки, тарелочки. Сразу видно, что тут часто принимают высоких гостей. Вспомнил, как Димка любил сервировать «столы» где-нибудь на охоте или рыбалке, и мне стало смешно.

— Ты чего? — тревожно спрашивает Соня. Кажется, она не упускает меня из виду ни на одно мгновение.

— Та-ак.— Я вспомнил свою убогую комнатушку, низы с бойницами окон ровень с землёй... Я вспомнил нищету.

Соня долгим грустным взглядом укорила меня.

И чего это из меня прёт как из махана. Соня и среди роскоши и даже с этой новой щекой осталась человеком. Это же сразу видно. Да и Димка... Но взять себя в руки трудно, почти невозможно. Ковры, паркет, люстра, только уже изящная, домашняя, музыкальный агрегат в углу японской фирмы. Сколько же тут денег, а у меня рубля зачастую нет на опохмелку. Сам виноват, «писатель». Мне-то казалось, что я начисто лишён всякой зависти. Ни одному писателю, даже Виктору Астафьеву в его шикарной вологодской квартире, я не завидовал. А тут незнакомое, неприятное, подленькое чувство пробудилось во мне. Значит, просто дремало. Соня, кажется, и это заметила. Мне стала противна собственная персона. А закуска! Конечно же, чёрная икра! Неважно, что мы эту икру когда-то жрали столовыми ложками, да не осетровую залежалую и пересолёную, а свеженькую стерляжьую с лучком. В центре стола Димка поставил шикарное блюдо со звенками моей чехони, уже очищенной и посыпанной всякой зеленью.

— Саша, покушай Витиной рыбы, цимес! — До этого у него было любимое слово «Деликатес!»

— Соня, не моей, а донской, это тебе Дон-батюшка прислал!

Я почувствовал, что она на пределе, что ещё одно слово — и с ней начнётся истерика.

— Дима, наливай! — отчаянно-весело командует она.— Да к чёрту эти рюмочки! Дай?! — Она наполняет хрустальные бокалы белой прозрачной жидкостью с верхом. С размаху чокается со мной. Водка льётся на скатерть.

— Витя, за встречу! — Выпила залпом и трахнула бокал об пол.— На счастье! Витя, пей и бей! Дима, ну что ты сидишь, как поп на именинах?!

Димка выпил и рассадил свой бокал с каким-то остервенением. Я свой бокал разбивать постеснялся. Изо всех сил размахнулся и осторожно поставил на стол. Соня схватила мой бокал и с размаху трахнула об стену. Хрусталь засверкал переливчатыми обманчивыми искрами, разлетаясь по всей комнате.

Водка, видно, была такая очищенная, а я до того напряжён, что, как в детстве, как в первый раз с Пашей Малиным в «Шалмане», вкуса никакого не почувствовал. Соня взяла звенку донской чехони.

— Ой! Витя, прелесть! Дай поцелую! — Она заметно охмелела. Но целоваться после вяленой рыбы!..

Димка крикнул:

— Горько!

— Давай, Витя, Дима собственную жену замуж выдаёт!
Мы поцеловались. С ней и после рыбы целоваться не противно.

— А я не возьму.

— Ты не возьмёшь?!

— С меня хватит жён,— начал выкручиваться я,— да и семья в наш век уже себя изжила.

— Как это?! Объясни? — живо заинтересовался Димка.

— Да я ни одной не то что счастливой — благополучной семьи за всё время своего существования не встретил.— Я для того так говорил, чтобы замять неловкость. Сообразил, что нечаянно задел самое больное место.— А без благополучной семьи нет благополучного государства со всей твоей благотворительностью.— О! Спасительная тема — политика! Как что, так ударяйся в политику, и никаких семейных проблем.

Глаза у Сони неестественно блестят, и смахивает она слегка на сумасшедшую.

— Ты что? Уже пьяный? — спрашивает она.

— Откуда ты взяла?! — обиделся я.— С бокала водки!..

— А мелешь тут какую-то чепуху насчёт семьи и государства! Семья — это семья! А государство! Пошли они все...! — Соня смачно выматерилась.— Давайте выпьем! Дима, наливай!

— А теперь за что выпьем?

— За тебя, Соня.

— За меня не хочу, за меня нельзя пить. Я веду активную борьбу с алкоголизмом. Мы выпьем за тебя, за твоё будущее! За литературные успехи! Я всегда гордилась тобой, Витя! — Соня произнесла целую речь, посвящённую моим талантам. Вкуса водки я опять не почувствовал. Димка снова навалился на жратву.

— А ты почему ничего не ешь?

— Я святым духом питаюсь. Да и водку зачем зря переводить.

Димка усмехнулся:

— Ешь, этой водки у нас навалом, а то, смотри, окосеешь раньше времени.

— Витя, хочешь, я поеду с тобой, будем вместе пить, шухарить и в грязь валяться. Мне терять тут нечего. Хочешь? Я ведь тоже тут чуть не запила. Тяпну коньячку на ночь, и так мне хорошо... Дон, детство вспомню. Аню Хромую. Витя, а ты помнишь? Я вот себя не Жгоной совсем не помню, а ты помнишь? Ни хрена вы, кобели, не помните! — Соня уже начала явно заговариваться.— Ты знаешь, сколько я из-за тебя пережила?! Ничего ты не знаешь. Ты тогда был не виноват, тогда я была виновата. А ты, Витя, был наивный, как младенец! А знаешь, почему тебя к Ане перестали пускать? Костя запретил. Помнишь Костю? Не то ты со своими замашками давно бы сгнил где-нибудь в тюрьме. Костя человек был. Умер в лагере от чахотки. И папаша не спас. Да он и не хотел. Он ненавидел своего папашу. Костя честно прошёл войну, пацаном ходил в разведку. Наша доблестная Красная армия не стеснялась использовать подростков, впрочем, как и Гитлер в конце войны.— Соню потянуло в политику — это плохой признак. Это вторая стадия опьянения. При первой тянет на откровенности.— Костя хоть и числился вором в законе, но он никогда не воровал. Он играл. И всегда выигрывал, потому что не мандражил, как другие. А ты знаешь, за что он сел? Пристрелил одного шулера в Сталинграде. Правильно, шулеров надо стрелять.— Соня долгим пьяным взглядом уставилась на Димку:

— Дима, наливай! Выпьем за Костю.

Димка налил ещё по рюмочке.

— Витя, почитай стихи. Нет, лучше не читай, а то разревусь. Он тебе говорил, да? Ну, что, купил он тебя со всеми потрохами. Он тебе машину не предлагал вместе со мной?

— Саша, перестань!

— Нет, не перестану. Бери, Витя, не ошибёшься. Это я его сделала таким великим, вот этим местом. Не перестану! А что, не правда, Дима? Как вы все правду не любите! А тебя он хрен купит. Ты у него спроси: где ты, Дима, был, когда я с голода подыхал и в грязи валялся?

— Я с голода не подыхал.

— Всё равно. Он, Витя, с разными проститутками тут на «Волгах» раскатывался.

— Ну, хватит! Он меня и так из грязи вытащил!

— Не-ет, Витенька, это уже совсем другая грязь. Диму я знаю. Он скупает человеческие души. Тоже мне, современный Мефистофель! Ах ты несчастный Мефистофель! Теперь за копейки, за ковры, за тряпки ты можешь скупать эти душонки прямо пачками. Витя, он может скупать их оптом и в розницу. Он же ка-пи-та-лист! Миллионер! У него свой завод. Он так и выражается: «Мой завод». А по душам не с кем поговорить. Душонки-то пошли с червоточиной. Им даже в аду делать нечего. Брак! Дима, ты скупаешь бракованные души. Они экономически невыгодные. Мефистофель... А Витину душу я тебе не отдам. Давай наливай!

Хоть бы она поскорей свалилась. И с чего она так окосела? Я же чувствую себя, как будто и не пил. Мне неловко перед Димкой. Такой жестокости я от Сони не ожидал. Конечно, если тебя, чуть ли не с детства, насильовали, калечили, изгалялись, как хотели, можно ожесточиться, но не до такой же степени.

— У нас с тобой, Витя, родственные души. Ты всегда всё делал назло. Ты спроси у Димы, что я тут по молодости вытворяла. Придём в ресторан, Витя,— я любила водить Диму по ресторанам,— сядем где-нибудь у стены, обязательно у стены, и я кого-нибудь завлеку одним взглядом. Вам же, кобелям, стоит только моргнуть да голую коленочку выставить. И вот уже: «Разрешите». Ну, а дальше ты знаешь. Витя, мне эти танцы доставляли истинное наслаждение! А потом подлец-хирург сделал мне новую щёку. Всё кончилось. Пришлось становиться порядочной женщиной. А то Диме надо бы на дуэли каждую неделю стреляться, будь это в старое время.

— И так еле отбивался,— невесело подтвердил Димка.

— Нет, тут он настоящий мужчина, тут ничего не скажешь! Никому меня в обиду не дал. Вот если бы ещё нужных людей мне в постельку не подсовывал... Опять, скажешь, неправда? Но я перед ним виновата. Дима, каюсь. С месяц назад я ему всю карьеру испортила. Мы бы теперь, знаешь, где были? В столице Союза Социалистических Республик, а не в этой вонючей дыре. Сейчас расскажу...

— Не стоит,— уже безнадежно запротестовал Димка.— Скоро нас и из этой вонючей дыры выкинут.

— Пускай! Мне ничего не страшно! Мне теперь на всё наплевать! Детей не смогли спасти, а это — тьфу и растереть!

Соня хотела было заплакать, но взяла себя в руки.

— Так вот, когда мы разошлись, я поставила одно условие: чтоб в квартире ни одной проститутки. Договор есть договор. А тут смотрю, Дима приводит двоих. Один такой солидный старикан, а второй, Витя, ты даже представить себе не можешь! Кинозвезда, супермен! Брюнет! Красавец! А глаза такие волоокие! Дима, он меня сразу очаровал! Вот, думаю, кому отдаться. Угадай, что я сделала?

— Отдалась.

— Фу-у! Какие вы все грязные!.. Нет, Витя, ни за что не догадаешься.

— Хамить начала. Больше что от тебя ждать.

— Да ты что?! Сама предупредительность. Изображаю из себя светскую даму, великодушную хозяйку, кухарку и домработницу в одном лице. Цирк!

— Цыганочку им сплясала.

— Витька, за кого ты меня принимаешь?! Фу! Вредина!

Мне хочется отвлечь Соню. Чувствую, что для Димки да и для меня тоже во всей этой истории мало приятного. Но если Соня до этого легко перескакивала с одного на другое, то тут упёрлась, как будто увидела перед собой какою-то важную цель.

— Дима же от меня ничего не может скрыть. Он же рвётся в столицу, правда, Дима? Завод его уже не устраивает. Он и мне нарисовал прекрасное будущее. Он умеет рисовать прекрасное будущее. Тут мою работу считают чуть ли не шарлатанством, а там! Там я даже могу докторскую защитить! Ты же знаешь Диму. А тут слышу такой полуконфиденциальный разговор об этой самой столице. И меня как черти подстегнули. Этот-то хлыщ за мной на кухню и тарелки помогает мыть, я так и поняла, что он у старика за холуя. Я ему глазки строю, задом верчу, а Дима вроде ничего не замечает. Дима цветёт и пахнет. Дима уже Там! Ну, думаю, неужели вся эта жизнь — сплошная проституция. Вижу, и у старикашки глазки заблестели...

— Ну как же! Секс-бомба! — не удержался я и тут же добавил. — Ядерная! Соня дёрнулась, хотела что-то сделать, но не сделала.

— А ты, оказывается, ещё хуже, чем кажешься. Вот бы не подумала.

— А хуже, чем человек есть на самом деле, и подумать нельзя. Неужели ты всё ещё веришь в благородство, в бескорыстие или какие другие идеалы?

Соня посмотрела на меня как-то уж слишком трезво. Подходящий момент, чтобы сбить её с толку.

— Все же сволочи! Неужели ты не видишь?! Все кругом сволочи, потому и жизнь сволочная! Вот я...

Соня не дала мне договорить.

— Погоди, погоди, о тебе потом пойдёт речь. Я сама сволочь! Один вот Дима считает, что он честный человек. Правда, Дима?

Димка, как маленький, рисует что-то пальцем на столе и делает вид, что весь этот трёп его не касается.

— Дима — гений по части «конкурентов», так он выражается. А тут словно бес в меня вселился, верчу задом, глазки строю, этот млеет, Дима со стариком о серьёзных вещах говорят, им уже ни до чего нет дела. Пошла, переоделась и к Диме: «Дай ключ от своей «Волги», я Арнольду Леонидовичу город покажу, а то нам с вами скучно». Старикашка этак двусмысленно улыбается, а Дима аж посерел. Тот-то думает, что Дима ревнует, но Дима меня сроду не ревновал, правда, Дима? Дима сразу догадался, что дело пахнет керосином. Правда, Дима? Тот начал: «Да нет, не стоит!..». А я думаю: «Хрен у меня вырвешься, коли на кухне начал ручки целовать», — и уволокла. За руль, юбочка до пупка, ляжки голые, а у самой внутри всё кипит. «Люблю вот таких сильных мужчин! Из-под носа у мужа жену увёл! А я уж думала, что мужчины в наш век перевелись!..» — заливаю, а сама как бешеная. Светофор на красный проскочила. Он, смотрю, глаз от моих ножек не может оторвать, какой ему город! «Да что вам город, — говорю, — вы и не такие города видели! В Париже, наверно, бывали, в Неаполе!.. — Он цветёт и пахнет. — Я вам лучше тайгу покажу, природу. У нас за городом прекрасные места! Местные Альпы!» А места, Витя, у нас отличные, сам увидишь. Тайга, горы, такие серпантинчики... Он меня за коленочку, я по газам. Как же, мужчине не терпится. Выскочили мы за город, и тут, Витя, началось!.. Давлю на всю «железку», чую, моя «Волжанка» задком начинает играть, не хуже проститутки. Слева скала, справа вид на тайгу, как с самолёта. Чудеса! Одной рукой правлю, другой его по плечу похлопываю: «От одного вашего вида у меня голова кружится! Совсем бабу развезло!» А сама думаю: «Если выдержит, разобью машину!..» И разбила бы, Витя! Но вот смотрю — ему уже не до моих коленочек, глаз не может от дороги оторвать. Сначала побледнел, потом — потом

посерел, потом зеленеть начал. Думаю: «Облюёт сейчас и меня и всю машину». Притёрлась к самому краешку пропасти, чуть колёса не висят, а внизу тайга — чудо! «Вам плохо? — говорю. — Вы, наверно, выпили лишнего? Коньяк, он обманчивый». А он выпил всего пару вот таких рюмочек. «А то пойдёте, спустимся в кустики, отдохнём. Да вам действительно плохо! Может, назад, домой?» А он уж и слова выговорить не может. Домой так домой. Разворачиваю назад, но теперь уж осторожно, теперь уж и самой страшно, и смех разбирает, ничего с собой поделать не могу... До сих пор удивляюсь, как мы уцелели. Врываюсь в город. «Вас, может, в неотложку отвезти или в гостиницу?» Кивает: «В гостиницу». Подруливаю к гостинице, он и ручку поцеловать на прощание забыл. Не прошло и часа, как я уже была дома. «Что-то,— говорю,— Арнольду Леонидовичу стало плохо, я его в гостиницу отвезла». Старикашка так же двусмысленно улыбается, а Дима сразу всё понял, правда, Дима? Он лишь не знал, как всё это произошло, я ему до сих пор не рассказывала. На второй день все переговоры кончились...

— Ну и дурёха! Погоди, ещё не то будет! — загадочно сказал Димка. Соня расхохоталась.

— Хуже нам с тобой, Дима, не будет. Можешь не волноваться.

Опять какие-то тайны.

— Соня, а ты изуверка. Чем же виноват этот Арнольд?

— Ты знаешь, он здорово похож на Ринальди.

— На кого?

— Ну, на того итальянца...

Наступило тягостное молчание.

— Витя, а теперь почитай стихи?

Я прочитал, что у нас ведь не было отцов.

— Витя, это слишком жестоко. А отец живой? И он читал? Я вижу, ты никого не щадишь.

— И себя тоже.

— Ну с собой ты можешь обращаться как хочешь, а других... Особенно родителей. Нельзя же быть таким безжалостным.

— Конечно, конечно, всех надо щадить, всех, особенно Родину-мать. А меня кто когда щадил?! А тебя, может, тоже щадил?! Или ты уж так всем всё и простила?!

— Когда станешь матерью — всё простишь. Я вспомнила детей, Витя. Я им всё отдала! Всё! Я в них душу хотела вложить, а вырастила две модные тряпки!

— Соня, ну зачем ты так?

— Молчи! Всё это твои «миллионы»! Они нужды не знали, горя не хлебнули! Витя, они любить не умеют! Им всё доступно. У нас тогда были Аня-дурочка да Сонька Жгоная, которых волокли в кустики к Дону. Какой-нибудь кобелишка трясётся весь. Скорей, скорей, как же, с итальянцем спала, тут уж не сорвётся! Ложись! Ох и лютовала же я тогда! А сейчас, глянь, все Ани, любая за пятёрку, за рюмку водки с кем хочешь и куда хочешь пойдёт. Обидно, горько, противно!

— Саша, перестань!

— Нет, не перестану!

— Да нужны вы мне со своими сценами! — разозлился я. — Завтра же уеду!

— Нет, Витенька, никуда ты не уедешь. Я не пушу!..

Соня странно усмехнулась и сосредоточенно-внимательно налила по полфужера водки. Она изо всех сил старалась быть трезвой. Переливала водку из фужера в фужер, чтобы своим было поровну.

— Давай, Витя, за твои стихи про Дон! — Но пить не стала. Поставила фужер на стол. — Нет, я уже пьяная. Ты тоже не пей! — Отобрала у меня

фужер.— Ты тоже пьяный!

— Я пошёл,— поднялся я из-за стола.— Нажрись где-нибудь в кабаке, потом поговорим.

— Иди прими ванну, отдохни. Вечером нажрёшься. Погоди, я тебе сейчас всё приготовлю.

Димка тоже встал из-за стола. Пить мне почему-то совсем расхотелось. Обижаться тоже. Я пошёл в ванную. Соня принесла мне бельё, свежее полотенце. Я вытолкал её в шею. Вода лилась медленно. Я вспомнил, что ещё ни разу не закурил. Димка не курит, Соня тоже, и я как-то забыл про курево. Достал сигарету, прикурил. После первой же затяжки закружилась голова. Так вот мне чего не хватало! Поэтому я и не косел. Посмотрел на огуречный лосьон. Может, выпить рюмочку? С него сразу окосеешь. Вода в ванну кое-как набралась. Я лёг и заснул. Никогда раньше так крепко не спал. Проснулся свеженьким и совершенно трезвым. Даже на огуречный лосьон посмотрел с отвращением. Оделся во всё своё. Вышел. Соня, как ни в чём не бывало, возится на кухне. Как будто и она тоже не пила. На ней простенькое ситцевое платье в цветочках.

— Ну как, выпался?

— А ты откуда знаешь?

— Я два раза заходила, смотрела, чтоб не утонул.— И глаза такие бесстыжие.

— Жалко, что не проснулся, утопил бы. А где Димка?

— Дрыхнет. Также сейчас встанет.— Соня посмотрела на часы.

— У тебя что, как в больнице, все спят по расписанию. Мёртвый час?

Соня посмотрела на меня так, как будто я вкладываю в слова какой-то другой смысл. Но никакого другого смысла я не вкладывал, и она успокоилась.

— Похмелиться хочешь?

— Нет. При виде тебя я хочу напиться. Ты вызываешь во мне похмельный синдром. Ты не обижайся, завтра я уеду.

Соня смотрела на меня долго и внимательно.

— Езжай. Тут тебе делать нечего,— сказала необидно просто.

А я-то думал, что из-за меня будут устраивать истерики. Никто никому не нужен. В этой жизни никто никому не нужен. Все сами себе противны.

— Ты всех так лечишь? — спросил я.

Соня аж дёрнулась:

— Нет, только тебя. И я тебя всё равно вылечу. Запомни, вылечу! — сказала она жёстко.

— Меня уже лечили, хочешь — расскажу.

— Интересно.

— Только дай мне попробовать то, что мы пили.

Соня достала из холодильника початую бутылку, протянула обыкновенный гранёный стакан.

— На, лучше выпей водки.

Я налил полстакана, выпил, вытерся рукавом и закурил.

— Ну, так слушай. Работал я в редакции, пил как все. Как у нас директор типографии Лёва говорил: «Выпью утром ды а-а-аж вечером». Вообще-то больше трёх дней не выдерживал. И тут мою Свету кто-то подзужил. Подсунул ей статью Буренкова или про Буренкова в «Известиях». Реклама, как во времена нэпа. Вылечивает на сто и более процентов. И я, дурак, согласился. Приезжаем а-а-аж в Челябинск! Я и оглянуться не успел, как оказались мы у клиники Буренкова. А там народу!!! И с Москвы, и с Ленинграда, и с Аляски, нет, ошибся, с Чукотки с такими узкими глазами, и все хотят стать новыми людьми. В беде-то люди все как братья, а тут и представляться не надо. Алкоголик. Есть отряхи-мученики, а есть и солидные, из номенклатуры. Ну, историю болезни ты и без меня знаешь хорошо. История у всех одна и

та же. Вижу, не у одного у меня поджилки трясутся. Шутка ли, начинать новую жизнь, когда тебе уже за тридцать и выше. Пускают нас партиями сразу по тридцать человек. Я в первую попал и спросить не у кого: «Как там?» Санитары, лбы такие, посмеиваются, мол, государству какой убыток! Как же, сразу тридцать человек перестанут получку за эту бесценную пакость в магазин относить! Повели нас сначала на лекцию. Ну а мы потихоньку друг у друга: «Ты скор?» — «Четыре дня, больше не выдерживаю». «А я,— другой говорит,— на седьмой день только отхожу». А я: «Так Бог сотворил вселенную». А он разозлился: «Чхал я на Бога! Я в Бога не верю!» — «А в Буренкова?» А он глаза вылупил: «В газете написано». — «В газете мало чего напишут». Сам думаю, не смуться ли, пока не поздно. Но лекция началась. Буренков суховатый такой, строгий и трезвый. О вреде алкоголя долго говорил. Потом примеры начал приводить. Ну, таких примеров можно сколько хочешь привести. Один всё из квартиры пропил. Стены голые. Так он разобрал печку и кирпичи пропил. А я думаю, у нас поинтереснее случай был. Толя Косов рассказывал. Спят, значит, он и она. Он проснулся, хватя её одежку и к бабке одной: опохмели. Та вынесла стаканчик. А она проснулась, глядя, выйти не в чем. Ну разом не в чем. Нашла всё-таки где-то верёвку и повесилась. Думаю, расскажи, не поверят. Напугал нас всё-таки Буренков, поверил и я, что после лечения ни грамма. Сразу копыта откинешь. Дали мы подписку, что теперь за нашу жизнь, кроме нас самих, никто не отвечает. Страшновато. Всю жизнь о нас заботились, и на работе, и милиция, и общественность, а тут вдруг никто не отвечает. Повели нас сначала в зал, где столы стоят. Да, перед лечением все мы взяли по бутылке водки. Так вот, на столах водка, чёрный хлеб и чай в поллитровых банках. Чайники с холодным чаем стоят. Банкет для алкоголиков, да и только! Говорят, чтоб пили как можно больше чая, закусывали хлебом, а водку ни-ни! А она стоит, родимая, раздражает. И женщины с нами. Но в процедурную залу нас погнали строем уже без женщин. Раздетые до пояса, с обнажённой грудью и душой, шли мы начинать новую жизнь! Процедурная — мрачная квадратная комната с бойницами окон где-то высоко под потолком. Вдоль стен скамейки и тазики на полу. А в углу стол с какими-то шприцами и банками зеленоватой, даже на вид отвратной жидкости. Бутылки водки и три здоровенных санитаря. Тут у кого хочешь поджилки затрясутся. Да, нелегко начинать эту самую новую жизнь. Сели мы на эти лавки, опустили головы, глядим в цинковые тазики под ногами. И вот вызывают первого. Шёл он к столу приблизительно так же, как, наверно, идут на казнь. Ноги заплетаются, а сам блее мела. Видно было, что он и рад повернуть назад, в старую жизнь, но назад дороги уже не было. Подписку дал. Стараюсь не смотреть, что они там с ним делают, какие пытки, бедный, выносит, и уже слышу: «Следующий!» Через минуту: «Следующий!» Доходит очередь до меня. Иду как во сне, иду начинать новую жизнь, будь она проклята, старая, нескладная, отравленная, загубленная!.. Ради новой жизни и не такие муки можно вынести. Меня крепко взяли под ручки, всадили и слева, и справа по уколу, ничего особенного, а потом дали выпить поллитровую банку этой зеленоватой мерзкой жидкости. Проглотил. Не противней тройного одеколона, я уж не говорю про денатурат, политуру и прочую гадость.

— А ты и эту гадость пил?

— Всё, Соня, пил, всё, что употребляют алкаши. Да, и поднесли мне на закуску сто грамм водки в маленьком стаканчике. Ну, я глотнул и пошёл на своё место. Наблюдаю, что же дальше будет. Вижу, правофлангового начало выворачивать наизнанку, за ним второго, третьего, прямо как по команде. «По порядку считайсь!» Дошла очередь и до меня. Ничего. Сажу, прислушиваюсь, что у меня там внутри происходит? А там ничего, вроде бы даже приятно. И тут один санитар заметил, что я сажу как огурчик, подлетает ко

мне с полным стаканом водки: «Пей!» Я взял у него стакан, помню, до рта донёс, а потом!.. И стакан в тазик улетел. Но всё-таки успел подумать: «Сколько водки зря загубил, дурак!». Никогда в жизни меня от водки не рвало, а тут думал, что кишки повылезут. Очнулся уже на полу, но не на этом заблёванном полу, а в другой комнате на байковом одеяле. Рядом лежат такие же горемыки. Первым делом вспомнил, что я теперь не какой-нибудь алкаш, а новый человек. Рядом какой-то дурак материт на чём свет стоит и Буренкова, и богов всех собрал.. Над другим медсестра с кислородной подушкой стоит. Позеленел весь, вот-вот концы отдаст. А мне, чувствую, ничего, скоро совсем новым человеком стану.

Наконец живым велели подниматься, мёртвых не оказалось. Там другая партия в тридцать человек ждёт. Поднялись, пошли к жёнам, к родственникам, к людям пошли. А они вроде бы и не рады. Вроде бы не доверяют. Вроде бы мы и на этот раз их обманули. Зло меня начало брать. Чую, какой-то дикий псих проснулся! Жена мне рубашку с вывернутым рукавом подала, так я её рубашкой. Молчит. Глядит с опаской, как бы новый человек чего такого не натворил. Революцию в семье не устроил. Буренков на лекции сказал, что после его лечения легко бросить курить, что надо бросать эту вредную привычку, так как одно с другим неразрывно связано. Всё в этом мире взаимосвязано.— Я затянулся и повертел едва початую бутылку в руке.— Думаю, ну, раз становиться новым человеком, то уж совсем чистеньким, как ангелочек. Вышли из клиники, зашвырнул пачку «Беломора» в кусты и ходу на вокзал. Жена за мной еле поспекает, а у меня внутри так всё и кипит! Никак удержаться не могу. Кругом все сволочи и негодяи! У киоска выпил полстакана газировки, полстакана ей в харю выплеснул, чтоб не торговала мочой. Чуть не забрали. Жена меня ото всех отгораживает, а я бы так кого-нибудь и сожрал без соли, как, помнишь, в Птахинном Буераке? До того пакостный мир, что и из окна вагона ничего доброго не увидишь, пакостная равнина, пакостные вокзалы, хоть завязывай глаза и беги на край света! Потом это прошло. Приехали домой, а там всё то же. Ничего нового. На работе «соображают», на улице «соображают», выйдешь из дома: «Пошли по сто пятьдесят». Других предложений нет. Сам Хозяин: «Думаешь, я не пью, да я, может, в сто раз больше твоего пью, а видал ты меня когда пьяным. Пить надо уметь!» Я хотел сказать: «Видал, как тебя твой личный шофёр холуй не мог в калитку затолкнуть...» Но промолчал. Не один у нас бог, а все они боженята, попробуй правду в глаза сказать. Покрутился я с месяц и решил ехать новую жизнь искать. А куда? На Дальний Восток, там ещё не был. Жена согласна хоть на Дальний Восток, хоть на Сахалин, лишь бы трезвый, чистенький и при галстучке. Приехал я в Хабаровский край, точнее, в Еврейскую автономную область. Думаю: «Буду в бильярд играть, на охоту ходить и стишки патристические сочинять об этом самом Дальнем Востоке». Пришёл в редакцию, точно такая же, копия! И называется-то почти точно так же. Редактору честно признался. «Хочу новую жизнь начать». Приняли, у них всё равно некому работать, дундук на дундуке. Если дома пили водку «с утра ды а-а-аж к вечеру», то тут чистый спирт. Пять двадцать пять поллитра. И поговорка: «Сто рублей — не деньги, сто километров — не расстояние, сто грамм — не водка».

— Запил?

— Нет, целый год не пил и не курил. Квартиры в райцентре нет, а кругом целые деревни брошенные. У нас хутора, а там деревни. Дома добротные, рубленые, мы одну целиком сожгли, во! Полыхало, я никогда такого пожара не видел!

— Варвары!

— Да мы чё?! Специально, что ль? Сажа загорелась. Дома-то выстыли, а дров навалом, наклонные в поленнице лежат. Ну, мы и натопили. Хорошо ещё, что успели выскочить и барахлишко захватить, а то бы помёрзли в тайге,

как цуцики. В общем, квартиры нет. Для кого-то есть, для меня нет. Пишу всех лучше, получаю всех меньше. Критику в основном навожу местного значения, начальству не нравится. Никакой новой жизни не получается, и на одной из вечеринок загудел. Там цыганочка одна была, получше тебя. А я, как обычно, газированную воду пил. Чую, все ноги мне под столом оттоптала. Своротила, стерва! Трезвый-то я подходить к бабам до сих пор боюсь, а тут вроде бы сам себя обманул. Спугал рюмки «нечаянно». Сначала, думал, подохну. В голову вдарило, рожка налилась и глаза на лоб полезли. Не зря Буренков предупредил. Думаю, подохну и никто не догадается от чего. Потом легче, легче — и пошла родимая. Сначала проснулся в постели у этой самой цыганки, а потом уже дома, на Дону. Целый месяц или больше пил без просыпа. Наверстывал упущенное.

— А потом?

— Потом пять суток не спал. И: «Говорит Москва! Говорит Москва! Столица Союза Социалистических Республик! Сегодня в четыре часа утра началась китайская интервенция!..» Мой мозг мог ещё рассуждать здраво. «Какая китайская интервенция? Если война, то война, почему же интервенция?» Радио как бы говорит в хате дедов. Оно у них никогда не выключалось. Оно мне никогда не мешало. Я слышал только обрывки слов или музыки. А тут вдруг так явственно и отчётливо: «Говорит Москва! Говорит Москва!..» — и опять то же самое. Не знаю, сколько было времени. Будильник у меня стоял. Часы пропил. Я встал, потихоньку открыл двери в хату стариков. Тишина... На улице и собаки не брешут. Только лёг: «Говорит Москва! Говорит Москва!..». Я прослушал это странное заявление до конца. И опять, и опять, тогда я снова вышел в чулан, открыл двери в хату стариков. Тишина... Я тогда ещё не понял, что начинается что-то, что для меня страшнее войны или там какой-то китайской интервенции. Трагический торжественный голос Левитана. Точно такой трагичности и торжественности, когда во время войны, помнишь, звучали сводки Информбюро. Или ещё торжественней и трагичнее, когда в 1953 году он объявлял, что скончался вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Или ещё трагичнее и торжественнее он перечислял преступления культа личности Сталина. Ведь этим голосом вещала сама судьба. Судьба миллионов и миллионов. Помнишь, его слушали, затаив дыхание, как фатум, как рок. Этим голосом и потом изрекались непререкаемые истины, этим же голосом они через некоторое время ниспровергались как ошибочные. Все мы вдоволь наслышались этого голоса. Да и нынешние дикторы очень умело подражают ему. Я несколько раз вставал, открывал двери в хату стариков, но репродуктор молчал. Эта китайская интервенция начала меня бесить. Тогда я быстро оделся и вышел на улицу. Нигде ни души! Тишина... Я прошёл в конец улицы до Ямы, потом до Брехуни. Тополя стояли спокойно. Им ведь некуда и незачем спешить. Они мудрые. А я уже бежал, бежал сам от себя. Я спешил. И было не понять, то ли в мозгу, то ли со стороны снова торжественный, трагичный до изменения навязчивый голос. Какая-то фантазмагория! Гитлеровская Германия! Смерть Сталина! А потом, помнишь, эту грязь, эти слова, которые сделали нас, меня не такими, какими мы были. Наши «революционеры» в институте повалили бюст Сталина в коридоре, и он пробил носом пол. Но я в этих акциях не участвовал. Я ещё тогда почувствовал, что на меня, не на Сталина, а на меня, на мои святые идеалы, которые в глубине души всё-таки были, вылили ведро помоев, грязи, дерьма. Я, честно, тогда не ликовал. Мне было плохо. Теперь я бежал. Сугробы в неярком свете луны начали приобретать причудливые очертания неведомых существ, они начали оживать, двигаться, разевать странные снежные пасти, способные проглотить всё и бесконечно жевать и жевать своими беззубыми вальными челюстями, они окружили меня со всех сторон, толпясь, переваливаясь с боку на бок, они словно старались меня проглотить и жевать, и жевать бесконечно, как корова

жвачку. Видишь, как начало белой горячки я умело связал с политикой? На то я и писатель. Моя жизнь была запрограммирована ещё до того, когда меня не было.— На меня напал писательский зуд. Соня слушала внимательно. Более внимательных слушателей мне ещё не доводилось встречать. И как всякий мало-мальски уважающий себя писатель я вдарился в философию.— Неужели меня не было?! Представь, ни тебя, ни меня никогда, никогда не было! Но наша жизнь, вот эта самая сволочная жизнь, была уже кем-то запрограммирована. Богом, да? Не верю я в такого Бога. Скорее, дьяволом. Я бы должен знать, что мне досталось тяжёлое наследие безумия. Безумия безумствующих! Мой отец с другими такими же активистами когда-то ходил по дворам и выносил приговоры. Семнадцатилетний сопляк выносил чуть ли не смертные приговоры целым семьям с детьми и стариками. Ведь это тоже было как наваждение, как кошмар. Ведь они ходили в основном по ночам, они уже тогда боялись дневного света. Уже тогда, наверно, было трудно поверить в реальность всего происходящего. Дома на улицах после их нашествия оставались пустыми, брошенными, не ведая, отчего их покинули люди. Соня, я видел такие дома совсем недавно, целые хутора... И ничего более жуткого, напоминающего о смерти мне видеть не доводилось. Кажется, что в них проживает сама Смерть. И почему-то это вершилось в основном по ночам, при тусклом свете звёзд и безмолвии сурового неба. И словно не люди, а тени, призраки уходили, бросая дома и всю прожитую в них жизнь. Им ничего не оставалось, как развеяться в безумии времени, не оставляя после себя даже следов. Но следы оставались. Из недомолвок, из полунамёков, почти из ничего вставала правда прошлого, похожая на небыль, на миф, на страшную сказку, которую никто не решится рассказать детям. Я выходец из этой сказки. Хоть мой папаша всё-таки и успел опомниться, вырваться из коммунистических чар и выкинуть им на собрании свой мандат.

Кому-то кажется, кому-то всё ещё кажется, что стоит разоблачить, осудить, дать полялякать какому-нибудь Левитану, и всё это исчезнет. Канет, так сказать, в Лету. Подонки.— Я налил себе ещё полстаканчика.

Соня забрала у меня бутылку.

— А дальше?

— Что дальше?

— Дальше что с тобой было?

— А-а-а! Сначала только голоса, потом обыкновенные привидения. Знакомые и незнакомые, страшные и не очень. Сначала повторяли мои мысли с издёвочкой с такой, но я не могу даже к привидениям серьёзно относиться. Говорю: «Давайте, повторяйте, может, хоть чуть поумнеете». Внутренние голоса, внешние голоса откуда-то со стороны, всё это ты знаешь. Зовут — иду. Грозить начинают — давайте, может, и напугаете! Тяжело, конечно, было, но ничего, терпимо. Это после первого захода я испугался. Снова поехал в Челябинск, а там меня отшили. Мол, надо было лечиться, а так, мол, мы не лечим. У них же процент на сто и более, только потом кто ни лечился, все запили. А я ещё раз попробовал и устроился по блату в сумасшедший дом. Врач там знакомый был, вместе водку пили. Там каждый день блевать приходилось, а лежали в одном коридоре с тихо помешанными. Интересные типы среди них были, намного интереснее нормальных. Один карманник с Одессы всё нам фокусы показывал, папиросу изо рта украдёт, и не заметишь. Другой ещё интереснее, свихнулся на девяти — или сколько там их было? — принципах строителя коммунизма. Того все побаивались. Такой мощный и всё время злой. Перед всеми он отстаивал свободу личности. Потом его к буйным перевели. Поглядел я — и в сумасшедшем доме всё та же комедия. На волю нас не пускали. Не пролежал я там и неделю, захожу в туалетную комнату покурить, а там «соображают». «Давай!» — говорят. Я говорю: «А сдохнешь?» — «Да ты чё, вот на, луку съешь, и п...ц этому антабусу». Можно ещё и лимон, но лимон где возьмёшь.

Я отказался. Тогда мне предложили «подкурить». «Да я же курю». Оказывается, анаши или плана. «Ну,— думаю,— я ещё тут и наркоманом стану». И на другой день выписался. Врач обиделся. Он на меня большие надежды возлагал как на алкоголика, который к нему сам пришёл, остальных-то привели. Но я его надежд не оправдал, про лук и лимоны тоже ничего не сказал и начал продолжать в том же духе. А ты — вылечу! Нет, я уж теперь и сам лечиться не хочу. Эта подлая жизнь в сто раз хуже белой горячки.

— Фу, Витька! Слишком у тебя всё мрачно! Так ведь тоже нельзя. Неужели в одной водке спасение? Ты всё-таки не спеши, поживи у нас, отдохни, а туда всегда успеешь...

* * *

Может, и права была Соня, надо было пожить, отдохнуть, подлечиться, а зачем? Вскорости я уехал, а через месяц пришла телеграмма: «Саша погибла в автомобильной катастрофе. Выезжай». А зачем? Если у неё есть душа, то она обязательно посетит родные края. Тут и встретимся.

* * *

Соня включила мотор и долго сидела не двигаясь. Глаза её были устремлены в пространство, в вечность. Она снова видела ангелов. Эта грешная жизнь её больше не интересовала. Потом она медленно отпустила педаль сцепления и понеслась. Перед ней замелькали картины, одни чересчур яркие, другие тусклые и размытые. Вся жизнь перед глазами в такие моменты не проносится. Вся жизнь слишком громоздка и однообразна. Может, где-то мельком она увидела меня.

Соня приходила ко мне. Она долго плавала по моей каморке, потом присела на кровать.

— Всё пьёшь?

— Пью. Если бы не пил, я бы тебя не увидел.

— И то правда, пей. Тут тоже ничего хорошего нет. Потрогай меня.

Я протянул руку, но потрогать ничего не удалось.

— Видишь, ничего нет.

* * *

Привидения на этот раз были все незнакомые, но намного материальнее тех, с которыми я до сих пор общался. Я чувствовал их прикосновения. Один, особенно наглый, с постоянно меняющейся головой, давил мне пальцами на глаза. Силёнок у него не хватало, он никак не мог выдавить их из орбит. Какая-то старая ведьма пыталась кусать, и я то тут, то там чувствовал прикосновение её вялых беззубых челюстей. Все они старались изо всех сил, но у них ничего не получалось. Пытка стала невыносимой. Тогда я им подсказал: «Позовите Вия». От этого они обозлились ещё больше и накинулись сразу со всех сторон. Тут уж я прямо почувствовал, как меня лапают и какой-то противной паклей стараются заткнуть рот, нос, уши, глаза. Кто-то всё повторял: «Чтоб из него ничего не выходило». В конце концов я почувствовал, что сердце останавливается. Я лежал на спине, руки были на груди, но я уже был не в состоянии подвинуть чуть-чуть руку, чтобы почувствовать, бьётся сердце или нет. Вопрос жизни и смерти меня в этот момент вообще не волновал. Я лишь хотел убедиться, на самом ли деле остановилось сердце или мне только кажется. И вдруг я оказался сам от себя далеко, далеко. Какой-то цветущий луг и монотонный приятный звон кузнечиков. Тело твоё лежит где-то в кирпичной коробке, похожей на склеп. Твой мерзкий сосуд, напичканный продуктами алкогольного распада, разной травой и бактериями, постепенно остывает. Тут так хорошо!

Такое блаженство! Никогда бы никуда не уходил и ничего большего не желал. Если это смерть, то она и правда намного лучше жизни. Но это была лишь иллюзия, обман.

* * *

— А ты веришь в потусторонний мир?

— Как же я не верю, когда я там побывал.

— А в Бога?

— Нет. Ни в каких богов я не верю, ни в земных, ни в небесных. Я верю, что есть некий дух. Его можно почувствовать во всём, даже в дереве. Это не красота, это именно дух природы, в скале, в пропасти, в реке, в лугу, он постоянно вокруг меня, то грозный и величавый, то нежный и застенчивый. Но и дух, наверно, растворяется, рассеивается в бесконечном пространстве, и в конце концов ничего нет.

— Да, тебя трудно будет лечить.

— А я и не собираюсь у тебя лечиться. Душу всё равно не вылечишь, а так зачем? Как-нибудь доживу, докопчу этот свет и прямым трактом на тот, там и встретимся.

* * *

Наш дом. Дом привидений. Иногда мне страшно заходить в него. Не дом, а особняк. Построил его купец задолго до революции. Строил на века. Кирпичные стены метровые. Пришлось мне в тёплый коридор делать из окна вторую дверь. Так ни ломом, ни зубилом ни кирпич, ни раствор не разобьёшь. Всё-таки разбил, сделал собственную дверь в мир. Этот особняк пережил купца, и революцию, и войны. Были в нём белые и красные, немцы, румыны и итальянцы, фашисты и коммунисты, бродяги, воры, проститутки и писатели. Был даже один член правительства, но в основном в нём живут привидения. И ещё я был почти уверен, что в этом особняке где-то замурован клад. Когда пробивали двери и ломали старую веранду, то после, подметая двор, мать нашла в груди мусора золотой перстенёк с тремя рубиновыми розочками, но одной уже не было.

Тогда я стоял во дворе. И вдруг!.. Она возникла словно ниоткуда. Её лицо меня сразу поразило какой-то неземной, не телесной красотой. Чёрные, резко очерченные брови, а под ними серые-серые глаза без зрачков. Серая безмерная глубина, и ничего больше. Она и смотрела, и словно не смотрела на меня, словно меня не видела. Было такое же ощущение, как будто на тебя смотрит пристально слепая. Лицо молодое, без единой морщинки, но седые волосы и кружевная чёрная шаль, в которых ходят на похороны или хоронят. И ещё что-то почти неуловимое делало её как бы вне времени, как будто она прошла сквозь годы, сквозь множество лет, не меняя выражения скорби и в то же время отчуждённого равнодушия к миру живых. Что-то волнующее, запретное и чуждое живой плоти пронзило меня могильным сладким холодом. Я молча смотрел и ждал. Может, это пришла сама Смерть? А она бесстыдно-откровенно вглядывалась в меня, как бы стараясь что-то вспомнить или, наоборот, запомнить, забрать и унести с собой. В молчании, как в остановившемся времени, в некой пустоте бытия без смысла и завершённости, будто прошла целая вечность. А потом до моего сознания дошли её первые слова: «В этом доме я когда-то жила...». Я не видел, чтобы она открывала рот или у неё шевелились губы. «В этом доме я когда-то жила...» Я хотел пригласить её зайти в дом, посмотреть, где она когда-то жила, но не мог произнести ни слова. А она молча повернулась и пошла в какую-то собственную бесконечность и, не доходя до угла, исчезла. Видимо, у неё не хватило терпения. А я остался стоять пристыжённый, как будто в чём перед ней виноватый, как будто я своим присутствием оскверняю

то место, где она когда-то жила. Перед моими глазами прошла словно некая страшная тайна, как предупреждение свыше. И тут мне в голову пришла мысль...

Я вспомнил предание, что у купца была красавица дочь, но ревнивый не в меру жених задушил её в моей каморке перед самой свадьбой. Может, она ему не вовремя отдалась. Может, он так сильно любил, что не смог этого вынести, может, от страха, что она ему тоже вот так же изменит? Может, это была она?

И это странное лицо в пустоте бессонной ночи вдруг возникло передо мной, как отпечаток на сетчатке глаз, потом начинала обретать очертания фигура, и вот она уже начинала двигаться по комнате, беззвучно повторяя: «Когда-то я здесь жила... Когда-то я здесь жила...». До неё можно было дотронуться рукой, но она не обращала на это никакого внимания. Я не испытывал страха, я снова и снова испытывал неловкость, стыд, тяжёлый дух виноватости, что живу в её доме, сплю тут, пьянствую с кем попало, пишу стихи, повести, сочиняю какую-то другую, более приемлемую для человека жизнь, чем та, в которой погрязая долгие-долгие годы. Я не выдерживал и, как обычно в трудные минуты, пытался шутить: «Ну и оставайся, и живи, ложись вот рядом...». Она присаживалась на край постели, потом наваливалась на грудь и начинала душить... «Ы-ы-ы!!!» — вырывался тяжёлый утробный крик из самой глубины моей тёмной души, и я снова начинал осознавать действительность. За окном стояла вечность...

Когда было повеление свыше разрешить изгнанникам возвращаться на родину, по станице пошли слухи: «Приехала одна, попросилась к... (называлась фамилия), а на другой день, когда дома никого не было, выломала кирпич под загнеткой и только её видали». А под загнеткой-то был тайник, а в тайнике клад, и оставила вроде она на память то ли колечко с бриллиантом, то ли червонец царской чеканки. На соседнем хуторе и вовсе приехал какой-то неизвестный, назвался печником, начал в школе печь переключивать. Разобрал боровок и скрылся. Он на память оставил фотографию, завёрнутую в газету, на которой стоят и сидят человек шесть белых офицеров.

Особняк купца теперь поделён на красных и белых. Это чисто символически. Но вражда, начавшаяся ещё тогда, в семнадцатом году, до сих пор не прекращается. За белых выступает моя бабка. Дед хоть и был в красных, но без бабки сделать шага не может. Во второй половине одиноко доживает свой век Емельяныч. Они с бабкой хуторцы. «У-у! Краснопузая глиста!..» По части изобретения обидных прозвищ бабка большая мастерица. Емельяныч был первым организатором коммуны, потом колхоза, потом дослужился чуть ли не до председателя горсовета. Но по его же словам — «грамотёшки не хватило». Лежмя лежит какой уже месяц. Не с кем слова молвить. Бывало, рассказывал мне байки про рыбалку да про охоту, заслушаешься. Из него бы, может, настоящий писатель вышел, а он вдарился в политику. И до сих пор, считай на смертном одре, она прибавляет ему сил. «Буржуи! Опять буржуи кругом власть захватили!» — сокрушается Емельяныч. Он всю жизнь прожил аскетически. В комнате стол, стул, самодельный шкафчик, кровать и ковёр с лебедями. За политику лучше с ним не связываться, задохаться начинает от гнева. Как бы не помер.

Чахнет Емельяныч. Желудок у него никудышный. Надорвал на плохих харчах, когда коммуны да колхозы создавал. Теперь один как перст. Не только родных, но и друзей никого. Докармливают Емельяныча, ждут не дождутся, когда Богу душу отдаст. Только Богу ли? Тяжко стонет по ночам Емельяныч, на весь особняк слышно. Я занимаю нейтральную позицию. Захожу иногда к Емельянычу. «Чего тебе, Емельяныч?» — «Водички мне, водички попить! Она, проклятая, жирной каши какой-то принесла, погибаю!..» Она работает в столовой школы-интерната для дебильных детей. Докармливает Емельяныча один раз в сутки на ночь. Старается изо всех сил, пожирней куски Емельянычу несёт,

у детей ворует, у убогих, обиженных, а Емельяныч всё никак не погибает. Воды вот просит. Воды она забыла принести. Пришлось идти ночью в колонку. Попил живой донской водички Емельяныч, отошёл немного Емельяныч и вот уже травит новую байку про сазанов. Скучно ему одному, страшно оставаться одному на всю долгую зимнюю ночь. Жаль мне Емельяныча. Что-то света у него нет. Может, и помер уже. Какое из него, интересно, получится привидение? Пойдёт пугать советских буржуев по ночам или будет шастать по моей хате, чёрт его знает?..

* * *

Быстро прохожу мимо окон Емельяныча и спускаюсь в низы. Мы живём как при коммунизме, не замыкаясь. Включаю свет. В этих низах у купца был собственный кабак. Иногда здесь слышен шум по ночам, но сегодня никого нет. Достая из кладовки узел, тщательно увязанный дедом, развязываю и всё содержимое бесцеремонно вытряхиваю на пол. Гребанём мы нынче рыбки, Емельяныч, ох и гребанём! Не слышно что-то Емельяныча. Начинаю разбирать обрезки сетной и вентерной дели, чтобы найти получше клочок на черпак. И вдруг как бы натываюсь на обрезки своей собственной жизни. Вот обрезки от вентерей, дель х/б, капрона ещё не было, это мы делали с дедом вентеря, когда я только вступил в рыбколхоз. Хорошие получились вентерки, компактные. Как набьётся полно рыбы, в лодку не ввалишь. А как они на Потеклях брали сазана! Я вспоминаю залитый половодьем просторный луг, опушки синеющего леса, далёкие холмы степей, и свою лодку, и самого себя. Да, тогда я жил. Тогда я был не таким. А эти сазаньи хода показал мне Гришкин дед. Старенький уже был, но я видел его молодым на фотографии. Полный бант Георгиевских крестов. Отчаянный рубака, отчаянный гуляка. «Бывало, никто не мог переплясать!» Пожил старик. Теперь он уже умер. Остались его пчёлы, его тихий ухоженный сад на краю хутора, его потайные сазаньи хода, правда, уже без сазанов. Но я с ним тогда на рыбалке ещё успел захватить кусочек глубокой старины.

Вот большой весь изодранный клочок сети, вырезанный вместе с шнурами. Это я сидел на коряге у Ярского. И я отчётливо вижу, как рвёт из моих рук сети течение, как дрожит и клонится лодка, хватая бортом встречную волну, как уходит из сети рыба, выбиваемая быстрой упругой водой. Сколько воды утекло! Вся или ещё не вся?

Но мне надо спешить. Надо сделать черпак с длинным держакком. Ночь уже началась.

Деда услышал шум и спускается в низы.

— В Ширине душится рыба, — говорю я и вижу, что он уже знает. И вижу, что он ждал, он знал, что я не утерплю. Но он знал не всё. — Там у нас нигде нет подходящего черпака?

У деда есть. В нужный момент у него всё находится как бы само собой. Я к этому уже привык. Нехорошая привычка. Деда приносит откуда-то из сарая мой старый черпак, про который я давным-давно забыл. Он пытается мне помогать, поддерживать, но я отстраняю его от работы:

— Посиди.

Но я ещё никогда не видел, чтобы мой дед сидел просто так. Сидел и ничего не делал. Вот Емельяныч, тот сядет на порожках и сидит целый день. Думает. Дед снова собирает обрезки сетной и вентерной дели, обрезки моей прошлой жизни и заботливо увязывает в прочный, надёжный узел. А я стараюсь сделать черпак поуёмистей, чтобы гребануть, так уж гребануть! И вот черпак готов. Опять же деда откуда-то из кладовки приносит мою старую рыбацкую одежонку. Ватные брюки, фуфайку. Сначала я не хотел переодеваться, это в мои планы не входило, но мне на этот раз не хочется огорчать деда. Быстро переодеваюсь. Я чувствую, как в пору мне моя старая шкура. Чувствую тот ещё особен-

ный запах, который остался от многих центнеров пойманной мной рыбы. Чувствую что-то веское и в то же время приятное на своих плечах. Как будто я снова в ночь собрался на работу. И тут же вспоминаю «духа...»

— Деда, а раньше в Ширине когда-нибудь душилась рыба?

Он молчит, теревит усы, вспоминает.

— Нет, не припомню, чтоб душилась. Святое озеро считалось.— Деда не очень-то верит в Бога. Так, перекрестится, садясь за стол, для вида.— Из родника святую воду брали. Год простоят в бутылке, не протухнет. Да ведь её каждую зиму раза два или три тянули, по восемьдесят возов за раз пританивали. Рыбу забирали...

Все, а особенно старики, любят это. «А вот бывалоча-то!...»

Но деда всегда старается быть объективным.

— Нет, никогда не душилась,— говорит он твёрдо.

— Ну, я пошёл.— Беру фонарик, пешню, черпак и тихо прикрываю за собой калитку. Деда не пожелал мне удачи. Он даже не сказал своё обычное: «Бывай».

А над станицей тихая морозная ночь. Луна и туманные светлячки звёзд. Я задираю голову. Там неизведанные галактики и миры. И даже антимиры. Окажется, и у бесконечности есть конец. Уму непостижимо! Есть конец и антимиры, и ещё чёрные дыры, которые притягивают всё, даже свет. Там конец света. Но в них зреют новые галактики. И, может быть, в одной из этих галактик будет планета, покрытая снегом, по которому, тихо ступая, пройдёт человек. И что перед всем этим величием, перед бесконечностью, у которой всё-таки есть конец, наша крохотная жизнь, наши радости и муки, что?!

Луна ограничила просторы вселенной своим бледным мёртвым светом. Я иду по Брехунье. Вокруг в молчаливую прозрачность врезались контуры редких тополей. Всё нереально. Под ногами еле уловимая тропка, петляющая между сугробов. Я давно полюбил тишину и одиночество. Мне ничуть не страшно оставаться одному посреди вечности и вселенной. Время перестанет отсчитывать свои секунды. Все люди: и Димка, и Соня, и Сергей, и сотни, сотни других, уже в далёком-далёком прошлом. Мы есть, нас нет, какая разница. Пополнит ли наше сознание и опыт кладовые памяти чем-нибудь полезным? Конечно же, нет. Мы не сумели создать нового Бога, которого бы можно уважать, а не бояться. Христос проповедовал кротость и нищету и чуть ли не в каждой притче повторял: «Бойся!». Кого бояться, кроме самого себя? Кто тобой руководит? Что же всё-таки за загадка — Человек?

Каждый мой шаг на скрипучем снегу остаётся в прошлом уже навсегда. И мне не жаль. Эта молчаливая стёжка в снегу выведет меня сначала к Дону, потом сквозь тихие дубравы и просторный луг к Ширине. Мне хочется пройти по ней чутко и не торопясь. Я ещё надеюсь уловить, почувствовать то тёплое и родное, и грустное, чего мне так не хватает в последнее время. Сколько раз я прошёл по ней! Я пытаюсь представить, вспомнить... И представляю, и вспоминаю, но не могу себя почувствовать таким, каким я был тогда. Я лишь знаю, что по этой стёжке я всегда спешил. Я не мог удержать себя, остановиться. Я словно сам не принадлежал себе. Мною распорядилась какая-то другая сила, которая была сильнее меня. Может, это была сила жизни? Спешить, бежать, что-то делать — это была невыносимая энергия, которая постоянно искала выхода...

На этой тропе в снегу я один. Я пью, словно родниковую воду, сладковатый морозный воздух. Мне хочется жить. Мне хочется жить вечно. Тропинка осторожно выводит меня к смутно белеющей равнине Дона. Нет, он ещё не умер, его трудно умертвить. Одинокая полынья, как чёрный огромный глаз, насторожённо смотрит в небо. Всё ли там спокойно? Это недремлющее око словно стережёт покой скванного льдом богатства. Стереги. Люди, они вон какие всемогущие! Кивок головы, движение пальца — и вся планета может разлететься на куски, как разбитый арбуз. И из неё вытечет сок, расплавленная

магма вместе с преисподней. Куда тогда деваться грешникам? Вот они какие могущественные. Могущественней богов эти самые люди. Но здесь, на тропе моего детства, в это невозможно поверить. Люди — они слабые. Они не всегда способны справиться со своими страстишками, от этого они просто опасны. Впрочем, меня это уже не касается.

Тихо, чувствуя движение воды под ногами, перехожу Дон. Спи, старик, спи спокойно, что будет, то и будет. Слышишь, в Ширине душитесь рыба. Ладно, пойду глину. И, выбрав место пополюге, взбираюсь на обрыв. Тут и следы от автомашин, которые уже сделали дорожку, и следы от санок, и просто следы. Быстро пересекаю эту дорожку человеческой жадности. Я знаю путь короче. Какие-то тайные пружины напрягаются во мне до предела, готовые вот-вот сорваться. Почему я не могу стать таким же спокойным и мудрым, как Сергей? Останавливаю, закуриваю. «Не спеши,— уговариваю себя,— незачем уже спешить...» Оглядываюсь на далёкие мёртвые огни станицы. Живите, люди! Новые боги и новые вожди появятся у вас. Может, они будут чуть-чуть лучше старых. Может, они не так будут калечить и уродовать человеческие души. Всё может быть.

А пока на земле всесильная власть бога Хапуна. О! Этот всемогущий бог превыше всех богов и даже дьявола. Дьявол перед ним просто щенок. Гоняться за каждой отдельной человеческой душой — это же нерентабельно, как сказала Соня. А тут всех скопом, весь мир. Хапайте, благоденствуйте, процветайте! Знайте, что вам всегда будет мало, мало и мало. Даже мало ядерных боеголовок. Их надо гораздо больше, чтобы воссоединить твердь земную с твердью небесной. Для этого их потребуется очень много, бог Хапун в этом вам поможет. Он очень щедрый бог.

А вот и Ширина... Деревья расступаются и пропускают меня на луг. Я иду вдоль берега, чутко прислушиваюсь, но нигде ни звука. Неужели меня снова обманули?! Впрочем, какая разница. Ширина от меня скрыта высокой стеной прибрежного камыша. А на лугу всё тихо и торжественно в безмолвии огромной ночи. Я иду прямо к той вербе с выгоревшей дотла сердцевиной. Далеко слева одинокие огоньки заснувшего хутора, от них, обрамляя луг, тянется чёрная стена ольхового леса, а над ним смутные очертания далёких заснеженных холмов. Туда мы ходили с Димкой на охоту в Березники. С тех пор прошла целая жизнь, а мне кажется, что это было будто вчера. Впереди завиднелась знакомая обломанная верхушка. Мои ноги уже не мои. Не обходя глубоких ям и лощин, в которых почти всё лето стоит вода, они несут меня к родничку, которого давно нет. Я чувствую, как в меня начинает входить азарт. Скорей! Скорей! Не то там уже теперь всю рыбу позабрали!.. Я вспоминаю щук и линей и вдруг снова вспоминаю Сергея и усмехаюсь, замедляя ход: «А зачем?»

На озере тишина. Да там, кажется, никого нет. Не может быть. Вон в стороне на том берегу чернеет техника. Тихо подхожу к моей старой знакомой, трогаю её и чувствую ладонью прохладную кору и на миг то прошлое, но только на миг, и, с треском продираясь сквозь камыши, вываливаюсь на заснеженную гладь Ширины...

Такого я не видел никогда. В меркнушем свете луны по смутно белеющей глади озера скользят тени. Насколько хватает глаз: тени, тени и тени... И тишина... Это не люди. Они не окликают друг друга и не подают голоса. Недалеко от меня чернеет широкая квадратная майна, словно лёд здесь вырезан аккуратным лучом лазера. Нет, это не лунка, пробитая рыбаком, это следы пришельцев из других миров. Подхожу, пробиваю пяткой едва успевший схватиться тоненький ледок. Хочу напиться. Ложусь на живот, и в нос мне ударяет тяжёлый гнилой запах мёртвой воды. Пить её нельзя. Рыба в отножинах или погибла, или отошла туда, к середине озера. И там бесшумно скользят тени. Вглядываюсь пристальнее, и мне чудится в этом бесконечном кем-то заведённом движении свой порядок. Каждая тень скользит по причудливой изви-

листой орбите от лунки к лунке. Пока в одной собирается рыба, надо вычерпать в другой. Орбиты их пересекаются, сливаются вместе и снова расходятся в разные стороны. То там, то тут вспыхивают красные огоньки, словно чьи-то злые глаза. Под ногами в майне что-то ожило. Тоже включаю фонарик. Одинокий линёк с ладошку величиной беспомощно хватает ртом воздух. Быстро гашу свет. Снова гляжу на фантастический бесшумный танец теней. Разве это люди? Бог Хапун огромный, похожий на Деда Мороза в белой шубе, важно расхаживает по всей Ширине, с усмешкой рассматривая своих подданных. А сверху равнодушное огромное небо и притуманенная морозной дымкой луна.

Да, это ночь особенная. Такие ночи бывают тайно. Это ночь привидений. Они, захваченные одной страстью, кружатся и кружатся в этом странном бесконечном танце. И мне кажется, что они будут кружиться до сладострастия, до полного изнеможения, а на рассвете исчезнут...

Внезапно из-за леса вылезла чёрная мрачная туча. Клубясь рваными краями, она быстро надвигается, поглощая пространство и звёзды. Рванул ветер, ударил снежный заряд, и в одно мгновение всё вокруг преобразилось. Ширина начала сужаться, сужаться до размеров квадратной чёрной дыры под ногами. Привидения исчезли в грозном хаосе природы. Их нет. Ничего больше нет, кроме этой дыры, которая, как чёрная дыра во вселенной, притягивает к себе всё, даже свет. Я ещё сопротивляюсь, я чувствую, как моя сущность начинает распадаться, рассасываться, уносясь ураганом времени куда-то в беспредельность. Я чувствую всё своё ничтожество, ничтожество человека, стремящегося покорить себя, природу и вечность. Я уже никто. На чёрном квадратном экране небытия безмолвные картины прошлого сменяют друг друга. Во имя чего же была зачата и потрачена эта жизнь?! Я слышу голоса. Они идут оттуда, из глубин вечности. Они зовут меня. И я вижу вечность как нечто цельное и уже доступное моей человеческой сущности. Слияние жизни и смерти в одном мгновении, которое будет длиться бесконечно.



Елена Шварц

Ночная толчея

МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА

Одежды ангелов суть их тела.

I

Усилие

По эту сторону биения
Сердечного — я в темноте,
Но я за гриву хватать мгновенье —
Ему уже не пролететь.

Как рыба в дыры под землёй,
Соединивших две реки,
Так я скользнула пустотой,
Напрягшись, тяжкою стрелой
В жары духовные — рукой
Души, самой душой
Небесные задеть огни.
Чтоб всё бесовское во мне
Признали ангелы своим —
Раз прокалил его в огне
Своей печатью Элохим.

Так вытянувшись и закрыв
Глаза заёмные, земные,
Я помнила, что тьма была
Когда-то Богом, но стекла,
Землёй сгустясь, а я — пчела,
И светом я верну её в края родные.

II

Ночь. Перевертывается карта
Своею чёрной стороной.
Они (сначала без азарта)
Играют, козыряя мной.

Туманный передёрнет снова,
Трёхглазый шепчет — не отдам,
И вот уж я — валет трефовый,
Разорванный напополам.

III

Тёмный ангел

1

*Всё это было со мною во сне
При голой и скользкой и спелой луне.*

Проникновенье пара в пар
(А сонная душа есть пар непрочный)—
Или невиннее всего
Иль, может быть, всего порочней.

Как бы повторяя паденье,
Ангел свалился с небес
И, в тёмное облако слившись,
Кружили мы под потолком.
И кости мои растворились
И кровь превратилась в ихор¹,

Чужим-ли крылом, заёмным
Я пробовала взмахнуть.
Долго во мне он копался —
Как будто зерно искал,—
В котором вся сладость земная
И тайна — и не отыскал.

2

Тёмный дух к душе моей
Приникнул, к вене кровеносной.
Из тела вышелувшись, я
Большою стану вдруг и грозной.
Огненным сияющим медведем
Всю меня свечением обняв,
Трепетом все кости мне сломав...
В нём обида тёмная играет,
Ты не видишь — я ведь умираю,
Мою душу тела вне всю корчит,
Он меня зашепчет, защекочет,
Пламя пожирает свой подсвечник,
Погляди — ведь мы несёмся в вечность,
И со мною скоро ты растаешь
В сполохах и вздохах. Понимаешь?

IV

Нарцисса я сужу за недостаток
К себе любви,
Уж я-то не поверю отраженьям
В воде ль, в крови.
А, эйнджелс, духи — когда бы вы могли —
Хоть на мгновение —
Глухонемого «я» извлечь коренья
И стебли бледные из бешеной земли.

¹ Ихор (древнегреч. миф) — кровь богов.

Когда б устроили одно
Мне с ним короткое свиданье,
Чтоб прошептало мне оно
Свои желанья.
Его слегка поцеловав,
Я буду знать, что я жива,
Я буду знать, что «я» во мне
Спит в чернозёмной глубине.

V

*Имя с окнами на запад и восток
Дал мне Бог.
А душа открыта на все четыре —
В ней кто хочешь живёт, как в своей квартире.*

Диалог

— Вы ли — те ли?
Вы откуда вылетели?
Вы, наверное, оттуда,
Полыхает где Иуда?
— Мы сорные духи,
Ненужные души,
С тобою хотим мы сцепиться
И кровью твоей насладиться.
— Умру я и стану такою,
Как вы, беспризорной душою
И одною из неисчислимых
Холодной искрой огня,
Закружусь пред глазами любимых,
И они не узнают меня?
— Мы не грешные души,
И ничто нас не сушит,
И никто не мучает нас,
Никого не любили,
Нас за это забыли,
Ты открой нам на миг свой глаз.
Мы просто пыль,
Открой, открой
Ресниц плетень.
Видишь — брат мой совсем
Озяб и промок,
Отвори, отвори
Зрачок.
Мы пришли из такой далёкой тьмы,
Глубже ада она и черней,
На мгновенье — и сразу скроемся мы,
Пожалей ты нас, пожалей.
Ты не бойся вреда,
Только крылья посушим,
Улетим навсегда,
Ведь не злые мы души.
— Ипустила я их,
Этих мошек чужих,
И теперь их поди прогони,
В хрусталик въелись они.
— Нет, в море хладного злого огня
Мы не уйдём назад.
— И если окликнете вы меня,
Они вам посмотрят в глаза.

VI

Ночная толчея

1

И днём бывает иногда —
И рыбкой пойманной блеснёт
Вдруг ангел,
Но уж смыкается вода,
Вода слепого дня.

Зато уж ночью —
Ангелов круженье,
Демонов кишенье,
А уж заблудшие души —
Что вестовые, в сраженье.

Я руку подниму,
И стаи пёстрых душ
Её пронизут горячо —
Они влетят, как птицы в тучу,
И вылетят через плечо.

Во тьме меж мною и стеной
Порхает серебристый рой,
Вся их толпа синя, бела,
Спешат, снуют куда-нибудь,
И тьма всегда для них была
Что смертным — зимний путь.

Вот души — радужней микробов —
Исцвечивают мглу дотла.
Куда спешат и где их дом?
И тьма всегда для них была
Увеличительным стеклом.
Людей и ангелов
Такая толчея —
Тебя не сыщет никакая
Гончая.

Давка — как много их! —
Всякому дай пролететь,
Будто конвертов живых
Белая круговерть.
Что вы, люди и духи,
Что вы несёте во брюхе?
— Икринку. Иону. Весть.

2

Всё сыплется песок ночной,
Ночь превратилась в снег.
Боюсь — за этой мелкотой

Вослед придёт другой.
Умрёт, бывает, человек
Один порой глухой,
Подумают — инфаркт, insult...
А нет! Убийство тут.
Убийцу в суд не позовут
И оправдали б там,
Он убивает только тем,
Что существует сам.
Вот контур лёгкий зашуршал,
Сгустился тёмный свет,
И сердце ужас смертный сжал...
Свидетелей-то нет.

VII

В ангельских вижу повадках я нечто дельфинье.
Вот, изогнувшись, ныряют всем скопом.
Крылий их тонкотканых сияющих клинья
В воздухе чертят круги и змеинные тропы.

Вот, кувыркаясь, летают вверх-вниз
И воробьями вьются,
Уж меня облепили они, что карниз,
И смеются.

Может быть, часто зрачок прижимаю к луне,
Кожа её осталась на дне —
Вот и мерещится мне.

В ангельских вижу повадках я нечто павлинье —
То разгорятся, то гаснут,
Виду тела их из огненных линий —
Это опасно.

Так на вид — просто облачко, светлый дымок,
Глаз в середине, как щупальцы спрута — ресницы,
То пикируют прямо в глазницы,
То, как пробки, летят в потолок.

То на ресницах сидят и болтают
Горсткой огня и зерна,
Внутрь влетают и вылетают,
Будто я им равна.

Ах! Равны мы и вправду, огнистые тени,
Хоть для вас я — что бабочке глиняный дом.
Мы равны — мириады, обломки, ступени
И по ним, спотыкаясь, бредём.

Дом на опушке леса

Именно в ту весну всё, наконец, окончательно развалилось. Признаки приближения катастрофы, скорей всего, можно было заметить и раньше. Но я была так занята своими делами, впервые, в тридцать два года, получив (выиграв? завоевав?) с семьёй не связанную, отдельную, как маскарадный костюм непривычную, но новизну и движение сулящую жизнь, что попросту проглядела приметы каких-либо перемен. Если б меня спросили, как идёт жизнь в семье, я, безусловно, сказала бы: «Так, как всегда». Потому что какие могут быть изменения там, где давным-давно всё заморожено, где всё понятно и обсуждению не подлежит. Какие могут быть изменения там, где всё ясно, что в юности надо, разумно всё взвесив, выбрать себе профессию по душе, а потом преуспеть в ней, что раз в неделю надо ходить в симфонические концерты, что в сентябре (не позднее двадцатого) надо позвать Генриетту Оскарловну с Анной Ильиничной и спросить, как прошло у них лето, а вечером надо собраться в столовой и посидеть всей семьёй, обсуждая события дня или — если уж так получилось — отсутствие всяких событий. Какие могут быть изменения там, где известно, как надо на что реагировать. Если пошли слушать Ойстраха, то в восторге, так как, конечно же, «его скрипка поёт», если вернулись от Ольги Петровны Варламовой, то «Федя опять очень мрачен, бедняжке Оле не позавидуешь». От Варламовых так же, как и от Генриетты Оскарловны, всегда возвращаешься меланхоличными и задумчивыми, зато от Земницких — бодрыми, полными впечатлений и новостей. Главная: «Все были в сборе. Михаил Алексеевич долго и очень подробно расспрашивал о тебе». Приподнятость тона, который всегда применяют для этого заявления, связана с тем, что шалопайденди двадцатых годов (чуть позже, в тридцатых, дружил с артистами Александринки и МХАТа) Михаил Алексеевич провозгласил, что влюблён в меня, когда я была в восьмом классе, и принялся присылать мне ко дню рожденья цветы и стихи. Стихи оказались ужасными, а меня заставляли их вслух зачитывать, и это было кошмарным мученьем. Спустя какое-то время я, наконец, догадалась, что могу неотрез отказаться знакомить кого бы то ни было с формой и содержанием маразма М. А. Земницкого, но этим вызвала бурный семейный восторг и ежегодно повторяющиеся нелепые шуточки, на которые я, уже будучи матерью Кешки, шумно и страстно реагировала, то есть, по существу, вела себя так же, как и они: словно огромную новость воспринимала дурацкую, оскоми́ну набившую рутину. Бунтуя, скандаля, взрываясь, я, в общем, жила по семейным законам, и так продолжалось годами, а изменилось всё только тогда, когда начались мои встречи с Глебом — неведомая для семьи вторая жизнь. С этого времени сами собой прекратились и бунты, и декларации, и я спокойно слушала бабушку, когда она вспоминала уроки латыни, размолвки с Натальей Петровной, отъезды из Кротова или же начинала вдруг заново удивляться, почему мой отец не сделал научной карьеры: ведь всё начиналось блестяще. Я слушала

молча и даже не раздражалась. Теперь их проблемы уже не касались меня, я праздновала свободу и потому могла быть терпимой: не спорить с мамой, не дёргать Соню, когда она вечером, за столом, вдруг начинала читать нотации Валерьяну, сказавшему что-то не «так, как надо», то есть не так, как предписано нашим семейным уставом, созданным в девятьсот первом, самое позднее, в девятьсот третьем году. Всё это было уже не моим, и я поэтому не стремилась ничего переделать, а только слегка удивлялась махрово занудной бессмысленности происходящего. Внутренне устранившись, я в то же время увидела и услышала кое-что новое и не могла отказать себе в удовольствии взвесить многопудовый семейный багаж на своих собственных, с улицы принесённых весах. Результат получался забавным. Всё, прежде казавшееся значительным, весило на поверку всего два-три грамма, не больше; и чаши весов кренились, фигуры качались на пьедесталах и, разумеется, в пыль рассыпались легенды, менялись размеры и очертанья событий. В общем — крушение. Одной из первых погибла «история дяди Павлуши», привычный и верный спутник любых семейных бесед. «Если бы жив был Павлуша...» — слышала я не раз в раннем детстве. «Думаю, что Павлуша сумел бы...» — снова и снова мелькало среди разговоров. Став старше, я уже и сама повторяла, «как не хватает нам дяди Павлуши», и объясняла непосвящённым, что его жизнь принесла бы нам дополнительный блеск, красоту и гармонию, так как Павлуша был изумительно, невероятно талантлив. Год за годом слушая рассказы о моём двоюродном дяде, утонувшем в большом пруду в Кротове летом семнадцатого года, я всегда ощущала, что, хотя мне удалось появиться на свет в замечательной, можно сказать, образцовой семье, полноту счастья я испытала бы, если бы жив был дядя Павлуша. У него были бы дети, и я дружила бы с ними... Когда мне было лет десять-двенадцать, я подсчитала, что дружба могла быть возможна разве что с внуками дяди Павлуши, ведь он был старший брат бабушки. Внуков к погибшему в двадцать два года любимцу семьи, заядлому велосипедисту и мастеру отгадывать шарады мне как-то не удавалось приспособить, и я должна была отказаться от целой серии связанных с дядей Павлушей картинок-фантазий, но, как и прежде, любила рассказы о его детстве: о том, как он напугал всех, когда, обидевшись на Наталью Петровну (она в самом деле несправедливо его наказала), ушёл из дома и только вечером был обнаружен в лесу, в дупле старого дуба; об «инциденте во время грозы», о ёжике Альбионе, о том, как Поленов (Василий Дмитриевич, он приезжал гостить в Кротово, он был приятелем Мити, кузена Натальи Петровны) окинул взглядом рисунки Павлуши, которому было лет семь (нет, нет, восемь!), сказал «интересно, весьма интересно», а потом, пристально осмотрев мальчика — тот был в белой рубашке, с густыми волнистыми волосами, — спросил: «Ну что же, мой друг, художником будешь?», — а Павлуша ответил: «Нет, архитектором». Долгие годы эти рассказы не только не утомляли, но каждый раз радовали по-новому. Уже почти взрослой я очень любила послушать, как всё это с удовольствием, с пафосом (смысл которого был абсолютно неясен, но замечать это я стала позже, когда началась моя эра бунтарства) рассказывалось иногда появлявшимся в доме новым знакомым или же в тысячный раз повторялось домашним, своим. Взбунтовавшись, точнее, вступив в период самозабвенного, сладкого бунта, я, распалившись и, в общем, не очень-то веря своим же словам, пыталась доказать всем, что таланты Павлуши никак, если вдуматься, не проявились, что непонятно, кому пришло в голову, будто Поленов благословил, предсказал и так далее, что нет никакой «истории дяди Павлуши», а также нет и внезапного краха счастливой безоблачной жизни, так как, вернувшись в четырнадцатом году из своей оказавшейся очень короткой поездки в Италию, Павлуша с семьёй был чуть ли не на ногах, в Кротово наезжал редко и в последний раз появился за два дня до смерти, но и за это недолгое время успел раздражить отца тем, что свистел на террасе, в том самом месте, где некогда, отвернувшись от чая и крупной малины (сливочник стоял

рядом), Василий Дмитриевич Поленов глянул небрежно на детской рукой про-рисованные изображения стрелка из лука, лодки у переправы, Семёна на козлах и тёти Натальи Петровны вполоборота. «Я могу попросить тебя не свистеть?» — резко спросил наш прадед Василий Ильич, и Павлуша, сидевший в плетёном кресле (чай уже кончен и убран), ни слова ему не сказал, взял газету и принялся было её читать, а потом запрокинул вдруг голову, изогнул её и замер в странной и, в общем, не слишком приличной в обществе позе. Всё это в историю дяди Павлуши, конечно, не попадало. Всё это было и не было. Обо всём этом иногда говорили (иначе откуда бы я узнала?), но не тогда, когда рассказывали историю, а как-то иначе. «Настоящая» история дяди Павлуши делала крупный скачок из Италии, где «он, увы, пробыл недолго: война началась», к т о м у июльскому полудню. Тот полдень всегда описывался подробно. «С утра Павлуша не вышел из комнаты, даже не завтракал, а потом вдруг надумал идти купаться. День был тяжёлый, томительный, небо затянуло облаками, и дождь временами накрапывал. Но в комнатах было душно, и разместились все на террасе. Я вышивала, Наталья Петровна раскладывала пасьянс, мамы в живых уже не было, но как раз в этот день я её вспоминала и даже казалось, что она где-то рядом... Тишина была поразительная. И вдруг слышим: бегут, кричат. Отец вскочил с места и побежал им навстречу...». Логической точки в рассказе не было, её подменяли эмоции. Делалось ясно, что в этом месте необходимо всплеснуть руками, ахнуть, а может быть, даже и вскрикнуть. Как же иначе? Любое несчастье на фоне летнего неба и тишины должно ужасать. И все истово ужасались. А удивительной всего было то, что, хотя бабушка добросовестно повторяла, что *день был какой-то свиной*, а также не забывала упомянуть о дожде, который *не принёс облегчения*, этот рассказ всё равно шёл под названием «гром среди ясного неба», хотя, казалось, ему удобнее разместиться под заголовком «тягостные предчувствия оправдались». Теперь, глядя спокойно, со стороны, на все факты, перечитав как-то случайно тонкую пачечку писем, которые дядя Павлуша прислал родным из Италии, я вдруг подумала, что талантлив он всё-таки был, во всяком случае, литературная одарённость была несомненно (её не заметили, так как к легенде она отношения не имела), но вот надежд, что Павлуша мог выжить, тем более сдюжить, было, пожалуй, немного. Даже если бы он не погиб под колёсами резво кативших навстречу событий, его раздавило бы грузом семейных традиций, которыми, будто высокими стенами, обнесли наш мирок мои предки. Дядя Павлуша не был силён и циничен, как бабушкин муж, чтобы принять «жизнь под сенью» да ещё и извлечь из неё много выгод, он не был и слаб, как мой папа, чтобы, без разговоров всему подчинившись, найти себе тихий, от бурь защищённый уголок обитания в рамках семьи-государства. В случае большого долголетия дяди Павлуши бабушке безусловно пришлось бы теряться в догадках не только по поводу краха блестящей карьеры, но и по поводу краха всей жизни: дядя Павлуша, скорее всего, сломался бы полностью и отводил душу в бессмысленном и безобразном фронтёрстве. И может быть, именно что-то подобное открылось ему в то утро июльского дня, когда, отказавшись от завтрака и проведя три часа в своей комнате, он вдруг надумал купаться. Наткнувшись на эту мысль, я ещё раз перечитала скобками и тире испещрённые итальянские письма, потом внимательно рассмотрела всегда висевший в столовой, профессорский, чёрный в золотой раме портрет прадеда Василия Ильича и, чувствуя себя опытной, умудрённой и всё понимающей, вернулась к делам сегодняшним, требовавшим безотлагательных и, по возможности, верных решений кучи назревших проблем. Главной проблемой, мучительно меня занимавшей и постоянно державшей в страхе, был мой сын Кеша, с трёх лет воспитывавшийся (как и дядя Павлуша) по системе швейцарца Гриндмейера, метод которого получил в конце прошлого века некоторую известность в России, но, в целом, не привился. Воспитание по Гриндмейеру было рассчитано только на

мальчиков, и почему-то именно это обстоятельство поднимало в глазах всей нашей семьи ценность метода. Суть системы Гриндмейера заключалась в частом чередовании умственных и физических нагрузок. Мальчик, воспитывавшийся по Гриндмейеру, должен был бегать как заведённый, тридцать раз на дню меняя классную комнату на гимнастическую площадку, а гимнастическую площадку на «игровую», организованную в высшей степени замысловато и наводящую на мысль о ничем не обузданном воображении. Впрочем, в таком вот пренебрежительном тоне я говорила о педагоге из Цюриха редко. В целом я чтילה Гриндмейера, и мне льстило, что Кеша, которого все находили очень похожим на дядю Павлушу, имеет шанс выучиться говорить на трёх языках, играть в теннис и разбираться в античной истории не хуже, чем это делал когда-то его двоюродный прадед. *«Появление этого мальчика в какой-то степени компенсирует нам гибель Павлуши»*,— сказала бабушка в первый же день, когда меня с Кешкой привезли из роддома. Всё в комнате было уже приспособлено для новорожденного, и мы стояли вокруг кровати, как парад фей из «Спящей красавицы». «Но назовём мы его не Павлом, а Иннокентием»,— сказал мой муж Дима, и по обиженной интонации я догадалась, что за короткие дни, проведённые мною в больнице, его отношения с нашим семейством изрядно попортились. «Да, *Иннокентием*»,— сказал папа и незаметно, как-то тайком улыбнулся: он вспомнил, что Анненский был любимым поэтом дяди Павлуши. Соня тихонько фыркнула, вспомнив о том же. Бабушка погрозила ей пальцем, папа со скромным видом опустил очи долу; видно было, что Дима вот-вот взорвётся. Этот немой разговор выводил его из себя. «Кто спорит, Дима? Ваш сын — Иннокентий,— вмешалась успокоительно мама,— он уже семь дней Кеша». «Конечно, он будет Кешей»,— сказала бабушка мягко.— *У нас нет обычной называть детей в честь умерших*». Сейчас будет буря, подумала я, но Дима не то не понял, не то предпочёл не заметить. Всё-таки это был первый день Кешки дома, наш общий семейный праздник. Но уже через пять-шесть недель атмосфера сгустилась, и Дима начал грубить в ответ на вполне безобидные реплики моих родственников, и в Кешке тоже стал видеть врага. Один раз, когда я сломя голову кинулась в комнату, потому что мне показалось, что мальчик заплакал, Дима бросил презрительно: «А потерпеть полминуты дядя Павлуша не может?» Сначала я рассмеялась: «Нет, дядя Павлуша привык к вниманию и заботе»,— но потом, стоя над мирно сопевшим младенцем, поняла, до чего же всё это серьёзно и, вероятно, непоправимо. Месяца через три Дима тихо, без драм, исчез из нашего дома. Его, как сказала задумчиво Соня, *почтили минутой молчания*, а удивлён происшедшим был только мой папа, который долго ещё покачивал головой и как-то раз после Диминого звонка отвёл меня в сторону и сказал: «Может, Варвара, ты всё же подумаешь лучше?» — «О чём? О том, чтобы жить вместе с ним? После того, как он шага не сделал, чтобы суметь *приспособиться к дому*? Если бы дорожил мной и Кешкой, сумел бы». Я говорила уверенно, как на экзамене. Я знала, что всё идёт *«так, как надо»*. Кешка рос богатырски и был на диво хорош в голубых ползунках, привезённых из Риги. Я с упоением говорила о его воспитании и всем рассказывала, как новая докторша из поликлиники просто оторопела при виде нашего парня, сказала: «Но это не мальчик! Это экспонат с выставки! Это чудо!» Гулял Кеша с няней. Няня была проходящая: с девяти до пяти. По вечерам все дежурили при ребёнке по очереди, и жизнь шла упругим и бодрым шагом под деловито-мажорный фамильный марш. Потом, когда в нашей семье появился — и сразу же стал своим — Валерьян, Сонин будущий муж, всё стало ещё оживлённей и веселее. Валерьян познакомился с нами, потому что писал диссертацию о Василии Ильиче. Он был очень милый, понравился всем, а бабушка, весьма неохотно согласившаяся его принять (*бумаги — какие? письма? помилуйте, мой отец всё же не Чехов, к тому же, я полагаю, и письма Чехова издавать незачем*), была полностью им очарована. Впрочем, своё

отношение к *«этому странному юноше»* она изменила ещё до его появления на пороге. «Минус двадцать четыре! Как он поедет, бедняга, через весь город? Нужно будет *немедленно напоить его чаем*, иначе этот *прелестный энтузиаст* свалится с воспалением лёгких или ангиной». К моменту, когда раздался звонок, мы все были возбуждены, даже как-то наэлектризованы, заключены были какие-то дурацкие пари, из заготовленных к Новому году припасов быстро составилась неплохой ужин, и Валерьяна с побелевшими от мороза щеками, которые сразу же решено было растереть водкой, всей гурьбой повели к плотно уставленному кушаньями столу, глянув на который, и я невольно залюбовалась. А Валерьян! Валерьян с этого вечера просто влюбился в наш дом, в круглую голубую вазу с подвесками, в рисунки дяди Павлуши, в нас с Соней, в черносмородиновую наливку (шедевр рук папы), которая подавалась всегда в хрустальном графинчике, принадлежавшем ещё Илье Ипполитовичу, этнографу-фольклористу, отцу Василия Ильича. Валерьян — он жил у чёрта на куличках, в аспирантском общежитии — стал приходить к нам дважды в неделю, потом и чаще. Над ним подсмеивались, он в самом деле был очень забавен в своём желании приобщиться ко всем *мелочам нашей жизни*. Летом, когда он женился на Соне, они, по его настоянию, на две недели поехали в деревеньку Ключи в нескольких километрах от бывшего Кротова. Это было нелепо, так как все давно знали, что окрестности Кротова стали неузнаваемы. Не только дом, но и пруды, и два сада (большой и малый), и даже любимая бабушкина лужайка перед крыльцом давно канули в Лету. Никаких кротовских пейзажей увидеть было нельзя. «Но, может быть, лес остался? Ведь *дом стоял на опушке леса*», — говорил Валерьян, и мы дружно смеялись и весело собирали их с Соней в дорогу. Вернулись они очень разные. Соня больше помалкивала, а Валерьян весь светился и сыпал рассказами. Он очень гордился, что сумел отыскать (и, конечно, сфотографировать с разных сторон) *могилу Семёна*, няньки и постоянного спутника в путешествиях Ильи Ипполитовича. Бабушка только плечами пожала, услышав об этом. Никакого интереса к могилам она никогда не испытывала. Как неофит, Валерьян, конечно, допускал много оплошностей, мелких и покрупнее. Но ему всё прощалось, все улыбались, давали необходимые разъяснения, поправляли, и только Соня, утратив обычно присущее ей чувство юмора, негодовала, метала громы и молнии и жёстко отчитывала Валерьяна как провинившегося дошкольника. Валерьян терпеливо выслушивал все её монологи, старался, как мог, обратить дело в шутку, а вот я бунтовала и лезла на стенку и восставала против «*семейного фарса*». Меня в самом деле тревожило и раздражало, что все мы, вольно или невольно, третируем Валерьяна, но главной причиной моего нового настроения, моего бунта было, я думаю, то, что Кешка в четыре года вдруг перестал быть ребёнком с картинки и превратился в довольно угрюмого и нелюдимого мальчика. Он получал всё, *«что нужно»*, но это не приносило желанного результата: он на глазах становился грустнее, мрачнее, болезненней. И надо было *предпринять что-то*, спешно и эффективно. Но что можно сделать? Изменить прежний режим? Не так интенсивно расширять кругозор? На людях я чувствовала себя, как и раньше, уверенно. На людях достоинства нашей семьи, *наших правил* не вызывали во мне ни малейших сомнений. На людях я совершенно непринуждённо произносила: «Что вы сказали? Во Франции вышла статья о Василии Ильиче? *Значит, и они тоже не понимают, что в нашей семье интересен один Илья Ипполитович? Конечно, если бы жив был дядя Павлуша...* Кстати, говорят, Кешка до смешного *похож на него*». И в следующую минуту я начинала уже упоённо рассказывать о Гриндмейере и постепенно разогревалась, приходя в состояние бурного оживления, чувствуя, что мой мальчик имеет всё самое лучшее и ограждён от дурного, и значит, все трудности — временны. А потом я приходила домой и слышала Кешкин кашель, и видела замаскированно-озабоченные лица домашних (*воспитанные люди всегда маскируют свою оза-*

боченность), и все надежды сразу рассеивались, оставляя привычный осадок тоски и злость. Гниль, мусть и гадость, думала я тогда, глядя, как все расползаются по своим углам спать. Мелькало деловитое лицо Валерьяна, строгое — Сони, бабушка наливала себе в специальный стаканчик воду и, обойдя дозором квартиру — *всё хорошо, всё, как надо*, — внушительно проходила к себе, зажигала лампу у изголовья и неким мистическим способом руководила из своей комнаты ночной жизнью квартиры, а я, раздеваясь и укладываясь спать в двух метрах от насадного кашляющего Кешки, чувствовала это руководство так же отчётливо, как и в период моего краткого замужества, когда Дима понять не мог, что со мной, и старался меня успокоить, а я только плакала, слушая, как он говорит убеждённо: «Ну и любишь ты, Варька, огород городить. Погоди, мисс философия, я тебя живенько вылечу». Верила я ему месяца три. Верила, хотя, в общем-то, знала, что ничего у него не получится. Пожалуй, это с первых недель и знала — думала я теперь, ворочаясь на постели. Кешка кашлял, и было ясно, что мне не уснуть, а утром надо будет вставать *с улыбкой и вовремя*: в нашей семье считалось *глубоко неприличным* упоминать о бессоннице. Порядок и дисциплина превыше всего. Ну что же, может быть, так и надо. Наверно, я даже и соглашалась бы с правотой этих принципов, если бы Кеша не болел с каждым годом всё чаще и тяжелее. «Все дети болеют, но Варя ведь сумасшедшая мать: она непрерывно трясётся над мальчиком». Таково было общее мнение, и оно было искренним, и очень хотелось ему поверить, но при всём желании я не могла не видеть того, что творилось перед глазами. И я металась. В тоске, в страхе, в панике. Кварц, витамины, профессор Яначек (говорят, *лучший в городе педиатр*), профессор Семёнов (как лор он *сильнейший*), весна на юге, лето на пригородной даче (избежать *шока* от перехода к осеннему холоду). В общем, всё почти так же, как в детстве дяди Павлуши, когда в апреле его и бабушку отправляли в Гурзуф, а в первых числах июня они уже были в Кротове. («*Когда мы приезжали, как раз цвели одуванчики, луг перед домом был сплошь золотистым, и как я ни любила Гурзуф, розы у нас в саду, горы, море, я всегда не забывала о них; я бегала перед домом, кричала «Ура! Я в Кротове!*», и меня было не урезонить: в первый день по приезде я была просто неуправляемой. А когда мне исполнилось десять, я стала просить, чтобы мне разрешили жить в мезонине. Там комнаты были с круглыми окнами, там жил Павлуша. И как же я была счастлива, когда год спустя — разрешили. Думаю, именно Кротова Кеша и не хватает. Но с этим, увы, ничего не поделаешь».) По мере того, как Кешка болел всё сильнее, такие речи — и весь стоявший за ними настрой — пугали меня всё больше. Однажды я попыталась созвать семейный совет. «Нам надо пересмотреть нашу жизнь, мы сидим между двух стульев, мы только и делаем, что выполняем какой-то замшелый обряд, и нечего удивляться, что жизнь нас за это наказывает. Соня скоро родит. Я не хочу, чтобы мы стали калечить ещё и второго ребёнка!» Бабушка улыбалась. В какой-то степени эта *выходка* забавляла её. Варя и в детстве бывала несносным ребёнком, *анфан терибль*, как говорила Наталья Петровна, имея в виду *Павлушу*. Соня иная, Соня, наверно, в отца (или, может быть, в деда?!). Мама *чувствовала себя оскорблённой*. Губы её были плотно сжаты, она смотрела прямо перед собой, и на лице её ясно читалась готовность *перенести всё стоически*. Ну а что папа? Папа сидел ссутулившись, чуть ли не спрятавшись в свой пиджак. Временами он сокрушённо качал головой (вечер был так хорош, Кеша вторую неделю здоров, а Варьке шлея вдруг попала под хвост; говорил ей: не разводись, но она разве послушает?). Я сотрясала воздух минут пятнадцать, наконец, кончила, сбившись и понимая, что не нашла нужных слов. Наверное, надо было заранее подготовиться, надо было всё сформулировать очень точно. Но теперь-то что делать? Ответную речь произнёс Валерьян. Неделей раньше он защитил диссертацию и говорил теперь так же, как на защите: спокойно и взвешенно. Валерьян

сказал мне, что *детям — а также и взрослым — полезно жить в доме, где чтутся традиции. Только такой дом даёт возможность глубоко приобщиться к культуре, накопленной русской интеллигенцией, а также получить знания и навыки, которых иным путём не добиться.* Когда Валерьян довёл своё выступление до конца, все разве что не захлопали. Ничего себе сбилась компашка, подумала я растерянно, ну и бог с ними, пусть скопом хоронят своих мертвецов, а я переделаю мою жизнь и жизнь Кешки. И, решив так, я очень азартно принялась за реформы, но оказалось, что все мои попытки беспомощны и безрезультатны. Кешка практически не заметил, что я заменила висевшую в нашей комнате огромную фотографию Кротова (*купа деревьев на переднем плане, залитая солнцем лужайка, терраса, резное крыльцо, а сбоку — тёмная полоса леса*) на цветные изображения Чебурашки и Незнайки. Плевал он на Чебурашку так же, как на террасу, где *сживали Василий Ильич и Поленов*, зевал он, когда я читала ему «Занимательную геометрию», зевал, пожалуй, похлеще, чем когда бабушка развлекала его историей маленького лорда Фаунтлерея, скучал он и в городке аттракционов, куда я водила его теперь раз в неделю; ему всё равно было, купим ли мы щенка, и он без всякого удовольствия разломал самосвал, призванный разбудить в нём техническую фантазию. Естественно, все замечали бесплодность моих попыток заменить *«воспитание по Гриндмейеру»* собственной, впопыхах сочинённой системой, и пожимали плечами у меня за спиной, и молча ждали, когда эта блажь пройдёт. «На песке строить трудно», — сказал мне однажды папа. «А в воздухе легче?» Он только развёл руками. Мы с ним всё же очень любили друг друга, и он глубоко огорчился, видя, что его опыт не может прийти мне на помощь. Страдал он и оттого, что семья потерпела фиаско не только в попытках воспитать Кешку духовным приемником дяди Павлуши, но даже и в более скромной задаче: вырастить его *«нашим мальчиком»*. Никто по-прежнему в этом не признавался, но дружный вздох облегчения вырвался из семейной груди, когда аккуратная и разумная Соня произвела на свет Мусю. Девочка! *С девочками всё проще. Девочки так контактны. Девочки — это радость.* Я с любопытством смотрела на Валерьяна. Видно было, что он слегка огорчён. «Ты не горюй, на бис она, может быть, выдаст и парня», — попыталась я пошутить. Но Валерьян посмотрел на меня очень холодно, приподнял неодобрительно брови и принялся говорить с бабушкой о том, *когда лучше поехать к Ольге Петровне Варламовой:* сегодня или в субботу после обеда. Вопрос был важен, через какое-то время к его обсуждению подключилась и мама. Все были при деле, у всех было плотное расписание, а я поняла вдруг, что я — за воротами. То ли сама ушла, то ли они меня выгнали, но, как бы там ни было, вот он дом, рядом, а я смотрю в окна с улицы: заглядываю, приподнимаюсь на цыпочки, хихикаю над картинками из *«их»* жизни, но *«им»* до меня дела нет. Моя отдельная жизнь не может привлечь их внимания. Они заняты только собой. Всё остальное им, в самом деле, неинтересно, ненужно. И именно это даёт им огромные силы, которые даже и у меня не могут не вызывать восхищения. Как просто, и как сразу многое объясняется. Урадумев, таким образом, в чём причина *несокрушимости* нашей семьи, я уже больше не сомневалась в её могуществе, и если словами определить, что я сделала, когда, встретив Глеба, внутренне от семьи отделилась, то надо, наверно, сказать, что я им оставила Кешку, считая, что, несмотря на весь крах *гриндермейеровской* системы, наша семья, живущая в собственном, абсолютно послушном ей времени, может быть странной, но крепкой опорой моему мальчику, я же, при всём желании, не могу. Я смутно надеялась, что когда пойму что-то в жизни, смогу приобщить к ней и Кешку, но пока что все мои силы шли только на то, чтобы расслышать и разглядеть всё самой. Я была очень прилежна, я впитывала усердно все новые впечатления, но, приноравливая органы чувств к восприятию *«подлинной реальности»*, я совершенно утратила чувство реальности происходящего. Видела и не видела. Ну, скажем, вроде бы Валерьян

теперь реже бывает дома. Ну и что тут такого? *Он много работает*. Папа прихварывает. Но и это *не новость*. Сколько я себя помню, бабушка разводила руками и без конца повторяла, что его *невыносливость просто не может не удивлять*. Ещё что? Пожалуй, в последнее время все меньше смеются. И тоже нет. Просто раньше меня раздражали дурацкие приступы смеха, которые возникали при каждом случайном упоминании бородатых семейных историй типа «*невероятное происшествие на именинах у Миши Земницкого*» или «*знакомство Варламовых с внуками Айседоры Дункан*», а теперь я к ним равнодушна, я их не слышу, я ушла, бросила этот марионеточный театр, из года в год повторяющий два-три танца под заунывные звуки шарманки. Я хочу жить, я хочу разобраться, что же на самом деле есть жизнь и как люди любят или не любят друг друга, как они сами строят свои отношения и, принимаясь за дело, думают не чужой, а своей головой. Понять всё это непросто. Для того чтобы это понять, мне нужно время и ещё нужна точка отсчёта (опоры?). Семья является такой точкой, она незыблема, вечна. Но почему же мне всё упорнее кажется, что и её лихорадит? Неужто и впрямь что-то там поползло, затрещало как раз сейчас, когда мне так нужна их стабильность? Возможно ли это? Или все признаки перемен — очередная уловка *духа-хранителя нашей семьи*? Что ж, если так, то мне надо быть начеку, мне нельзя дать себя одурачить, мне нужно внимательно смотреть в оба. Вечер. Все мы сидим за столом. Часы бьют восемь. «*Я хотела бы обсудить наши планы на воскресенье*», — говорит бабушка деловым тоном. «Да, конечно», — отвечает ей папа, и повисает молчание. Только тихонько смеётся Муся, глядя, как Кешка лепит собаку из хлебного мякиша. Собаке нужен ошейник. «Мы его сделаем из сметаны», — хихикает Муся и лезет в вазу прямо пальцем. Соня сосредоточенно смотрит в тарелку. Мама подыскивает слова, чтобы что-то сказать, но потом передумывает, молчит. Ещё год назад *всё это* было бы невозможно. «*Сейчас же встаньте и выйдите из-за стола*», — говорит бабушка Кеше и Мусе, и снова кажется, что у нас всё, *как и прежде*, ведь у нас всё *на века*, и я крепко держусь за эту надежду, но она ускользает, и наконец наступает тот день, когда нельзя уже притворяться, будто не видишь, что Соня и Валерьян на пороге развода, что Валерьян всё продумал, что это необратимо, что это трагедия, потому что с его уходом (хоть в это трудно поверить) что-то непоправимо испортится в *механизме семьи*. Пять лет назад этот восторженный аспирантик при общем смехе принялся подпирать вполне крепкую крышу и вскоре — особая милость — был утверждён на почётную должность опоры (не главной, конечно, но нужной и признанной). А теперь, когда он собрался уходить, неожиданно выясняется, что уже сколько-то времени он держал дом один, заменить его некому, больше того, без него и вообще дома нет, а есть группа растерянных жалких людей, чей смысл жизни уже переплавлен (и, в общем, успешно) в материал Валерьяновой диссертации, в его книжку, в статьи о *Наталье Петровне* (писавшей, как выяснилось, совсем неплохие стихи), в очерки о *Павлуше в Италии*. Нет, всё-таки это, — чудовищное преувеличение. Но не я ли кричала, что мы живые покойники, малопочтенная имитация прошлого? «Поговори с Валерьяном, — просит вдруг бабушка, — поговори с ним, попробуй ему *объяснить*, что он *совершает ошибку*». Я вздрагиваю. Впервые я слышу, как бабушка просит о чём-то. «Поговори с ним. Ведь он *вошёл в семью прочно*. И что случилось? У него *увлечение*?» — «Нет». Как могла, я старалась уйти от ответов. Я знала одно: мне нельзя говорить с Валерьяном. Как бы ни повернулся наш разговор, я только укреплю его в сознании правильности задуманного, подтолкну, может быть, даже и ощутимо, к уходу. А такого *предательства* по отношению к вдруг ослабевшей семье я допустить не могла. Теперь, когда у них всё зашаталось, я должна была быть лояльной, и если уж не замазывать трещины, то безусловно не расширять их, молчать, затаиться, и это было, наверно, вообще самым правильным, ведь внешне мы жили почти что *по-прежнему*, всё делалось так, как

обычно, только надсадно и медленно. С конца апреля начались разговоры о лете, и были даже предприняты некоторые действия. Но всё совершалось со скрипом и с неохотой и, чуть наладившись, стопорилось. Примерно двадцатого мая маме вдруг отказали в путёвках в Литву, куда она собиралась в июле с папой и Кешкой. Естественно, это не было драмой, но все почему-то почувствовали беспомощность, которая, нарастая, вызвала заявление бабушки о том, что *в Хосту она не поедет*. В Хосте бабушка проводила свой отпуск лет тридцать, а теперь вот на фоне происходящих (или почти что происходящих) событий вдруг отказалась, и стало понятно, что отказ от любимого и привычного места (*я люблю Хосту чуть ли не больше, чем раньше любила Гурзуф*) связан с день ото дня нарастающим чувством неуверенности, больше того: *с вопросом денег*. Этот нелепый вопрос возник незаметно и долгое время был никем до конца не осознан, потому, прежде всего, что причин для его появления не было. Все получали *столько же, сколько всегда*, а Валерьян не только давно защитился, но и был сделан старшим научным. И всё же вопрос возник, а теперь заявление бабушки сразу заставило нас принять его окончательно. Все ясно почувствовали, что прежняя жизнь нам больше не по карману и не по силам, а никакой новой жизни никто представить себе не мог. Июнь подступал, растерянность и нервозность усиливалась и, наконец, стало ясно, что, вероятней всего, никто никуда не поедет, и мы все обойдёмся, с грехом пополам, дачей в Ластовке (две комнатухи и кухня), которую уже пять-шесть лет мы постоянно снимали (прежде всего для Кешки: *избежать шока от перехода к осеннему холоду*) у *правильного хозяина Василия Емельяновича*. Конечно, никто нас к Ластовке не приговаривал, и я могла бы отправить Кешку в пионерлагерь, а сама ехать с Глебом куда захочу, и это было бы правильно и логично, но я уже понимала, что не смогу *дезертировать*, что должна буду поселить парня среди огурцов и кочанов Василия Емельяновича и проторчать там всё лето сама. «Так что же, Карпаты или Молдавия? Июль или август? — спрашивал меня Глеб. — Решай, ведь нужно как-то определиться». «Подожди ещё несколько дней», — отвечала я в сотый раз. Я ещё продолжала надеяться, что всё как-нибудь образуется и наладится. Хотя на что, собственно, я продолжала надеяться? Ведь ждать было нечего, новостей быть не могло. И всё же новости поступили. Пришло письмо от Василия Емельяновича, в котором он сообщил нам, что в марте у его дочки родился ребёнок и летом они сдавать комнат не будут. «Но почему же он раньше об этом не сообщил?» — спросила бабушка с изумлением. «Позвольте, но его дочь — в Красноярске», — с видом Шерлока Холмса сообщил папа. Стало понятно, что грядёт длинный, бессмысленный, всех изнуряющий разговор, но разговора не получилось, всем было страшно сказать какое-нибудь неосторожное слово, которое окончательно всё разрушит. Пока молчали, надежда ещё оставалась, хотя молчать было тяжело, особенно по вечерам. Дети, быстро проглотив что-то, немедленно исчезали, и их никто не держал. Валерьян за столом не бывал (приходил очень поздно и, если кого-то заставал, то говорил торопливо «спокойной ночи» и быстро проскальзывал мимо), папа тоже почти не был виден: он больше полёживал. «Может быть, позвать доктора?» — как-то спросила бабушка, глядя на пустой папин стул. Ей, конечно, никто не ответил, и только два дня спустя меня резануло: а может, с папой и в самом деле неладно? Бросив всё, я кинулась без звонка в особняк, где размещался, покойно и тихо, небольшой институт, в котором работал отец. «Моя жизнь проходит в особняке и в семье», — любил он говаривать, и только сейчас до меня дошёл двойной смысл этих слов. «Папа!» — крикнула я, влетая в просторный, шкафами разнообразных размеров и стилей заставленный кабинет. Он поднял голову от стола, за которым просиживал восемь часов ежедневно; он, как обычно, был один в комнате (другие сотрудники постоянно в бегах) и показался мне постаревшим, морщинистым, жалким. Я понимала, что сейчас разревусь, но, к счастью, отец не стал задавать мне вопросов. «Это

прекрасно, что ты зашла,— сказал он бодрым, спокойным голосом.— Дома всё как-то не получается поговорить. А у меня вроде новость, и неплохая». Он сделал паузу и выжидательно посмотрел на меня. «Я навёл справки, и оказалось, что километрах в двухстах можно недорого купить дом. Я тут запасся одним-двумя адресами. Может, поедем? Посмотрим? Я отпросился бы завтра с работы».— «Давай. Слушай, ведь это прекрасно!» Отец кивнул, и на следующее утро мы, никому ничего не сказав, пошли в гараж, вывели нашу старушку «Победу» и, с трудом веря, что мы и впрямь едем куда-то, влились в весёлый и разноцветный поток. Отец отвык от вождения, в последние годы за рулём чаще всего сидел Валерьян, и теперь я напряжённо следила за указателями, шептала: ограничение, нет поворота направо, налево, по «стрелке». Отец справлялся, и даже неплохо, но с напряжением — на лице выступил пот — и я молила, чтобы мы выбрались наконец-то из городской толчеи. Но город всё не кончался. Машина взлетела на мост, потом крутанулась в развязке, «направо»,— крикнула я, но отец не сумел сманеврировать, мы развернулись и оказались опять на проспекте. «Сразу же бери „вправо“»,— сказала я строгим инструкторским голосом, и отец неожиданно рассмеялся: «Да ты не нервничай, Варя». Поворот, светофор, спуск в тоннель, и вот мы на шоссе, и замелькали и справа, и слева деревья, лицо отца стало спокойным; и тут же я превратилась в беспечную пассажирку, машина — в надёжный дом на колёсах, всё как тогда, когда я была девочкой и мы отправлялись в далёкие летние путешествия. Рядом с папой сидела тогда, конечно же, бабушка, собранная и подтянутая, полная чувства ответственности за всё происходящее; на заднем сиденье посередине всегда была мама — дисциплинирующая прослойка, а по бокам — мы с Соней, высунувшиеся из окон, криком приветствовавшие людей и коров, дорожные знаки, дома. И так мы ехали, ехали, ехали, а потом, наконец, доезжали до города, где собирались обедать, и после расспросов прохожих (убогих существ, почему-то не понимавших, как это скучно не путешествовать, а сидеть сиднем на месте) торжественно подъезжали к большому или маленькому дому с вертикальной или горизонтальной вывеской «ресторан». В зал мы входили неторопливо и чуть настороженно, всем телом ещё ощущая и тряску дороги, и тарахтенье мотора, и плотный, упругий, летящий навстречу нам ветер. И сразу же тишина ресторана с мерным цзинь-звонком тарелок и едва слышным и ровным рокотом голосов переносила, казалось, в какое-то новое измерение и заставляла идти бесшумно, чуть не на цыпочках, и залепляла, как пробками, уши. Всё ещё продолжая свыкаться с этой благопристойной, солидной и вяжущей тишиной, мы долго, со вкусом рассаживались и потом ждали, когда равнодушно-ленивая официантка (вариант: хамовато-мордастый официант) принесёт нам меню в тёмно-синей или коричневой «кожаной» корочке. Читать меню было всегда моим правом, и я читала от первой строчки до последней, хотя по опыту было известно, что выбирать нам придётся между котлетами и гуляшом и, если особенно повезёт, между борщом и бульоном. И всё-таки каждый раз обед был событием, а после обеда мы ехали дальше, и вечером, в запланированной заранее точке, жители которой тоже не понимали своего униженного, как у жука на булавке, положения, отыскивали гостиницу и с трепетом спрашивали, получена ли наша телеграмма и можем ли мы здесь остановиться, а потом поднимались по лестнице и с любопытством рассматривали комнаты, в которых пробудем одну только ночь — до завтра. «А помнишь, как мы путешествовали, плотно набив семейную коробочку? — спросила я у отца.— В общем-то бестолково путешествовали и, если вдуматься, от наших эскапад пахивало кретинизмом». Отец усмехнулся, в усмешке было спокойное превосходство над окружающими, которое он всегда чувствовал (не отдавая себе отчёта), когда бывал за рулём. «Кретинизмом? — повторил он задумчиво.— Но тебе нравились эти поездки, Варварик. Соня играла с куклой, бабушка иногда засыпала, а ты смотрела во все глаза и была очень довольна».— «Но

мы умудрились проехать тысячи километров и ничего не увидеть!» — «Не совсем так... Двести двадцатый, потом должен быть указатель, ограничение «семьдесят» и дорога направо». Так и есть. Мы осторожно съезжаем, движемся по просёлку, и минут через десять колёса уже буксуют в грязи. «Сейчас застрянем», — говорю я, как Кассандра, и в тот же миг моё пророчество сбывается. Мотор рычит надсадно, потом глохнет, мы сидим в луже посреди лесной дороги, и пахнет сыростью, травой, подснежниками. «Нет, всё-таки мы правы, что приехали», — говорит папа. — Пикничок на обочине... хорошо!» Он смеётся, и я вспоминаю, что Юлька, моя ровесница, месяц назад вышла замуж за Сёму Баевского, однокурсника папы. «Ты сейчас выглядишь лет на пятнадцать моложе, чем утром», — говорю я отцу. Он смотрит на меня внимательно и, почему-то не выдержав этого взгляда, я отворачиваюсь. За окном кочки, покрытые мхом, ветка берёзы в серёжках. Невдалеке распевает пичуга. Такое пение птиц я помню только в кино. Луга, холмы, речка между холмами, камера движется плавно... и заливаются птицы. «Слышишь? — говорит мне отец. Он смотрит на меня сбоку всё так же внимательно. — Слышишь? Вот наш спаситель». И в самом деле, издалека доносится лёгкое таракхенье, потом шум нарастает и появляется трактор. Кудрявый тракторист, как будто напрокат взятый из фильмов «про нашу счастливую жизнь», высовывается всем корпусом из кабины и орёт радостно: «Что, застряли?» Мы вежливо киваем. «Да кто ж тут ездит? — кричит он, хохоча во всё горло. — Да ладно уж, сейчас вытащу». Он даёт задний ход, исчезает куда-то и, развернувшись, возвращается, остановив могучий зад в двух метрах перед нашей легковушкой. «Это вам повезло, что я ехал, — заявляет он мне и подмигивает, — ведь здесь, бывает, часами никого нету. Эх вы, юмористы!» Он крепит трос, снова громко смеётся, бежит в кабину, машет оттуда рукой; он дирижёр, он вожатый, его нельзя не послушаться, мы это знаем, и это чувствует наша машина: кряхтя и постанывая, она снимается с места. Держитесь, машет рука, тут немного осталось, а дальше уже дорога что надо, шоссе. Шоссе метра два шириной, но ни ям, ни колдобин. «Шесть километров до Верхнего», — на прощанье кричит тракторист. Отцепив трос и блеснув напоследок зубами, он уезжает, а к нам в машину влезает какой-то мужик в резиновых сапогах. Кажется, он попросил, чтобы мы подвезли его, но как-то сразу включился в наши дела, и уже «чёрт с ним, с Верхним», едем мы не туда, а подальше; за горку, где живёт Еремеич, который нам всё и покажет. «Вы не смотрите, что он чудной этак, малость с приветом. Он дом вам отыщет, верно вам говорю, отыщет из-под земли, вот только спрыснуть бы это надо, магазин у нас совсем рядом, и завоз был сегодня; вот тут маленько, ещё-ещё, тормози». И вытащив ловко пятёрку, хотя отец, мне казалось, ещё и бумажник-то не открыл, Василий (мы знаем уже, что его так зовут) проворно топает на крыльцо, а потом исчезает в дверях магазина, откуда через минуту слышны смех и крики; и папа, всё ещё улыбаясь, но уже начиная смущённо покачивать головой, говорит «кажется, влипли мы, Варенька, крепко», а меня вдруг охватывает предчувствие, весёлое и нелепое. Я знаю, что будет дальше, я в этом уверена, и когда на крыльце магазина наконец появляется наш Василий, а с ним бородатый и краснощёкий мужик с весёлыми чёрными глазками, я сразу же понимаю, что это тот Еремеич, который и в самом деле из-под земли дом отыщет да ещё и поставит его к лесу задом, к нам передом. Мужики дружно лезут в машину, сиденье кряхтит под ними. «Поехали», — говорит Еремеич солидно. «А не завяжем?» — пробует отрезвить всех отец. «Нет», — отвечаем мы хором, и отец пожимает плечами, и подчиняется молча решению большинства. Деревня кончается быстро, какое-то время идут поля не поля, странное зрелище взрытой и изуродованной земли, потом начинается ельник, и я уже знаю, что почти сразу за ним... Нет, подальше. Пни. Слева блестит какая-то лужа, но дальше уже угадывается... «Стой, — командую я, — это здесь, это точно». «Чего стоять-то? Порядочно ещё будет», — говорит

Еремеич. «Остановись!» — кричу я отцу, и он сразу же жмёт на тормоз. Выбравшись из машины, обогнув лужу, пробравшись через остатки загубленной роши, я попадаю к оврагу — там, кажется, сыро на дне, но это совсем не важно (вниз-вверх). Так, всё прекрасно, но сразу же за оврагом — плотная засека. Я пробираюсь, царапая ноги, не чувствуя боли, и, одолев наконец-то и это препятствие, вижу огромный, весь золотистый от одуванчиков луг, купу деревьев, дом, окружённый террасой, и лес, подступающий сбоку почти вплотную. Ура! Я бегу по чудесной, бархатной, ровной лужайке, я уже у крыльца, я хватаюсь рукой за резные перила, но что это? Гнилая доска проломилась, и я неловко проваливаюсь: ни туда, ни сюда. В таком виде и застают меня Еремеич, отец и Василий. «Рехнулась, что ли?» — говорит кто-то из мужиков участливо и помогает мне выбраться из западни. «Он?» — спрашиваю я папу, указывая на дом. «Похож удивительно, — медленно отвечает отец, — но ведь я, как и ты, знаком с ним только по фотографиям». «Оба ума лишились, — говорит Еремеич посмеиваясь. — Лесничество это. Дом уж два года как брошен. Сгнил. Вы тут что, жить надумали? Да как же жить тут? Труха ведь, не дерево». Василий приносит палку и тычет презрительно в стену: «Кто б его бросил так, если б в нём ещё жить можно было?» «С кем можно поговорить о покупке?» — спрашивает отец. Василий кряхтит. Еремеич вдруг начинает сердиться по настоящему. «А в сельсовет поезжай, — отвечает он наконец. — Прямо смотреть срамно, умный ведь, городской». Но мы уже плохо слушаем, мы идём торопливо к машине. «Цирк, да и только», — бормочет Василий. А мы заводим мотор и начинаем движение в двух направлениях: в прошлое и вперёд. Мы доезжаем до сельсовета, мы удивляем, мы убеждаем и побеждаем, а вечером мы уже дома, и папа говорит тем торжественным голосом, которым он приносит всегда новогодние тосты: «Прошу всех сейчас же собраться в столовой». «Тише, Муська заснула минуту назад». Соня стоит в дверях, углы её рта подёргиваются от раздражения. «Что тут случилось?» — мама выходит из своей комнаты. «У нас какие-то новости?» — оживлённо спрашивает бабушка. Её голос, в котором звучит готовность к сюрпризам, бьёт Сою по нервам — она готова уже закрыть дверь и уйти. «Сегодня около двух часов пополудни мы с Варей нашли живое и невредимое *Кротово*», — говорит папа. Соня глядит на него с полнейшим непониманием и без всякого интереса. Мама замученно улыбается. «Где?» — восклицает взволнованно бабушка, и я чувствую, как меня затопляет волна восхищения. Папа подходит к бабушке и берёт её за руку. «Всего в тридцати километрах от старого *Кротова*», — говорит он ей новым каким-то, уверенным и успокаивающим тоном. «Они нашли новое *Кротово!*» — кричит радостно Кешка. Никто не заметил, как он появился. Он стоит рядом с портретом Василия Ильича, на нём голубая пижамка из Риги (мама только что была там на конференции), глаза в цвет пижамки — сияют. «Они нашли новое *Кротово!*» Этому возгласу Кешки верят вдруг все. Да, это случилось. Это событие. И не надо цепляться за будничный здравый смысл, не надо повторять «быть не может». Надо смеяться, и веселиться, и радоваться. «Муська, мы нашли новое *Кротово*, и мы все туда едем!» И Муська прыгает в своей длинной ночной рубашке, точь-в-точь такой же, какую носила когда-то прабабушка, а потом бабушка, мама, я, Соня. «Но всё-таки расскажите всё по порядку», — просят они. И мы с папой наперебой начинаем, и сами верим с трудом в то, что всё это — правда, но лица мамы, и Сони, и бабушки, и ребят говорят «правда, правда, всё так и есть». «И они соглашаются продать дом за две тысячи?» — «Да, ведь это не дерево, а труха». — «Но перила *резные*? И луг *покрыт одуванчиками*?» — «Именно так, но полы нужно будет перестилать и крышу отремонтировать капитально». «А дупло старого дуба *на месте*? А *ёж Альбион*?» Кешка, не кто иной, Кешка задаёт эти вопросы, а ведь, казалось, он всегда убегал от рассказов о *Кротове*. Но подождите, зачем же нам объясняться на пальцах? Тащите сюда фотографии, и мы сразу во всём разберёмся. Скорее! И вот

уже теснота за столом. Реплики, восклицанья, ответы жужжат и стрекочут, летают туда и обратно, и вьются над головами, как мошкара. Смотрите, *обед на террасе!* Ай, не толкайтесь! Вот *эти салфетки вышиты моей мамой.* Красиво! А это, наверное, *пруд. Василий Ильич в большом кресле.* На столике знаменитые *шахматы.* Купа деревьев. Постоите, а *где же Поленов?* Здесь, вероятно. Ой, что я вижу! Пахучая *горка малины* на блюде и *сливочник.* Покажи сливочник! Муська, ну что визжишь? «А это кто?» — тычет Кешка. «Это *Наталья Петровна, племянница моей мамы, она всегда жила с нами, она была поэтесса.*» «Она была старая дева и сумасшедшая», — возражает вполголоса Соня, ловко копируя интонацию фразы, слышанной всеми по тысяче раз. «Да, я так говорила, но твой муж объяснил мне, что интересна Наталья Петровна не этим». Бабушка улыбается, все добродушно хихикают, слова «твой муж» мелькают естественно и незаметно. И снова мы начинаем рассматривать фотографии. Соня смеётся, родители на глазах молодеют, и только бабушка совершенно такая же, как и всегда. «Я буду жить наверху, в *комнате дяди Павлуши,*» — размахивает одной из фотографий Кешка. «И я буду жить наверху», — вторит Муся. «Этот вопрос мы обсудим попозже», — отвечаем мы в один голос, и Соня незамедлительно комментирует: «Родилась истина». И вот тут, в этот самый момент, в комнате появляется Валерьян. А может быть, он вошёл раньше, мы могли не услышать, мы были заняты фотографиями. Но теперь все вдруг видят: Валерьян стоит на пороге, на лице у него нарисовано изумление, уши пылают, а рот нерешительно приоткрыт. Я ахаю, и мне хочется громко спросить, всем ли ясно, как он похож на того аспирантика, который несколько лет назад впервые вошёл в наш дом. «Новости, невероятные новости!» — кидается к Валерьяну Кешка. «Ты понимаешь, случилось...» — «Нет уж, пусть он попробует отгадать». «Подождите! — бабушкин голос звучит взволнованно, громко, — надо немедленно накормить его, думаю, он голодный, ведь сейчас десять вечера». И вот уже несут чашки, тарелки (да, и мы тоже, с тобой за компанию). Уселись. И сразу же приступаем к рассказам. Про мезонин, луг, террасу, резные перила, про лес; про то, как Василий и Еремеич верёвкой связали папу, чтобы он не пошёл к председателю губить свои деньги и репутацию, про то, как Варя отца спасла, хотя и была уже хромоножкой: чуть ногу не потеряла, осматривая все закоулки владений, про то, как грозный, весь в орденах председатель едва не умер от смеха, услышав о наших намереньях, и снова про *лес,* и про *дом,* и про *круглые окна.* Валерьян слушал сначала с большим напряжением и полыхая ушами, но постепенно освоился, начал спрашивать и говорить, сказал, что скорее всего, дом не в таком уж плохом состоянии, что в воскресенье или субботу он съездит посмотреть всё на месте и непременно прихватит с собой Епифанова: Андрей Епифанов в столярных работах толк знает. «Прекрасно, а мы тем временем оповестим всех знакомых, что стали владельцами развалюхи в деревне и берём подлежащую выбросу мебель», — говорит папа и мефистофельски потирает руки. Это выходит у него очень смешно, и первыми начинают смеяться дети, за ними — Валерьян с Соней, а потом бабушка, мама и я. Мы вместе смеёмся. Такого у нас не бывало давно. Со времён Мусиного младенчества, пожалуй, вообще не бывало. Мусе этот смех внове, она хохочет, но в то же время и боязливо оглядывается, смотрит на Кешку, на бабушек с дедушкой, на родителей. Но все смеются и даже не замечают её удивлённого взгляда, все погибают от смеха, икают, сгибаются в три погибели. Смех укрывает нас, как шатёр, в смехе мы спрятались, в смехе звучат, если вслушаться, истерические нотки и кое-где слёзы, но сейчас это неважно, и мы продолжаем смеяться и, так же смеясь, завершаем к концу июня все сборы. Результат грандиозный. У нас на целый фургон фантастической рухляди. Есть граммофон, есть банкетка, обитая рыжим, когда-то лиловым, а теперь основательно продраным бархатом, есть лампа на бронзовой ножке, три шкафа, ломберный столик почти без дефектов,

невероятных размеров оконная рама, громадный коричневый с белым ковёр, овальный обеденный стол на двенадцать персон, буфет с перламутровой инкрустацией, мраморный умывальник, остатки прелестной, красного дерева этажерки (её можно склеить) и ещё полосатый диванчик, хранящий следы былого изящества, английский велосипед фирмы Симпсон (такой же, как был у Павлуши) и два портрета — их подарила нам Генриетта Оскаровна, так как её перевозят в новую крошечную квартиру, *а у нас в Кротове места много*, портреты там будут чудесно смотреться, на одном из них, кажется, Афанасий Иванович, крёстный Натальи Петровны. В разгар всех сборов мне звонит Глеб, мы с ним не виделись уже больше недели. «Может быть, всё-таки нужно помочь?» — спрашивает он настойчиво. Он уже предлагал свою помощь, когда я сказала, что мы неожиданно стали владельцами дома, и идут сборы, и надо всё время что-то сортировать, паковать. «За всю жизнь я три раза переезжал. Могу считаться специалистом», — сказал тогда Глеб, но я шарахнулась прочь от идеи знакомить его с семейством. Теперь я вдруг чувствую искушение; правда, вот-вот подъедет фургон, но ведь можно взять Глеба с собой, и он поможет разгружать вещи в Кротове (картинка мелькает перед глазами). Нет, всё-таки лучше иначе обставить их первую встречу. Осенью, в городе, я приведу Глеба к нам, и постепенно он разберётся, в чём суть и странности нашей семьи, и, может быть... «Глебка, спасибо, но, честное слово, не надо. Здесь масса помощников», — говорю я ему. «Варя, меня пригласили поехать в Махачкалу, у нас там связи с метеостанцией...» Вот это — снег на голову. «И когда же ты отправляешься?» — «Третьего». — «Это ещё не скоро. А я приеду через неделю, и мы с тобой всё обсудим. Послушай...» Но тут вбегает сияющий Кешка и сообщает, что фургон прибыл. Мужчины сразу же начинают его загружать, и минут через десять глубокая тёмная пасть заполнена под завязку. Больше уже ничего не засунуть, а сундучок с коваными углами, какой-то мешок и садовая мебель, которую ловко привёз на багажнике Толя, племянник Земницких, грустно стоят на асфальте. «Спокойствие — проблем нет». И Валерьян и Андрей Епифанов, его аспирантский приятель, знающий толк в столярных делах, пришедший в восторг от нашего Кротова и едущий теперь к нам на три дня (позже приедет на целый месяц), поднавалившись, запихивают и сундучок, и мешок, и качели, и деревянные кресла. При этом что-то трещит, но Валерьян уверяет, что всё в порядке, Андрей клянётся, что это действительно так, и в доказательство хочет есть землю. Всем очень весело, и веселье так заразительно, что неожиданно Толя Земницкий говорит, что и он тоже едет: сегодня суббота, так почему бы и нет? Решение Толи разогревает всеобщий энтузиазм до предела, и заново начинается беготня от машины к машине, с рук на руки путешествуют неизвестно чьи вещи, кот Матвей, термосы, сумки с провизией; дети хохочут и вертятся сразу у всех под ногами; всё мельтешит, всё снуёт, и всё разом становится по местам, когда Валерьян командует громко (слышишь? как в рупор, — говорит Кеша Мусе): «Я еду в первой машине. Бабушка, дети и Соня со мной, сразу за нами — фургон, следом — машина Андрея. Толя — последний. С ним Варя: покажет дорогу, если он где-то отстанет. Всё ясно? По коням». И вот уже дети с восторгом рассаживаются вокруг образовавшей дисциплинирующую прослойку Сони. Двадцать лет, съёжившись, отползают куда-то в сторону, и только мальчишечья мордочка Кеши напоминает, какой сейчас год. «С богом», — говорит Толя Земницкий. Его торжественность в общем-то неуместна, но радует. Караван-кавалькада пускается в путь, и хочется поскорее вдохнуть воздух Кротова, хочется посмотреть, что там сделали Еремеич с Василием и ещё дед Лука, с которым договорился Андрей Епифанов и о котором сказал уважительно: «Мастер!» Скорее, скорее, и вот мы уже подъезжаем. Какая я была дура, когда пробиралась задами через залитый водой овраг, буреломы, кусты. Ведь есть дорога. Дорога плавно приводит нас к дому. Мы видим: Василий сидит на крыше и мерно стучит молотком, у крыльца свалены доски, что-то вроде смо-

лы варится в котелке над костром. Хорошо как! Хлопают дверцы. Мы высыпаем все из машин. Пахнет свежеструганным деревом, пахнет краской и пахнет жасмином. «*Естественно, ведь за домом огромные заросли,*— говорит бабушка.— *Слева, вон там*». Она спокойно и по-хозяйски оглядывается, а Муса бегают по лужайке в ковбойской рубашке и джинсах и кричит звонко: «Ура! Я в Кротово! Правда?» В лесу кукует кукушка, июньский воздух прозрачен и чист, небо ясное, и таким же оно останется больше двух месяцев. Да, удивительно, но за всё это время — ни дождичка, и, конечно, нам это на руку; работы не останавливаются ни на день, и дело спорится, дом становится крепче и крепче, и вот уже можно подняться по лестнице на верхотуру, глянуть в окно и увидеть на цифру восемь похожую кляксу пруда, пятнышко мягкой курчавости зелени, сад — ровные ряды яблонь, теперь одичавших, дорожку, ведущую в поле, и чёрную раму леса, а внизу, близко, — накрытый к обеду стол под деревьями, и блики солнца, играющие на белой, в крупную красную клетку скатерти, и букет флоксов в большой круглой вазе, и стулья с плетёными спинками. Август. Август склоняется к сентябрю. Цветут тёмно-красные астры, темнеют плоды шиповника, у берёзы золотистая седина. «А теперь группируемся перед домом. Дети вперёд, живописные позы, стиль ретро»,— распоряжается весело Валерьян, фотографирует Епифанов. Он приезжал к нам за лето три раза. Сначала один, потом с дочкой Татьянкой. Татьяна — ровесница Кеши, и Муська отчаянно к ней ревнует. «Внимание, сейчас вылетит птичка!» Все смеются, смех возбуждённый. Через час мы уезжаем. Как-то так получилось, что за всё это лето никто ни разу ни нас, ни Кротово не снимал, и сейчас Епифанов навёрстывает упущенное. Отщёлкана уже целая плёнка, осталось два кадра, последний сюжет, завершающий. «Итак, приготовились!» Бабушка в центре. Удобно расположившись в садовом кресле Земницких, она ослепительно улыбается в объектив. Слева от неё мама. Когда они сидят вот так, рядом, черты фамильного сходства видны совершенно отчётливо. Папа стоит за маминим креслом, положив руку ей на плечо. Вполне гармоничная пара. Как-никак они прожили вместе — подумать страшно! — тридцать четыре года. И теперь смотрятся замечательно. Ничуть не хуже, чем Соня и Валерьян. Дети устроились на траве. Татьяна и Муса по обе стороны Кеши. Мусина голова прижата к Кешиному плечу, и он снисходительно разрешает ей это. Картинка, и только — думаю я, глядя искоса, с фланга. «Отличная фотография для семейной истории, — заявляет вдруг Епифанов. — Валерьяша, материал в твою новую книгу». Не слишком удачная шутка. Самое правильное — не обратить на неё никакого внимания. Улыбки. Щелчок, ещё раз. Прекрасно. Спасибо, дамы и господа. Но, Боже мой, как не хочется уезжать! «Вот выйду на пенсию и буду здесь жить круглый год»,— говорит неожиданно папа. Бабушка удивляется: *жить зимой в Кротове было не принято*. Ну ладно, там видно будет, а теперь нужно пойти быстро в дом, в последний раз всё проверить, да и присесть на дорожку. Вот он, последний момент, наступил. Садимся, и сразу же дети испуганно жмутся друг к другу, кот Матвей рвётся прочь из рук мамы, Афанасий Иванович (крёстный Натальи Петровны) неодобрительно смотрит на нас из угла, диванчик, хранящий следы бывшего изящества, протяжно стонет под тяжестью Епифанова, и над всем этим жужжит надоедливо наглая муха. «Окна закрыты плотно?» — говорит Соня резко, и уголок её рта начинает подёргиваться. «Да. Обе рамы»,— с каким-то укором отвечает ей Валерьян. «Нечего вам беспокоиться, я-то здесь близко, я за всем присмотрю»,— смеётся, шурясь и глядя чёрную бороду, Еремеич. Бабушка неторопливо встаёт от стола, первая идёт к двери. Ну всё, поехали: в путь.

А через месяц мы получили от Еремеича известие. И оказалось: наш дом сгорел. Весь. Дотла. Что-то случилось с проводкой — и полыхнуло. Мне сразу же показалось — и до сих пор продолжает казаться, — что эта новость вызвала всевозможные чувства, но только не удивление. Все были готовы к

чему-то подобному и только слабо надеялись — каждый по-своему, — что сия чаша минует. А она миновать не могла. И все удар приняли и, приняв, сразу же оказались в обычной своей, одышкой страдающей и едва сочашейся жизни. Не пришлось даже снимать с себя пёстрые праздничные одёжки. Они в секунду (как в «Золушке») превратились в привычные, кое-где тщательно подштопанные лохмотья. Ну а потом искусственно приторможенное время взялось стремительно навёрстывать упущенное. В декабре, в канун Нового года, от нас ушёл Валерьян. В последние дни он без конца порывался что-то всем объяснить, но его плохо слушали: было не до него, так как буквально в это же время слёг папа. Диагноз был почти ясен, но разве можно, чёрт побери, считаться с каким-то диагнозом? Человек может одолеть всё, что угодно, если он будет бороться. «Мы справимся с этим, ты только немножко помоги нам», — сказала я папе однажды. Он лежал очень бледный и с извиняющейся улыбкой. В феврале его всё же прооперировали, но, вероятно, не слишком удачно. Он прожил ещё целый месяц, и этот месяц был так мучителен, страшен, что состояние, в котором мама оказалась после его смерти, имело вполне естественное, на поверхности лежащее объяснение. Однако от этой естественности никому легче не было, и около полугода мы жили в ежеминутном страхе и напряжении. Но постепенно всё вошло в норму, и даже Кешка совсем перестал болеть, только грубил с каждым днём всё сильнее и всё чаще болтался бог знает где. Последнее продолжает тревожить меня до сих пор и, возвращаясь с работы в унылую тишину квартиры (подобие тепла брезжит теперь, пожалуй, в одной только кухне), я сразу зову испуганно: «Кешка! Ты где?» — и успокаиваюсь, услышав: «Ну что ты кричишь? Надоело». Он очень вырос и изменился в последнее время, устроил себе отдельную комнату, отгородив в коридоре фанерным щитом двухметровую нишу, ведёт непонятные мне разговоры по телефону и сделался чем-то похож на лихую дворняжку Шалаву, жившую в Ластовке у нашего хозяина Василия Емельяновича.

1990



Симбирский дневник генерала А. В. Жиркевича 1915—1922 г.г.

В Симбирск из Вильны в 1915 г. переезжает семья бывшего генерал-майора Александра Владимировича Жиркевича, человека, известного своими широкими связями в литературном и художественном мире.

В прошлом осталась деятельная и наполненная смыслом жизнь. Более 20 лет службы в военно-судебном ведомстве. Разнообразная общественная деятельность, участие в архивных и археологических обществах, работа в «Красном» и «Белом» (оказывал помощь семьям военнослужащих, погибших в мирное время) Крестах.

И многолетнее попечительство в тюрьмах и гауптвахтах Вильны. За деятельную помощь заключённым этих учреждений многие считали Жиркевича последователем доктора Ф. П. Газа, выдающегося тюремного врача, известного своей филантропической деятельностью, который всё своё состояние, время и силы тратил на улучшение участи арестантов и основал больницу для беспризорных.

Осталась в прошлом и литературная жизнь — стихи и рассказы Жиркевича печатались в столичных журналах, выходили отдельными изданиями. Огромная переписка, хранящаяся в архиве Жиркевича, говорит о том, что многих привлекала личность Жиркевича — человека энергичного, с горячим и отзывчивым сердцем, влюблённого в искусство и очень доброго¹. Не останавливаясь подробно на жизненном пути Александра Владимировича до приезда в Симбирск, отмечу лишь некоторые события, предшествовавшие этому переезду.

С начала первой мировой войны Александр Владимирович как частное лицо начинает посещать госпитали и лазареты Вильны, оказывая помощь раненым. Выехав с последним поездом Евангелического лазарета, бросив всю обстановку, имущество, он успевает спасти часть своей огромной коллекции, которую вывозит в Симбирск. Здесь он очень скоро становится общественным попечителем 10 госпиталей, 3 тюрем, военно-гарнизонного кладбища, принимает участие в работе Симбирской архивной комиссии...

С начала революции семья бедствует. Жиркевич перебивается случайной работой — преподаёт на командных красноармейских курсах, в школе кожевенного производства, служит архивариусом в губфинотделе... В 1921 г. от голода и лишений умирает Екатерина Константиновна, жена Жиркевича (внучатая племянница Н. и П. Кукольников), и он остаётся один с тремя дочками.

В эти годы Александр Владимирович совершает поступок, который делает его заметной фигурой среди культурных деятелей Поволжья.

В тяжёлые годы поволжского голода, пережив смерть жены, крушение своих идеалов и готовясь к возвращению в Вильну, он решает оставить городу свою огромную коллекцию живописи, графики, старопечатных книг, предметов историко-литературного значения — «для России и русского народа», как сказано в описи. Назначает сумму в 10 миллиардов, поразившую современников своей незначительностью, несоответствием той ценности, которую представляла коллекция (около 2 тысяч единиц по описи)². Напомню, что инфляция в те дни достигала таких размеров, что 1 миллион приравнялся 1 рублю, пуд хлеба на рынке стоил 2,5 миллиона, ремонт сапог — 30 тысяч рублей, а заказное письмо — 22 тысячи!

Жиркевич страдал, получая деньги, потому что нарушал свои принципы — только дарить в музеи, как делал это в течение всей жизни. Художники Симбирска, советские и партийные

¹ Более подробные биографические сведения см.: «Русские писатели 1800—1917 гг.», т. 2. М.: Сов. энциклопедия, (в печати); в журналах: «Знамя» (1990, № 11), «Наше наследие» (1990, № 3), «Слово» (1991, №№ 10—12); в книге А. Н. Блохинцева «И жизни след оставили своей...» — Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1985; в газетах: «Западный Вестник» (1903, 6 ноября), «Правда» (1922, 3 августа), «Ульяновская правда» (1987, 17 декабря).

² Среди них работы К. Брюллова, И. Репина, И. Айвазовского, С. Заряно, Лампи, Д. Аткинсона, великолепная коллекция рисунка, в том числе рисунок северо-нидерландской школы 1632 г., за который Жиркевичу предлагал богатый американец столько долларов, сколько уместится на рисунке, на что Жиркевич ответил, «что он куплен в России, в России и останется».

власти прислали ему благодарственные адреса, а также 5 пудов муки в подарок и солдатскую шинель, так как Жиркевич продолжал ходить в генеральской шинели, вызывая недоумение у прохожих. Художественный музей этим поступлением увеличил свои фонды вдвое и стал одним из ведущих музеев Поволжья.

Выехать в Вильну Александру Владимировичу удалось в 1926 г. и, после долгих раздумий, лишь для устройства имущественных дел. Но обстоятельства сложились так, что он вынужден был остаться в Вильне. А вскоре заболел и 13 июля 1927 года умер.

Несколько слов о дневниках Жиркевича и работе над ними. Многие годы ни дневники, ни сама личность Александра Владимировича не привлекали большого внимания исследователей, хотя имя Жиркевича неоднократно упоминается в монографиях о художниках И. Е. Репине, В. В. Верещагине, в переписке с писателями Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, поэтами Я. П. Полонским, А. А. Фетом.

Написанный малоразборчивым почерком, а в последние годы на плохой бумаге и выцветшими чернилами, дневник состоит более чем из 8 тысяч листов и охватывает период с 1880 по 1925 годы.

Особенно в плохом состоянии дневники симбирского периода (главным образом, времени революции и послереволюционной разрухи). Некоторые страницы невозможно прочесть — расплылись чернила и рассыпаются от ветхости страницы. В одном месте А. В. Жиркевич помечает, что тетради «находились в земле и воде», видимо, прятались от обысков. Многие тетради обрызганы крысами... А вместе с тем в них такой огромный событийный материал (Жиркевич пишет каждый день, и очень много). И становится очень грустно при мысли, что вряд ли они будут полностью когда-нибудь известны читателю. Страницы предлагаемой публикации даются в очень большом сокращении.

В 1971 г. младшая дочь Жиркевича — Тамара Александровна — начала работу над дневниками своего отца, которые, по завещанию Александра Владимировича, находятся в Государственном музее Л. Н. Толстого. Она составила картотеку упоминаемых лиц, в которой сейчас свыше 4 тысяч фамилий, занималась расшифровкой записей и сделала краткие выписки из дневников, благодаря чему стало известно содержание их. С доверчивостью и искренним желанием быть полезной делилась Тамара Александровна своими воспоминаниями, страницами дневниковых записей с каждым, кто проявлял интерес к личности Александра Владимировича¹. Благодаря её труду Александр Владимирович нашёл своего читателя. На одной из страниц автобиографии Жиркевич записал: «...Мои дневники, мои альбомы с фотографиями и автографами! Мой литературный архив! Кому всё это сейчас нужно, интересно, поучительно... А что-то говорит мне, что меня ещё вспомнят, если документы моей жизни сохранятся...»

«...Думаю, что когда меня не станет, меня ещё вспомнят тёплым благодарным словом, простив те вольные и невольные прегрешения и ошибки, которые мною совершались, так как будучи человеком, обыкновенным смертным, я не мог не заблуждаться, не падать, не причинять зло ближнему, особенно при борьбе за правду...»

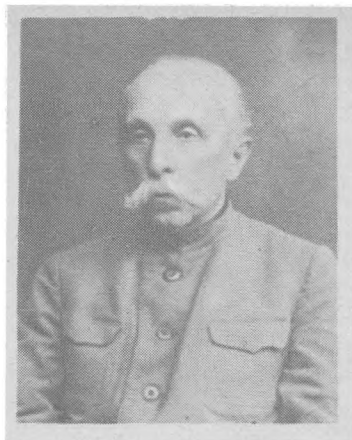
Приношу благодарность за помощь в составлении комментария сотруднице Ульяновского краеведческого музея Мирре Мироновне Савич и знатоку симбирской истории краеведу Александру Николаевичу Блохинцеву.

Н. ЖИРКЕВИЧ-ПОДЛЕССКИХ

¹ Уже после смерти Т. А. Жиркевич в альманахе «Дружба» (1988, № 1, Чебоксары, Чуваш. кн. изд-во) были напечатаны страницы дневника Жиркевича об И. Я. Яковлеве. К сожалению, автор, которому Т. А. в течение многих лет выписывала и присылала страницы дневника об И. Я. Яковлеве, нигде об этом не упоминает. К тому же автор публикации довольно вольно обращается с текстом, о чём я писала в редакцию альманаха. Обо всём этом можно было бы не вспоминать, но опасение, что исследователи революционной эпохи Симбирска 1916—1922 гг. будут обращаться к этой, во многих случаях неточной, публикации как к дневнику Жиркевича, вынуждает сделать оговорку. Именно поэтому я с особой тщательностью сверила текст по рукописи.

...Один мой знакомый, которому я проговорился о том, что не могу отстать от вредной привычки вести дневник, воскликнул: «Да когда же их и писать, как не теперь! Надо, чтобы будущее поколение узнало о том, как нам жилось, что делалось в России...» А мысль, пожалуй, верная.

Из дневника Жиркевича. 10 января 1918 г.



1925 г., 11 окт. перед отъездом
в Вильну

1915 г.

26 октября. Каждый день ложусь с намерением завтра пойти по симбирским тюрьмам, встаю с тем же намерением. И не могу начать работу! Эта война, возня с вещами, приведение в порядок моего личного архива... Сколько нахлынуло воспоминаний, связанных с сожалением о былых ошибках. Чувствую, что и силы уже не те ... А главное, с нашим отъездом из Вильны и полуразорением, иссякли источники моих благотворительных доходов...

28 октября. Вчера я собрался с духом и посетил местный исправительный приют, который и местные газеты, и в обществе почему-то зовут «колонией малолетних преступников»... Огромный фруктовый сад с дивным видом на Волгу, оранжерея, огороды. Прекрасные две библиотеки, курсы садоводства, пчеловодства — для юношей. Симпатичная церковка, недавно устроенная купчихой Петуховой. Многое, многое говорит о тех трудах, которые положены в основу материального благосостояния колонии.

18 ноября. Надо вмешаться! Чёрт знает, что делается с нашими ранеными — солдатами из госпиталей, поступающими в местные команды выздоравливающих, а затем в запасные батальоны... В лазаретах их нежат, лечат, стараются показать им всяческое уважение, любовь за их страдания и подвиги. Но едва они выходят из лазаретов, как в командах выздоравливающих, в запасных батальонах попадают в руки мерзавцев офицеров и унтер-офицеров, которые бьют их, как животных, и всячески унижают. Со всех сторон от частных лиц слышу про это. Избиения иногда происходят на площадях всенародно.

1916 г.

5 января. На праздниках Рождества Христова и Нового года я был во всех местных тюрьмах, поздравлял узников с праздниками... До Р. Христова я просил начальника исправительного арестантского отделения снять кандалы с двух арестантов. Во время праздников я убедился, однако, в том, что кандалы сняты не только с этих двух арестантов, но и с остальных — ввиду моего заявления... Точно все праздники приняли совсем другой оттенок!.. Конечно, всё это мелочи. Но Бог с ними, с большими делами и предприятими... Сделать бы что-либо небольшое, но прочное, осязательное, полезное, облегчающее ужас страданий...

29 января. Никогда ещё язвы России не были мне так ясны, как во время войны, когда я работал в тылу. Кажется, в «Сатириконе» была в начале войны удачная карикатура: русский солдат мужественно, с оружием наперевес, готов отразить врага, а в его тело впился сзади обезумевший интеллигент-бюрократ. Солдату приходится бороться с такой ношей за спиной... и побеждать. Это ли не герой! И их-то пороть?! Вот бы выпороть Сухомлинова, Ренненкампа и других генералов, оказавшихся причиной и виновниками наших неудач в борьбе с немцами... Зато как любят драть они чужие задницы!

30 января. Опять приступ малодушия и тоски. Точно я сейчас лишь родился на свет Божий и узнал, что в России, особенно в провинции, всякая мразь, вроде Безбородова, творит то, что ей заблагорассудится, не справляясь с законами. И бороться в одиночку

с этой гидрой бюрократизма можно лишь не в чаянии победы, а потому, что сдаться без борьбы всякому случайному проходимцу было бы равносильно перестать уважать самого себя... Порют солдата, а наносят оскорбление мне, как носящему военный мундир, как сыну того же русского народа. И ждут, что все будет подло, трусливо молчать. На это рассчитывают насильники, друзья произвола и вакханалий грубой силы... Бедный наш Государь! Неужели порка солдата в действующей армии была произведена при его сгласии?!

16 февраля. В женской тюрьме я нашёл-таки ларь для подаяния, года три тому назад выброшенный. С трудом мне удалось заставить поместить ларь в видном месте. И уж начали класть в него подаяния. Само собой возник вопрос о том, что надо же сделать на нём соответствующую надпись. Я избрал изречение из Евангелия, поставленное мною эпиграфом к моей книге «Пасынки военной службы», о посещении, во имя Христа, больных и т. п. «Ибо алкал я и вы пришли ко мне...» Но зная, что даже такая надпись непременно вызовет у идиотов-чиновников придирки, в душе смеясь над своими опасениями, сократил текст Евангелия от Матфея.

13 марта. Со слов офицеров 97 зап. бат., где командует 5-ой ротой и заведует учебной командой поручик Перепёлкин, этот проходимец с удвоенной энергией бьёт, истязает, изводит на учениях и вне учений нижних чинов, многие из них ходят с окровавленными шрамами на лицах от нагаек, которыми эта сволочь их бьёт. Но жаловаться боятся, т. к. начальство поддерживает такого офицера, а протесты, жалобы поведут лишь к ухудшению положения несчастных солдат. Кому же за них заступиться? Получается нечто ужасное... Да, мы готовим будущую революцию...

2 апреля. Вчера с музыкой шли на вокзал солдаты, отправляющиеся из госпиталя. Рядом, мешаясь с ними, таща за собой ребятишек, шагали бабы. Какие драмы! Какие трагедии!.. Солдатики делают вид, что им весело... Сколько отправлено из заведомо больных... Музыка гремит, народ глазееет... Бедные бабы с заплаканными лицами тащут пожитки мужей, братьев... Те же тяжёлые сцены, когда идут и идут на вокзал, призванные на службу новобранцы. Воят бабы. Эх! горя-то сколько!

6 апреля. Благодаря моим воззваниям и благодарностям, печатаемым в «Симбирянке», текут ко мне пожертвования для моих раненых и больных деньгами, махоркою, гармониками и балалайками...

7 апреля. Имел великое счастье вчера в тюремной инспекции видеть циркуляр всем губернаторам России, разосланный по приказу министра юстиции главным тюремным управлением, о слепых арестантах (кажется, от 30 марта). Значит, на моё заявление о слепых обратило правительство внимание! Боюсь радоваться, однако, наученный горьким опытом... Хотя бы одно великое, правое дело удалось довести мне до конца!!

8 апреля. Полковник Иорданский рассказывал, как он поднял дело о нанесении раны офицером Матвеевым раненому солдату и как его рапорт пришили к делу — и только. Бедная моя Родина, сталкивающая народ с такими представителями интеллигенции и бюрократии... И после всего этого разве можно удивляться, что всякие народные бунты, восстания, революции у нас носят на себе следы мстительности, расплаты с отдельными личностями, что они так варварски кровавы и ужасны! Мы готовим почву для чего-то ужасного, что должно разыграться после войны внутри России...

20 апреля. Чудный, весенний день как бы озарил трогательный день поминовения усопших... Захожу в женскую тюрьму и слышу, как арестантки вместо сквернословий, которыми сопровождалась ранее их работы по мытью, глаженью белья, вполголоса поют хором молитвы. Да так тихо, скорбно и хорошо, что плакать хотелось, вспоминая их участь. Это результат влияния на них монахинь Лидии и Викторины и священника о. Цветкова. Ходил около здания тюрьмы и соображал, как бы пристроить недорого, удобно алтарь и часовню. Думал я и о том, где бы найти жертвователя на эту будущую церковку... Вызвал в контору тюремных деток, раздавал конфеты. Бедные невольники-узники — без прогулок. Даже не видят зелени. А личики скорбные. Господи! Да что же это такое? Тянут вопрос с приютом, несмотря на мои напоминания... Так хотелось вчера — деревьям, небу, людям сказать: «Милые! Хорошие! Радуйтесь недолгой земной радостью!..»

3 мая. Вот наступил и четвёртый год смерти нашего Гули*! Кто-то его, бедного, вспом-

* Жиркевич Сергей (1889—1912). Старший сын Жиркевича. Окончил Кронштадтское морское училище. Скоропостижно скончался в 22 года.

нит в эти дни всеобщей скорби, ужаса и неизвестности? Тогда была холодная, сырая весна в Кронштадте. А в Вильне пели соловьи и благоухали деревья. И он так любил весну... Так ясно рисуются картины Гулиных похорон. Печальное торжество проходит в памяти в наиболее ярких картинах. Точно слышишь звуки похоронных маршей... И затем тишина на кладбище; всё успокоилось, всё ушло от мирских радостей и шума... Вечный покой... А мы с Катей всё это пережили, и Бог дал силы нести крест и думать о других детках...

11 мая. Мне давно хотелось сделать за город прогулку с несчастными детьми несчастных узниц местной женской тюрьмы и тем показать начальству тюрьмы пример. А то бедные детки толкуются на вонючем дворе тюрьмы или бегают на площадке Старого Венца, под надзором часового у ворот и матерей, глядящих из окон. Какая же это прогулка! И весна проходила у них без цветущих деревьев, без пения птиц... Вчера я сделал первый опыт, пойдя на прогулку с более старшими (их набралось пять из 11-ти), взял и мою Тamarочку. Ходили далеко, в рощу «Колки», по берегу Волги. Гуляли часов пять. Конечно, дети были рады свободе, прынкам. Особенно Митя (9 лет) — любознательный, симпатичный мальчик. Его интересовали пароходы и соловьи, и встречные типы рабочих, татар... Всё было для него ново... Детки первый раз слушали соловья, кукушку, набрали для матерей цветов, шалили, играли. А я радовался, довёл их до ворот тюрьмы. Калитка открылась и поглотила их...

12 мая. На Свято-Духовом кладбище, старом, заброшенном, я разыскал могилу Минаевых. Трудно себе представить более поэтический уголок для места вечного успокоения. Разлив подошёл к самому кладбищу. Густая трава между могилок. Кукушки с хохотом гоняются друг за другом. Они и другие птицы, благодаря отсутствию посетителей, почти не боятся и садятся совсем близко. Около могилы Минаевых — несколько деревьев, и над моей головой щёлкал соловей и перекликались иволги. Могила имеет памятники, решётку. Но всё это приходит в запустение... Вспомнились подробности жизни Минаева* и с кем они были знакомы. Сколько славы и какое забвение потомства!

15 мая. Множество богомолок с котомками, палками, в крестьянских костюмах бродит по Симбирску: сошлись группами ко дню приноса сюда Жадовской иконы. Это напоминает мне паломничество простого народа в Вильне и в Смоленске... Только теперь, благодаря войне, мужчины отсутствуют... Трогательны эти паломницы в грубых костюмах, с загорелыми лицами. Какая сила веры привела их сюда!

24 мая. Был у меня молодой художник А. А. Пластов, ещё учащийся в Московской школе живописи и ваяния. Его рисунки, несомненно свидетельствующие о таланте, которые я видел у Архангельского, обратили на себя моё внимание. Архангельский попросил у меня разрешение показать Пластову мои коллекции рисунков. Вот он и пришёл. Молодой человек (чуть ли не сын псаломщика, дьячка) пробыл себе ещё дорогу. В его словах чувствуется и любовь к искусству, и энергия, и настойчивость. Я долго ему показывал содержание моих портфелей — и оба мы измучились... Чувствуется в словах молодого художника сомнение, уверенность в успехах, некоторое дерзновение. Что ж? Это и хорошо, для начинающего особенно. И молодость без этого скучна и приторна...

25 мая. Недавно баронесса Остен-Сакен удивлялась в письмах ко мне тому, что я не вижу того, что всё, чем люди жили (вера, совесть, искусство, культура), всё растоптано в грязь и погребено безвозвратно... Теперь иногда и на меня нападает сомнение... Бедные мои дети, живущие в семье, где царствуют прежние идеалы! Как тяжело им будет жить в озверевшем обществе...

28 мая. Хочется отметить работу дряхлых, больных стариков. В исправительно-арестантском отделении видишь неустанную работу диакона Твёрдышева. В «Красном Кресте» неутомимо работает священник. Протоиерей Ахматов, о. Цветков, другие старики не сдаются времени и хотят показать миру пример служения Родине даже на скромных, незаметных поприщах. А старушка Филатова, сестра милосердия в Зеленковском госпитале! Ей под 80 лет. А работает, как молодая. И не унывает, и не мечтает об отдыхе. На днях её встречаю опаздывающей в госпиталь. Оказывается, что накануне водила вече-

* Минаев Дм. Дм. (1835—1889) — поэт-сатирик, автор многих сатирических стихотворных произведений. Родился и умер в Симбирске.

ром солдат в кинематограф (который, по её словам, ненавидит). Все из госпиталя разбежались, разбежались — на летнем положении. Солдатики же остались бы без удовольствия. Тогда старушка в адскую духоту, жару, в толпу ведёт солдат. Это ли не умирительно?!

2 июня. Вчера был в женской тюрьме во время проноса Чудотворной иконы Казанской Божьей Матери (Жадовской). Арестанток для встречи вывели во двор с ребятами. Долго ждали икону. Наконец её принесли. На открытом воздухе пели молебен узницы под руководством монахинь. Потом я попросил духовенство принести икону в больницу. Её понесли по всему зданию. В каждой палате служили особый молебен. Надо было видеть радость, умиление арестанток, их слёзы... Многие плакали навзрыд. В больнице есть умирающая (от чахотки). Когда выносили икону, она дотаскилась до порога и легла, чтобы над ней пронесли икону. Когда пронесли, она спрашивает: «Коснулась ли её икона?». Ей говорят, что коснулась. И она счастлива. Она уверена в том, что Бог исцелит её — экая вера! Все мы присутствующие (и тюремщицы) плакали. И я молил Бога, чтобы он сотворил чудо... Но Бог где-то далеко... И несчастную уже соборовал о. Цветков. Она уже наполовину мертва, ничто её не спасёт... Но счастье веры подержит её до конца и надежда поможет перенести терпеливо последние муки жизни.

1 июля. Разврат взвинчивания цен торгующими, фабрикантами дошёл до невероятных размеров. Например, за эту тетрадку я заплатил 1 рубль 10 копеек. В мирное время она стоила 30—40 копеек. Средний класс убивает на покупку необходимого последние сбережения. Зато торговцы нажили себе на чужом горе целые состояния. Правительство до сих пор не выработало ничего, что удержало бы этих разбойников от грабежей среди белого дня.

2 июля. Я добился своего: стал начальником самого большого и самого распущенного госпиталя в Симбирске, над приведением которого в порядок придётся поработать. Теперь у меня 10 госпиталей, из них все самые крупные. Сам их себе взял.

5 июля. На базаре народ, особенно бабы, стали громить лавки с припасами, вызваны были войска. Но всё же разгромили бакалейную лавку купца Абушаева, растащив сахар, конфеты и прочее. Народ возбуждён и, по слухам, назавтра намерен продолжать безобразия... Сегодня прошёл по базару. На Гончаровской зеркальные окна магазина сукон Степанова — все выбиты... Кое-какие магазины и лавки закрыты. В окнах других — иконы (вспомнили жулики-купцы о Боге!). Всюду отряды войска, полиции... В воздухе пахнет новым погромом. Конечно, нельзя допустить безобразий и самоуправства черни. Но, с другой стороны, что же сделали Ключарев и С° для того, чтобы обуздать грабителей-купцов и уменьшить их аппетиты?

6 июля. Нового разгрома в городе не было... Купцы, кажется, загрузили... Зато бабий элемент, наиболее заинтересованный в том, чтобы дёшево и свободно получать из лавок припасы, ходит с рожками победительниц. Наша Марья тоже в повышенном настроении.

А пока Симбирск волнуется такими вопросами, в Париже хоронят Мечникова, в Германии голодают, а на позициях всё затихло в ожидании продолжения бойни...

7 июля. Боюсь, что мои предположения начинают оправдываться и война, чем бы она для нас ни кончилась — победой или поражением, — разрешится вспышкой революции, которая сметёт бюрократию, но вместе с тем уничтожит много памятников культуры... И во мне крепнет убеждение, что Родина моя — на краю гибели.

9 августа. Вчера пришли ко мне из госпиталя в доме Зеленкова четыре нижних чина... Меня тронула одна подробность визита. Наша кухарка Марья рассказала Кате, что пока я не вышел к посетителям, один из них всё робел — как бы ему не досталось за то, что он пошёл беспокоить генерала. Но товарищ вполголоса его успокаивал, говоря: «Чего робеешь, генерал как отец родной к солдатам». Я узнал о таком разговоре тогда, когда посетители ушли.

12 августа. Нашёл неопишуемые беспорядки в Чувашском земском госпитале, куда пришёл для основательного осмотра: всюду грязь, солдаты одеты в грязное бельё, которое на некоторых из них не сменялось две недели, о гигиене нигде и помину... Заведует госпиталем высвешенник и старый, уже одряхлевший инспектор, затащивший меня к себе на чай и занимавший разговорами о «воспитании» свиней, о бетоне, огородах и т. д. Он и его жена милые люди, в доме их пахнет стариной от обстановки и тем не менее, видимо, ничего не делается для госпиталя. Госпиталь создан отчасти на средства купца

Шатрова*, отчасти на земские. Обстановка двух флигелей госпиталя деревенская, среди садов, на дворах всякого рода поросята, индюшки, утки, гуси. Рассказывают, что старик инспектор Иван Яковлевич Яковлев** — замечательная, чуть ли не историческая личность в мире местных чувашей, много сделавшая для этого народца — в смысле его просвещения.

16 августа. Яковлева рассказывала мне вчера о том, как муж её всю жизнь свою, с юности, посвятил делу просвещения чувашей. Он сам чуваш. Будучи гимназистом, он помогал им, сам нуждаясь. Будучи студентом, делал то же самое. В Симбирске он создал школу, где живут, воспитываются, учатся ежегодно около 500 детей и юношей чувашских. Он же перевёл на чувашский язык Библию и Евангелие. Вообще вся жизнь ушла на осуществление одной и той же идеи. Это ли не подвиг, достойный поклонения?

26 августа. И. Я. Яковлев по просьбе моей прислал мне брошюры, в которых описано, как он создавал Симбирскую Чувашскую школу. Трогательно и поучительно. Впервые знакомлюсь с трудами Ильминского*** (Казанского университета), вдохновлявшего Яковлева на его подвиги. Вот это настоящие деятели! Счастливицы! Они узрели результаты своих трудов.

28 августа. Заходил к И. Я. Яковлеву поблагодарить его за присланные мне брошюры о Чувашской Симбирской школе. Старик стал, по обычаю, болтать о пустяках, путаясь и перескакивая с предмета на предмет, а жена его начала останавливать и убеждать не рассказывать мне то, что меня не может интересовать. Но вот она ушла, а я перешёл на Чувашскую школу и труды в ней И. Я. Яковлева. Старик сразу оказался в своей сфере и рассказал много интересного о своих отношениях к проф. Ильминскому, о своих старых знакомых по Симбирску, о симбирском прошлом. Слушая его, я задумал записать с его слов про его детство и отрочество — в связи с первыми шагами его на поприще просвещения чувашей.

Двери квартиры Яковлевых не запираются, и в комнату, где мы сидели, постоянно заглядывали интеллигентные и неинтеллигентные чувашские физиономии. Кое-кто и входил. Яковлев им говорил «ты». Видимо, тут особый мирок, особые отношения. На дворе — мужицкие телеги, лошади. Привозятся ученики. Валяются их пожитки. Чувствуется, что Чувашская школа — нечто не похожее на обычные учебные заведения. И лица приехавших школьников особого типа. Всё это меня интересует и волнует. Хочется ближе познакомиться с особым миром, вызванным к жизни энергией одного человека, из простого мужика-чуваша ставшего действительным сановником, инспектором (директором) учебного заведения, человеком с высшим образованием, с именем, популярностью далеко за пределами Симбирска...

1 сентября. А. Ф. Кони прислал мне книгу свою о докторе Гаазе с такой трогательной для меня надписью: «Искренне уважаемому последователю Фёдора Петровича Александру Владимировичу Жиркевичу от автора».

2 сентября. А. Ф. Кони назвал меня последователем Гааза. Это ошибочно. О докторе Гаазе и его деятельности я, к стыду моему, узнал лишь из статьи Кони. Задолго же до этого, ещё будучи юным офицером, я уже работал, хотя и робко, неуверенно, на ощупь, в деле облегчения участи узников, особенно военных, бывая в казармах, на гауптвахтах, в тюрьмах... Но ознакожившись с жизнью и работой доктора-гуманиста, я много нашёл себе духовной поддержки в его примере.

19 сентября. Ф. О. Ливчак**** рассказывал мне о том, как чуть было не попал на убийство симбирского губернатора Старинкевича революционерами. Подходя к город-

* Шатров Н. Я. (1853—?) — купец 1-й гильдии, владелец крупных суконных фабрик, в 1909 году пожертвовал участок земли и деньги на строительство двухэтажного здания Чувашской школы. Был её почётным попечителем с 1883 по 1917 г.

** Яковлев И. Я. (1848—1930) — выдающийся чувашский просветитель, создатель чувашской письменности, организатор Чувашской школы в Симбирске, центра просвещения и культуры чувашей.

*** Ильминский Н. И. (1822—1891) — профессор Казанского университета, выдающийся языковед, директор инородческой учительской семинарии. Единomyшленник и наставник И. Я. Яковлева.

**** Ливчак Ф. О. (1874—1919) — архитектор, построивший в Симбирске ряд зданий. Сын известного Жиркевичу виленского преподавателя математики и изобретателя.

ской управе, он услышал взрыв, от которого разлетелись стёкла в окнах, видел, как несли раненного осколками снаряда губернатора. Преступник же, бросивший бомбу, бросился с Нового Венца вниз, по круче, в сады и пропал бесследно. У Старинкевича была масса ран, в которых застряли куски платья. Дня три он страдал ужасно и скончался от заражения крови. На месте его ранения, в стене, вделан образ с лампадою, сделана надпись. Безумцы революции думали подобными злодеяниями запугать бюрократию и только создали ряд мучеников, кровью их спаяв тот самый строй, который разрушить хотели...

28 сентября. Максим Горький вызвал полемику своим заявлением, что Русь наша не «святая», а грешная. Да разве можно назвать ту часть Руси, где царствует бюрократия, «святой». Конечно, нет. И в жизни «мародёров тыла» разве есть что-либо «святое»?.. Но у народа нашего есть душа в его наивной вере, в его наивном доброделании, в его наивных обычаях, преданиях и прочем. Вот тут наш народ «свят»... И этот «святой» народ сейчас спасает Родину от врагов. Но он же, оставаясь «святым», по неведению, по способности жить под чужим влиянием, зальёт ту же Родину кровью, если после войны настанет революция... В этом весь трагизм души народной... Народ изобьёт преступника, сволочёт его в тюрьму и сам же начнёт посещать его как «несчастенького», жалея его и прося его молить. Вот типичная черта православной святости. Когда эта «святость» исчезнет, погибнет моя Родина. Всё идёт к этому концу. И в душу народа, в её «святая святых», всё чаще и чаще плюют наши безумные интеллигенты, у которых в душах нет ни Бога, ни чёрта...

17 октября. Была у нас старушка Филатова... Как всегда, просит за кого-нибудь из раненых или больных солдатиков. Одна из «святых» русских женщин, о которых народ сохранит добрую память... Надо удивляться молодости её души... В минувшую зиму ей захотелось проводить на вокзал одного раненого солдата. Она и отправилась пешком. Усадила его в вагон. Народу была масса — переводившихся раненых, солдат, уезжавших на позиции, провожавших их зрителей, и старушку изрядно потолкали. Но она осталась ждать момента отхода поезда. Тут её позвал прощаться в вагон другой солдат. Она вторично влезла в вагон, и там давка была ужасная, так что выбраться она не могла вовремя. В это время поезд тронулся, и её повезли до Киндяковки (ближайшая станция). Там она слезла. Решила до города дойти пешком (5 вёрст), идя по линии железной дороги, а потом полем. Встречные мужики с подводами не хотели её подвозить. Наступили сумерки, стало темно. Поднялась вьюга. Падая, спотыкаясь, чувствуя, как слабеют силы её, она всё шла и шла. Со стороны Киндяковки было слышно, как воют волки. Она знала, что тут под городом недавно кого-то ограбили. Наконец нашёлся мужичок, ехавший с мешками картофеля в город. За 15 копеек он её подвёз до города, на мешках... И рассказывает она это всё шутя, просто, точно о чём-то заурядном.

20 октября. Что-то фатальное лежит на всём, к чему прикасается наш добрый, благородный Государь. Так и теперь с его вмешательством в дела действующей армии, после небольшого успеха армии Брусилова, настала эпоха новых неудач и заминок, подрывающих дух армии, бодрость в тылу... Продолжаю наблюдать в госпиталях, среди больных и раненых, влияние наших неудач. Хочется написать Государю, чтобы он уехал из армии... Но пиши не пиши — всё останется по-старому. Государь окружён льстецами, которые уверили Его, что он великий полководец.

2 ноября. Бывают дни, когда болезненная, малодушная усталость охватывает меня: лежал бы, спал целый день, никого бы не видел. Но вчера я обежал все мои госпитали, поздравляя раненых и солдат с новым разрешением им отпусков из лечебных заведений... Всё шёл, шёл и говорил солдатикам одну и ту же радостную весть. Как они, бедные, оживились... И в результате я едва передвигался к вечеру, едва говорил. А главное, вдруг напала тоска: видел более тысячи людей и, точно почталовно, разносил кому радость, кому горе... А мне самому ничего, ровно ничего в ответ!.. Ах, Гуля, Гуля! Иногда хочется, сидя в кабинете ночью, когда звёздочки заглядывают ко мне из мрака в комнату, крикнуть: «Гуля! Мой милый Гуля! Откликнись!» И знаешь, что никогда-то он не отзовется на самую жаркую о нём молитву. А чистая сердцем моя Катя его иногда видит во сне...

22 ноября. Москва. Приехал лечиться на короткое время, а уже скучно, сиротливо мне без обычной работы в симбирских госпиталях и тюрьмах, и я, проснувшись по обыкновению рано, сидя в отвратительно грязном и дорогом номере мебелированных комнат на Мясницкой, коротаю время за писанием дневника... Слякоть, трескотня, звонки трамваев, рёв автомобилей, толпа, вспышки электричества — всё это не гармонирует с моим наст-

роением: я за эту войну, как сова, привык прятаться от шума, света, людей... А тут содом и гоморра, точно войны и нет! И так мне было сиротливо здесь...

Заходил к М. В. Нестерову. Он и его жена приняли меня сердечно. Я у них долго сидел, пил чай. Нестеров показывал мне свои новые картины (самой же большой, неоконченной он мне не показал). Как всегда, картины его отличаются оригинальностью техники и наивно-народным духом. На одной из них, у скита, изображены две молодые инокини: одна полная мирских радостей и страстей, другая — преданная подвигам аскетизма... Но ещё более интересна и полна тихой скорби картина, изображающая на берегу реки греющихся у опушки леса трёх старцев иноков. Место настолько глухо, что лисица безбоязненно бежит к ним (или мимо). Старческий закат полон бодрящей поэзии... Хорош и лес, нестеровский, тощий, задумчивый. Трудно оторваться от угасающих старцев, которых уже солнце не греет, природа не восхищает, но которые угасают без страданий, без страха смерти, отжившие своё на земле... Удивительный художник Нестеров и милый, сердечный человек. Два часа я провёл у него... Говорит интересно, умно. Очень прост и сердечен. На этажерке портреты царской фамилии с автографами. В квартире — уютно. Висит прекрасный вариант «Святой Руси», на котором Христос измождённый, усталый, грустный — настоящий «русский Христос», чего нет в фигуре Христа на той картине, с которой у меня фотография, подписанная Нестеровым... Мне было приятно посидеть перед картинами Нестерова: снова во мне затеплилась жажда к искусству, к «миру».

8 декабря. Симбирск. Заходил в 97-й запасной полк покопаться в деле рядового Аввакумова, приговорённого полевым судом за три дня самовольной отлучки, при добровольной явке, к 10-ти годам каторги... Типичное дело, где бессердечие, мёртвое отношение к закону, незнание его, а главное ложь (сознательная гнусная), погубили молодого крестьянина, которому не исполнилось 21 года, лишив строй хорошего солдата и бросив на каторгу напрасного страдальца... А я вижу, как заполняется симбирская тюрьма более и более незаконно, напрасно осуждёнными.

17 декабря. Государь обратился с воззванием к армии по поводу мирных предложений, сделанных нашими врагами. Давно это надо было сделать. Но, Боже! Как безграмотно, нелогично, вяло, а местами и детски-наивно составлен этот исторический документ, кроме последних фраз, в которых проскальзывает искреннее чувство. Кто стряпает в России такие документы? Так и кажется, что последние фразы писал сам бедный наш истстрадавшийся Государь, а всё остальное ему сфабриковал какой-нибудь штабной.

23 декабря. Убийство в Петербурге знаменитого Григория Распутина сразу захватило скучающее общество в тылу и отодвинуло на задний план злободневные вопросы войны и мира. Конечно, личность Распутина — историческая. Мужик-бродяга, грубо-чувственный, безграмотный и наглый, десяток лет управлял бюрократической Россией, назначал и валил министров, митрополитов, влиял на решение вопросов внутренней нашей политики. И это при всеобщей ненависти народа русского, при поддержке кучки психопатов и психопаток высшего круга. Ходят слухи, что Распутин убил какой-то великий князь, сбежавший затем на Кавказ под охрану великого князя Николая Николаевича. Кого ни встретишь, все радуются смерти грязного временщика и ликуют... Всякое убийство отвратительно... Одна барыня вчера мне сказала: «Ну, теперь, со смертью Распутина, всем будет лучше жить в России». Само собой разумеется, что это сказано глупо, но такое заявление знаменательно...

24 декабря. Куда ни придёшь — всюду радость, что убили старика представители нашей «золотой молодёжи», убили скопом, заманив в ловушку. А в «Русском слове» рассказываются про жизнь и смерть Распутина такие подробности, что каждая из них прежде всего — пощёчина нашей аристократии, двору и косвенно — царскому дому. Воображаю, что творится в Царском Селе... Недаром Государь туда экстренно приехал из Царской Ставки, бросив армию и вопросы войны.

26 декабря. Принимаю участие в слепом арестанте Соколове, достаю ему книги с точным шрифтом, веду о нём переписку с Петроградом и т. д. Месяц тому назад Соколов мне заявил, что его хотят перевести из Симбирска... Я его успокаивал, говоря, что где бы он ни был, я всюду буду о нём помнить, найду его и не оставлю в трудную минуту.

31 декабря. Последний день старого, умирающего 1916 г. ничем хорошим Россия не помянет...

5 января. Вчера начал день хорошо с госпиталя, а окончил беспутно на шикарном вечере у Ливчаков, где были и дамы в дорогих туалетах с бриллиантами, и инженеры, и бешено стоящий (по нынешним ценам) ужин с вином и закусками. Мило сыграли сценку дети. Потом недурно сыграли другую родственник м-ме Ливчак и инженерша в шикарном туалете, наружностью и причёской напоминая даму времён придворных балов Марии Антуанетты. Было шумно, весело, шикарно и до преступности по нынешним временам дорого... Тамарочка, кажется, от души веселилась с ребятишками. Вернулись в половине второго ночи. Я понимаю, что Ливчаку нужно устраивать такие вечеринки для поддержания связей, для заказов. Но как всё это звучит резким диссонансом при событиях военных и внутренних, которые переживает Россия!

13 февраля. Пришла от министра юстиции телеграмма, в которой сказано, что по Высочайшему повелению приказано слепых арестантов Соколова и Абрамова (тех самых, за которых я месяцев 9 просил и министра юстиции и Главное тюремное управление) освободить с каторги и отдать в богадельню общего призрения. Соколова я уже не застал в тюрьме. Арестанты говорили, что, узнав об освобождении, бедный плакал, смеялся, благословлял меня и просил передать его благодарность... Надо поддержать Соколова и материально на первых шагах его свободы. Вот и ещё одна ближайшая цель жизни.

17 февраля. Вчера разыскал в губернаторской земской богадельне слепца Соколова, вымытого, чисто одетого, накормленного, в тёплом помещении, имеющего свою кровать. Дал ему на новоселье немного денег и вообще аттестовал его в богадельне как человека безопасного и несчастного... Случай освобождения с каторги слепого арестанта и помещение его в богадельню, т. е. на положение относительной свободы, первый в России.

28 февраля. Я узнал, что в 1864 г. губернаторский дом, тот самый, в котором жил дедушка мой Ив. Ст. Жиркевич*, не сгорел, а лишь обгорел: стены, расположение комнат остались прежние. Мне представляется, как в этом огромном доме жил с женою удивительно скромный, бедный и деловой Иван Степанович и творил разносы чиновникам, пошаливавшим с законами. У меня всегда было особое чувство благоговения перед памятью деда, перед его неподкупной честностью и преданностью долгу. У меня многие из его недостатков: горячность, неуживчивость со злом и беззаконием, неумение заискивать, устраивать своё благополучие и кланяться сильным мира сего...

2 марта. У нас был врач Листов, сообщивший сногшибательную новость! В Петрограде из состава Государственной Думы образовалось Временное правительство, арестовавшее Протопопова и других министров.

3 марта. Вчера я как раз диктовал то место записок, где указывал на разруху в военном тылу, на розги, на гнусные приговоры военно-полевых судов, на подлость и глупость военного тылового начальства, предсказывал, что мы готовим в народе и войсках кадры будущей революции. Только я думал, что революция вспыхнет по окончании войны, а она вот когда начинается.

Хорошо, что Гули нет в живых!..

Конечно, среди прискорбных явлений есть радостные: бюрократизму нанесён страшный удар и её непогрешимости наступил конец.

Мы с Катей жалеем Государя. Оплакиваем трагический закат его царствования, столь неудачного.

Да будет счастлива и славится Россия!!

5 марта. Вот и пришёл прощальный, скорбный, полный благородных желаний манифест бедного Государя — об отречении. А всё-таки нет того величия падения, какое было у Наполеона, когда он подписал акт отречения... Наполеон не мог более бороться и сложил оружие. Государь мог и сам дать народу то, что у него теперь вырвали из рук насильно.

Всегда я был заклятым врагом бюрократии, и все мои печатные труды были направлены к обличению подлостей и преступлений старого режима. Но жаль самодержав-

* Жиркевич И. С. (1789—1848) — участник Отечественной войны 1812 г., генерал-губернатор Симбирска и Витебска. «Человек большой энергии, прямодушный и резкий, на всех постах боролся со злоупотреблениями, казнокрадством и взяточничеством» (энц. словарь Брокгауза и Ефрона). Автор мемуаров о своём времени, печатавшихся в «Русской старине» в 1874 — 1890 гг.

вия, на принципах которого я воспитывался с детства... Но если мой народ действительно в такой опасности, как говорят и Государь, и Временное Правительство, то да здравствует всякий, кто спасёт его, кто поможет победить врага и создаст славное будущее России! Только плохо верится в торжество новых начал — свободы, равенства, братства... Ах, как тяжело на душе...

6 марта. Сегодня, едва я пришёл, начальник тюрьмы объявил мне, что тюрьма меня ждёт с нетерпением. Он показал два прошения арестантов на имя Родзянки и Керенского, в которых они просят всех их, триста человек, освободить из тюрьмы на позиции. Когда я пришёл, набралось арестантов такое множество, что было трудно протиснуться. У всех лица возбуждены. Кто-то из арестантов стал глумиться над Государем, над прежним правительством и сказал, что царя и правительство прогнали. Я остановил его, сказав, что Государь сам ушёл, отрекшись от престола, а вместо прежнего правительства есть новое, временное, что мы не без правительства и это правительство приказывает нам ждать дальнейшего. «Как это есть правительство! Как это само ушло! Выходи, братцы!» И с шумом, с бранью, грозно на меня взглядывая, вся ватага человек в 250 повалила вон. Я скоро остался с несколькими арестантами. Прошедшее меня огорчило, т. к. при таком настроении в тюрьме может вспыхнуть бунт, за которым последует усмирение, может быть, и кровавое...

18 марта. По городу продолжают распространяться слухи о том, что я арестован за то, что предсказывал арестантам возвращение Николая II, правительства и т. д. Приписываемые мне слова так глупы и невозможны, что и возражать на них не следовало бы. Ливчак совершенно верно называет их «провокационной сплетней». Он ведь хорошо знал, задало до революции, мои взгляды на правительство, на необходимость дать конституцию.

Вчера у Ливчаков спрашиваю самого маленького их сына, лет двух: «Кто ты такой?» — «Свободный гражданин», — отвечает ребёнок. Конечно, это и забавно, и мило.

25 марта. Собственно говоря, у нас в России не революция. Все так устали, что рады были броситься в объятия всему новому, обещавшему невозвращение к прежнему. Все сразу и на всё согласились. Если б не это единодушие и общества, и армии, и народа, то разве Россия в три дня признала бы Временное правительство?

26 марта. Вчера тронул меня молодой Аввакумов, спасти которого с каторги я так старался, но которого спасла революция. Он пришёл ко мне в солдатской форме благодарить за участие в его судьбе. Я сказал ему, что, к сожалению, мне не удалось ему помочь. За что же он благодарит? Оказывается, он не может забыть, как я его нравственно поддержал в тюрьме, в каторге надеждою на избавление, сообщая ему о предпринятых мною мерах. «Без этого куда тяжелей было бы мне в тюрьме, — говорит юноша. — А тут всё надеялся. Спасибо вам». — «Спасибо и тебе, Аввакумов, за доброе слово!» Потом он конулся пакости, проделанной со мною 5 марта уголовными арестантами, и так хорошо сказал: «Вот когда они вас, ваше превосходительство, так огорчили!» Милый, милый! Именно «огорчили». И злобы против них у меня не было ни на минуту. А чувство «огорчения» и сейчас живёт во мне; точно кто-то нанёс мне рану, и рана эта ещё не зажила, не даёт благодаря боли забыть прошлую обиду... Спасибо, что хоть один вспомнил меня из множества, на которых я работал...

29 марта. Всё растёт и растёт в моей душе обида на Государя. Великое зло принёс он России позорным финалом своего жалкого царствования. Неужели он не видел сам, что не способен быть самодержцем и управлять огромным, сложным государством... Всё более и более грязи выливается в газетах на царскую фамилию... Но более всего на меня произвело впечатление сообщение генерала Алексева с характеристикой Государя как безвольного, поверхностного, вечно под чьим-либо влиянием находившегося, душевно неглубокого человека, только мешавшего работе на фронте...

30 марта. Бывая в разных присутственных местах, я заметил, что выброшены все портреты царей и цариц прошлого и нынешнего века, кроме портретов Александра II, освободителя крестьян, давшего нам суд и другие великие реформы, которыми мы и сейчас, во время революции, живём. Глупо было изгонять портреты Государей. За редким исключением все они что-либо да внесли в жизнь Родины хорошего, полезного. Меня возмущает такой способ оплевания своего же исторического прошлого. Точно дети или сумасшедшие... «И в детской резвости колеблют твой треножник». А я пошёл и купил портрет наследника Алексея и повесил у своей кровати.



Портрет Жиркевича (первый) работы Репина.
Ульяновский художественный музей

В ночь с 1 на 2 апреля. Гадины прежнего режима, придавленные переворотом, пробуют пристроиться к делу при новых течениях. Полковник Безбородов, образчик беззакония, произвола, жестокости, ловко изменил свою окраску. Мне хорошо известно, хотя бы по делам военно-полевых судов, какие неправильные, умышленно-жестокие приговоры утверждал этот мерзавец. И вдруг он, слетев в Казани с должности на генеральском положении, вернулся в Симбирск в качестве начальника гарнизона, в котором он поздравляет «товарищей офицеров и солдат» со «светлым праздником», причём желает им «здоровья на многие годы для деятельной, плодотворной работы на благо дорогой нашей свободной, воскресшей из мёртвых России». Жаль, что в Симбирске плохо знакомы с биографией этого субъекта... А я никогда не занимался доносами...

6 апреля. Был у И. Я. Яковлева. Познакомился с его сыном, похожим скорее на англичанина, чем на русского. Музыкант, техник, механик, изобретатель. Знает в совершенстве три языка. Это — сын чуваша, крестьянина. Ах! Если бы все дети наших крестьян взлетели так же высоко, как этот молодой человек, теперь работающий на каком-то аэропланном заводе! Тогда бы и «революция» не вылилась бы

в столь грубые, безобразные, неэстетические формы... Хитрый старый «чувашский бог» выжидательно настоужился, никуда, по возможности, не показывается и ждёт, пока каша общественно-государственная не сварится. Изредка и к нему врываются «освободители»... Старика и на дому не забывают. И он, сидя у себя в халате, напоминает обленившегося дедушку Крылова, блудливо питается симбирскими сплетнями. Хворают. Ждёт смерти. А сам полон интереса к жизни, наблюдателен, с юмором, с отличной памятью и аппетитом. Старость, которую у нас принято называть «завидной».

8 апреля. К нам приходил прощаться перед отъездом в Петроград сын художника Пузыревского, через несколько недель оканчивающий Морской корпус. Несчастный юноша ждёт не без тревоги производства в офицеры и выпуск во флот, где, по его словам, распушенность матросов после переворота приняла ужасающие размеры, особенно в Кронштадте... Он рассказал потрясающие душу подробности о том, как был убит адмирал Вирен. Он гулял с каким-то мальчиком по Кронштадту, когда его подстерегла толпа убийц. Мальчика отвели домой. Вирена же, прежде чем убить, истязали: сначала живому выкололи глаза, потом отрубили ему руки и ноги. Затем навалили на тело камни и сожгли. Так же убивают (конечно, с вариантами) и других начальственных лиц. Офицеров живыми бросали в проруби, а когда кто-нибудь выплывал, то били по голове до смерти... Я не любил Пузыревских вообще, но потрясённый, перепуганный юноша мне был вчера глубоко жалок, я представил себе нашего Гюлю на его месте...

10 апреля. Чем более развивается весна, тем отвратительнее то, что совершается в России и на всём свете... К газетам по-прежнему не тянет, и даже то, что печатается в похвалу совершающегося, только возмущает и ужасает за Родину... Немцы двинули в Балтийское море из Либавы и Киля огромный флот с десантом. Неужели Бог даст им занять преступный, развратный Петербург и тем положит конец похождениям этого современного Содома и Гоморры? Если бы я мог молиться, то не молился бы за это

гнездо бюрократизма — и старого и нового, революционного... Мне жаль художественных, исторических памятников и сокровищ, собиравшихся веками, готовых попасть в руки врагов внешних — из рук врагов внутренних, не умеющих их ценить... Жестоко покарает Господь мою Родину за то, что она забыла Бога, Христа.

Даже такая болотная лужа, как Симбирск, не отстаёт от остальной России, охваченной безумством анархии, произвола... Но стоит ли всё, что я вижу, описывать?

В Симбирске появилась своеобразная заборно-либеральная литература. Против окон нашей квартиры тянется забор удельного ведомства. Кто-то на нём написал разные изречения на революционные темы. Одно из них интересно: «Прошедшее не могут воротить даже сами боги!».

11 апреля. Изредка ко мне подходят на улице солдаты и бывшие арестанты, знавшие меня по тюрьмам и госпиталям, с разными просьбами об устройстве их на места. По возможности я стараюсь удовлетворить их желания. Вчера меня порадовал один раненный в руку солдатик, остановивший меня на улице. Потом он долго сопровождал меня по городу и вёл со мной откровенную беседу. Милый, кроткий и чистый душою и телом человек деревни. Более всего его, бедного, смущает то, что проделали с Государем. Он так мне и говорил: «Как же это так, господин генерал? Как скоро покончили с царём? Разве это можно? Многие солдаты его (царя) жалеют». Потом перешёл на положение в армии, из которой бегут в деревни, бросая позиции, десятки тысяч солдат... Вся наша беседа была на эти жгучие, скорбные темы, об анархии и произволе. Так отрадно в чужой обезумевшей толпе встретить родственную душу, узнать, что таких душ немало ещё на Руси, что они готовят, быть может, спасение моей бедной Родине...

14 апреля. Вчера меня глубоко, странно взволновала милая, сердечная открытка А. Ф. Кони. Он старше меня и давно уже болен различными недугами. А вот нашёл себе и при новом режиме работу, да ещё какую чудесную — очистить судебные уставы императора Александра II от разного рода позднейших, бюрократических наслоений, исказивших девиз их: «Суд скорый, правый, равный для всех». За такой работой сладко было бы и умереть... Ещё пишет Кони, что думает перебраться на покой куда-либо на юг или восток, может быть, в Симбирск, который ему нравится. Неужели же это может совершиться, и я ещё раз пожму руку этому удивительному сфинксу, так много для меня сделавшему. Но сильно разочарует Кони нынешний Симбирск. В нём и умирать-то отвратительно, это не тот город, который когда-то так радушно встречал А. Ф. Кони в дни Гончаровского юбилея.

16 апреля. Не могу понять, как многие не видят того, что ясно мне рисуется в нашем политическо-общественном состоянии... На мой взгляд, ничто у нас в России с воцарением революционных элементов не изменилось. К бюрократии, прочно осевшей в штабах и канцеляриях, продолжающей здравствовать и при Временном правительстве (лишь верхи её выброшены, да и то не везде), присоединилась ещё бюрократия революционная, по-моему, ещё более отвратительная, т. к. от неё веет невоспитанностью и хамством, что мне всегда было противно...

18 апреля. Вчера с Катей мы были у Яковлевых. В помещении рядом с квартирой шёл экзамен в выпускном классе чувашской школы по пению. Экзаменовались девочки. Яковлев предложил нам присутствовать на испытании. Я пробыл в классе часа два. Кроме меня, Яковлева и Кати, были ещё преподаватель пения в школе Максимов, священник и учитель чувашин из той же школы. Я точно в рай попал, видел, как детей из простонародья подняли до положения учительниц в народных школах, прекрасно изучивших многие предметы, в том числе и музыку, пение, для того, чтобы потом стать регентшами в хорах сельских храмов. Некоторые девушки (у большинства их калмыцкие физиономии и раскосые глаза) прекрасно играли на фисгармонии, особенно одна, безукоризненно исполнившая Бортнянского. Я высказал Яковлеву и Максиму те чувства, которые меня волнуют при виде того, как и государственный переворот не остановил великого по результатам, но малого по наружности, непоказного дела просветления простого народа. После сумасшедшего дома попасть чуть не в храм, где совершается «разумное, доброе, вечное», — это ли не блаженство для уставшей, измученной, потрясённой души?

4 мая. Случайно в «Новом Времени» прочитал такую характеристику русского человека, сделанную много лет тому назад М. Горьким (я о ней, однако, не знал). «У рус-

ского две души: одна душа — азиатка, ленивая, дикая; другая — славянина — тоже вроде первой — неустойчивая, рабская. Из комбинации этих душ получается гражданин земли русской... А на днях он напечатал в издающейся иногда теперь газете «Новая жизнь»: «Я издавна чувствую себя живущим в стране, где огромное большинство населения — болтуны и бездельники». Он же находит, что в России 170 миллионов человек и 340 миллионов душ, признавая, что и в нём самом сидит две души, что он «должен смертью убить именно ту часть его души, которая наиболее страстно и мучительно любит живого, грешного и — простите — жалкого русского человека». А ведь надо признаться, что хотя «Новое Время» и вышучивает подобные признания Горького, в них много правды, если не всё — правда. И читая заметку, я находил, что в моих дневниках я давно говорил то же самое. Но М. Горький недоговорил одного: в «жалконьком», «грешном» русском человеке, в душе его, как Божий дар, хранится «святая Русь» — та простая вера в Бога, та привязанность к Родине, к святыням и старине, та доброта, жалостливость и умение сохранять в себе человеческое при самых бесчеловечных правительствах, наконец, та совестливость, которая не раз спасала Россию, когда русский народ, в минуту самого тяжёлого её существования, сбросив с себя азиатское, начинал творить свою историю по-человечески... Верую, что так будет и теперь...

5 мая. Бедные мои Катя и детки! Все они перешли с хорошими отметками в следующий класс, а Маня окончила с золотой медалью. И нет возможности их чем-либо порадовать: средства наши иссякают, а дороговизна жизни растёт. Сказал бы я им слово утешения. Но и слов-то таких у меня нет в запасе. Лгать же не хочется. Да они знают сами, что Россия гибнет...

Устроились кое-как в скромной квартирке. Я, по привычке, развесил остатки коллекций картин, которые собирались мною не для меня, а для Родины. И глядя на них, думаю: кому всё это нужно, интересно...

7 мая. Читаю последний номер «Русского слова». В статье «В Петропавловской крепости» описывается, каким лишениям подвергаются Сухомлинов, Вырубов и др. «жертвы» революции. Например, в виде особой милости им разрешено иметь свои подушки, а Вырубовой два матраца, ей же разрешено не убирать свою комнату, что должны делать бывшие министры, старцы дряхлые и с разными недугами...

9 мая. Мне, как выброшенному революцией из живого дела, на днях пришла мысль, что если бы у меня не было семьи, я бросил бы всё и уехал жить за границу, для того чтобы там и умереть... Удивляюсь, как русские люди, могущие благодаря огромным средствам бежать из России, этого не делают, а сидят и киснут в приятном ожидании, что их убьют или ограбят. Но, может быть, и бежать-то уже нельзя?..

Нет, старой власти не надо. России нужна новая власть — какая бы она ни была, но пользующаяся всей силой власти, карающая, всеми признаваемая, всеми поддерживаемая... Я её заранее признаю, хотя бы она была в руках большевиков...

12 мая. Болтовня, болтовня, болтовня на митингах, собраниях, в кабинетах новоспечённых министров и общественных деятелей. И сейчас всё это печатается в газетах в поучение и для успокоения. А как успокоишься, когда видишь, что ныне эта эпидемия болтовни только и составляет политическую жизнь России? А внутри мы идём через анархию к голоду и контрреволюции.

13 мая. В газете сообщается о перенесении останков лейтенанта Шмидта в Севастополь с острова Березани, где он был казнён. О Шмидте рассказывал, как о психопате, моряк, художник Володько, женатый на его сестре (от него у меня имеется картинка, написанная с натуры, — «Бунт лейтенанта Шмидта»). Хорошо его знала скрипачка Сабурова, муж которой, морской офицер, был товарищем Шмидта. По словам Сабуровой, Шмидт был человек низкой нравственности, жестокий, бессердечный, бивший и истязавший подчинённых ему солдат, которые его ненавидели, в то время как сослуживцы, морские офицеры, его не уважали и не любили. Володько же мне передавал, что при смертной казни Шмидт всё рассчитывал на помилование или спасение, совершенно упал духом, плакал, обращался с протестом и мольбами к частям войск, которые его должны были расстрелявать, вообще держал себя не как герой, а как самый заурядный преступник. Боялись, однако, что в те дни революционного брожения во флоте моряки, солдаты откажутся стрелять в Шмидта... Почему будто бы к острову было придвинуто какое-то военное судно. Помню, как, слушая его, я жалел несчастного Шмидта — так позорно, безумно и малодушно погибшего... И вот суждено мне дожить до дней, когда жалость эта улеглась в душе к казнённому, а закипает к его па-

мати нечто вроде негодования при чтении о том шуме, гвалте, театральности, которые устроили ныне около его костей. Пожалуй, причислят к лику святых революционеры и его, и Гапона, и других, из-за которых пролилось столько крови невинных, простых солдат и рабочих...

15 мая. В газете какой-то моряк описывает, как он производил обыск у бывшей императрицы Марии Фёдоровны, как он залез к ней без церемоний в спальню, приказал ей держать руки поверх одеяла, отнял у неё любимое её Евангелие.

16 мая. На мой взгляд, интеллигенция, в лучшем смысле этого слова, в отношении Родины совершила одно из величайших преступлений, дав свободы народу, не доросшему до них.

Сидел я среди развалившихся солдатских могилок, беседовал с кладбищенским сторожем, вдумывался в моё положение попечителя кладбища. Кладбище у огромного гарнизона одно, и для всех оно совершенно чужое, неинтересное. Не могу добиться рабочих. Во рву солдаты продолжают гадить, приходится восемь вёрст идти пешком (туда и обратно), т. к. обещанной лошади не дают. Если и назначают для работы солдат, то без офицеров, без лопат. И они слоняются по кладбищу без дела. Мужики, а не солдаты. Животные, а не люди. Говори им сколько хочешь о великих покойниках, лежащих на кладбище, о значении кладбища вообще, о гарнизонном в частности. Они слушают зло, сонно, бессмысленно и продолжают ничего не делать, гадить во рву и ломать деревья... Все эти солдаты в большинстве, несомненно, добрые, хорошие, чистые люди, которые способны в личной жизни на многое хорошее, но в массе, в кучке явно — стадо баранов, ждущее пастуха, с окликом, палкой и сноровкой управлять стадом. Такова вся Россия.

Прочёл приказ Керенского об отмене не только в армии, но и в военно-тюремных заведениях телесных наказаний, а в армии ещё и наказаний, вредных для здоровья или унижительных. Слава Богу. Дожил и я до такого счастья...

18 мая. Сегодня на Гончаровской улице ко мне подошло несколько солдат, в которых я узнал бывших арестантов местных тюрем. Подошли они ко мне с улыбками, как к равному, и такое отношение их ко мне меня крайне обрадовало. Один из них объявил, что все они приняты на военную службу и чувствуют себя отлично на свободе. Он же мне сказал, что, увидев меня, заявил товарищам: «А вот наш генерал. Пойдём к нему». Ничего они у меня не просили, а спешили выразить радость по поводу встречи со мною. Им известно, что меня прогнали из тюрем. Один из них сказал мне, что, пока жив, не забудет, как я добился того, что его расковали...

20 мая. Сегодня, после нескольких месяцев возни и осложнений, мною подвешен на военном братском кладбище колокол в 10 пудов... На колоколе изображены Георгий Победоносец и надпись, мною же сочинённая, такого содержания: «Этот колокол отлит в ноябре 1916 года на деньги, пожертвованные чинами Симбирского гарнизона в вечную молитвенную память о воинах, которые, будучи присланы в Симбирские госпитали из действующей армии, скончались в них от ран и болезней, полученных при исполнении служебного долга в войне с Германией, Австрией, Турцией, за Веру и Родину, и погребены на гарнизонном кладбище, да вещает он потомкам о подвигах доблести здесь, в Бозе почивших».

24 мая. В газетах такие ужасы и мерзости, что я перестал записывать мои впечатления: Видимо, Временное правительство, сейчас заправляющее Россией, скоро будет свергнуто или разбежится. Мы попадём во власть социал-демократов и покорно пойдём под это ярмо, как идут волы, меняющие хозяина. И жутко, и тошно, и беспросветно...

Наша кухарка Марья встретила в городе безобразную процессию. Солдаты под начальством офицера водили по городу полуживого, избитого чернью, окровавленного вора в солдатском платье, у которого на губах был прикреплен замок. Как говорили в народе, это безобразие нарочно сделано для устрашения других воров. Точно живёшь в средние века, а не во дни свобод. Да, впрочем, стыдно говорить о свободах, когда всё опрокинуто, поругано, осмеяно, оплёвано... И жить становится стыдно. Отменили телесные наказания, а ввели телесные пытки — вроде пытки, устроенной этому вору в устрашение свободных граждан... Быть может, несчастный один из тех, кто сходились меня слушать в местных темницах!

26 мая. Вчера был у нас Ливчак. Их дом окнами выходит на так называемый «колючий сквер». Прежде, до революции, в сквере было тихо, бродили няньки с детьми и щebetали птицы. Теперь, весь день, в тени, валяются ничего не делающие солдаты, а к ве-

черу они же с девками — няньками из детского приюта устраивают безобразные оргии, благодаря чему порядочная публика обходит сквер боязливо. У Ливчаков же вечная тревога за детей, которые видят и слышат то, что по их возрасту им бы знать, наблюдать не следовало.

27 мая. Получил со всеми другими пенсионерами прибавку в 30 рублей в месяц. Всего же я буду получать 130 р. 57 коп. А если бы в 1908 г. согласился по секретным столыпинским циркулярам вешать политических, как делали мои товарищи и сослуживцы, то я или служил бы до сих пор с огромным жалованьем, или получал бы двойную пенсию сравнительно с той, какую мне выбросили (да и то с усилением по болезни). На днях я чуть было не подал заявление Временному правительству о сравнении меня на счёт пенсии с теми, кто за то же число службы по позднему закону, вышедшему, когда я был уже в отставке, получают больше меня. Но до сих пор так и не решился на такой шаг: боюсь, как бы меня не сочли за тех, кто выпрашивает подачки у революции.

31 мая. Тяготит меня жизнь без работы. Бывало, пойдёшь в госпитали, в тюрьмы и вернёшься нравственно и физически измученный, с сознанием, что поработал на благо ближнего. Вернувшись же, примешься за писание писем, бумаг о нуждах раненых солдат и заключённых...

26 июня. Была у нас вчера Е. А. Яковлева (жена «чувашского Бога»). Она рассказывала о том, что делают на дворе в саду Чувашской школы расквартированные в части помещений школы солдаты. У церкви они устроили себе на вольном воздухе отхожие места так, что, выйдя из дома, рискуешь попасть ногою в человеческие испражнения. Теперь идёт чувашский съезд, почему на днях в церкви при школе было торжественное богослужение. И что же? Солдаты под открытыми окнами храма, точно в насмешку, устроили игру в орлянку. В храм, во время богослужения, доносились звуки гармошки, ругательства играющих, пение и нецензурная брань. Яковлевы пробовали разыскать начальство, чтобы образумить солдат. Но начальство отсутствует. Солдаты проломали забор и завладели садом, где гадят и всё ломают. По словам Яковлевой, последние призывы влили в гарнизон какие-то оборванные, дикие, необузданные отбросы населения с каторжными физиономиями и ухватками. Говорить с ними бесполезно. И Яковлевы живут в постоянной тревоге.

29 июня. Перечёл толстовского «Холстомера» и в судьбе его нашёл сходство с моим нынешним положением. Прекрасная по художественным красотам вещь, которую Л. Н. испортил, «подпустив немного философии» в назидание человечеству... Вспомнился и сам Толстой, несмотря на старость, прекрасно сидящий у крыльца барского дома в Ясной Поляне на лошади. А я стою на крыльце... Набрасывая своего «Холстомера», не думал ли Толстой о собственной старости?..

2 июля. Бывший император Николай II выразил желание подписаться на 500 тысяч на заём свободы. Это прекрасный жест бывшего самодержца по адресу революции, продолжающей клеветать на него и его семью...

14 июля. Как существует Россия, армия её не покрывала себя таким позором! От двух рот немцев бегут целые дивизии... А Керенский и С⁰ продолжают испражняться воззваниями, призывами, увещеваниями... В газетах заявление генерала Корнилова о введении смертной казни...

Да здравствует Революция, обещавшая России свободу, равенство, братство, запретившая смертную казнь и телесные наказания. Давно ли всё это было дано... И уже отнято у народа. Можно ли более основательно сесть в лужу с громкими фразами и глупыми обещаниями...

28 июля. Миллионы брошены на изображение Керенского, других губителей Родины. И это в то время, когда Временное правительство кричит о том, что у него нет средств на войну, а в тылу надвигается денежный крах. Не могу видеть этой противной рожи Керенского, торчащей в окнах магазинчиков, киосках...

А как обрадовало меня когда-то Временное правительство. Как много я ждал и от него, и от нового курса! И вот вышел не только мыльный пузырь, но гнойный нарыв на больном, худосочном теле исстрадавшейся России, который никак не может прорваться и грозит всему организму русского народа заражением крови, т. е. смертью.

25 августа. Ночью плохо спал. Молился, проклинал и малодушествовал. Малодушествовал ввиду того, что небольшой капитал наш тает и скоро семья моя будет терпеть нужду. Звал Господа. А он молчит. Катя и две старшие девочки чувствуют его в храме, в обрядах. Для меня и этого нет. Готов бы служить, чтобы заработать кусок хлеба для семьи. Но кто меня, старика генерала, возьмёт на службу?

Вчера ездил на кладбище. Попал под грозу с дождём и градом... Слушал рассказ сторожа об его нужде и стыдился своему личному страху за будущее... Дождь образовал на кладбище такую грязь, что нельзя было походить между могилами. А я люблю посидеть одиноко на скамейке, за часовой, и послушать, как шумит, то усиливаясь, то затихая, ветер в деревьях... Хорошо! Мирно на душе! И чего-чего только не вспоминается. Какие тени только не встают из прошлого. Живёшь точно в сказке: «миг один — и нет волшебной сказки и опять душа полна возможным».

26 августа. Тоска была вчера так сильна, что я пошёл к Яковлевым. Мне удалось его расшевелить, затронув его любимую тему, — о том, как переводилось им на чувашский язык Евангелие. По всему, что мне от него же было ранее известно, на чувашском языке нет многих слов для выражения отвлечённых понятий. Это предположение моё задело вчера Яковлева. Он достал мне экземпляр чувашского Евангелия и стал его переводить на русский язык. А Некрасова, дочь его, читала те же места по-русски. Конечно, я был прав. Евангелие на чувашский язык переведено так, чтобы только сохранился смысл того, о чём повествуется. При переводе Яковлев (и его сотрудники) пользовались не только текстами Евангелия на русском, греческом, латинском, немецком и др. иностранных языках, но и взглядами православной церкви и комментариями, толкованиями учителей церкви. Получился не дословный перевод с русского, а текст, в котором удержан смысл, общий всем Евангелиям... Всё неясное, спорное оставлено, согласно русскому тексту, в неясности. Мне кажется, что перевод Яковлева, при таких условиях, более близок к духу Евангельскому и содержит в себе меньше ошибок... Яковлев мне охарактеризовал работу — перевод Евангелия — взглядом Ильминского на значение часов в жизни человеческой. Часы бывают разнообразны, но все они должны быть устроены так, чтобы показывать одно и то же время. Суть во времени. Так и в Евангелии сущность — в смысле текста, а не в тех или иных выражениях. Вчерашний вечер значительно меня успокоил, и я спал хорошо, без тревоги. Мне нравится, что Яковлев всегда, когда касается своих трудов по делу просвещения чувашей, себя ставит на второй план, а на первый выдвигает Ильминского. Да оно на самом деле так и было. Без помощи, указаний, протекции Ильминского его заела бы наша бюрократия, он ничего бы не сделал путного. Помощь Победоносцева явилась благодаря лишь Ильминскому. Сколько можно было сделать при старой, царской бюрократии, несмотря на её недостатки! И как трудно провести что-либо теперь, при бюрократии революционной! Это я на себе испытал и испытываю.

1 сентября. Страшно видеть, как в народе, в армии, обществе замирают последние вспышки патриотизма. Всё заменено ужасом ожидания только дурного, неотвратимого, рокового. Опять в ходу спиритизм, книги мистического содержания. Хотят забыть, заглянуть в будущее, поторговаться с судьбою. Нанесён безумный удар интеллигенции в сферах культуры, религии, патриотизма, нравственности семейной, общественной жизни... Иными словами, убивается дух нации. В этом отношении мы быстро шагаем назад к временам Николая I, если не глубже... Не вижу, не вижу нигде Бога... Не могу ему молиться...

6 сентября. В Симбирске объявлено военное положение... Город точно вымер...

8 сентября. Вчера провёл вечер наедине с И. Я. Яковлевым. Наши беседы почти всегда проходят в столовой. В прошлый раз Яковлев мне подарил с подписью переведённое им на чувашский язык Евангелие. А вчера подарил предисловие к Евангелию, т. е. повествование о том, как перевод делался. Посижу в квартире Яковлева, послушаю его рассказы, вслушаюсь в его беседы с проходящими к нему чувашами — и точно вберу в себя особый воздух, точно вхожу в жизнь, ничего общего с царящим в России сумбуром не имеющую. Несомненно, революция ударила и по чувашам, много развалив, испортив, осквернив из того, что делали Ильминский и Яковлев. Старик это чувствует, сознаёт и не любит касаться язв чувашского самосознания, происшедших от революции. Среди чувашей появились даже большевики. Усилилось отпадение от православия в магометанство (к татарам). Это искренне печалит Яковлева. Но он относится к явлению с точки зрения невозможности бороться с ним его, Яковлева, силами. Вчера он с радостью сообщил мне, что и революция не вызвала в чувашах сепаратного течения (в смысле отхода от России), тогда как среди татар и других магометанских народностей такие настроения наблюдаются, и даже в довольно сильной степени.

10 сентября. С «республикой» вышел какой-то конфуз. Керенский её провозгласил и ею точно подавился.

Революция, хотя и проходит у нас сумбурно, принесла и много пользы — в том отношении, что, сметя Двор, высшую бюрократию, сразу же обнажила наши язвы.

Кто знает, не сыграет ли Россия огромную роль в человечестве (как народ) именно с того момента, когда перестанет быть государством. Быть может, России действительно суждено воскреснуть в Христе, когда она совершенно будет развалена и уничтожена как государство и нация. Всё истинно русское, истинно национальное сказано в прошлом. И мы от этого прошлого неотделимы. Я нарочно перечитываю наших знаменитых стариков, их сочинения, биографии. Оттуда глядит на меня настоящая Русь... Иногда губы говорят: «Россия погибла», а в душе живёт иное, т. е. что она, имея такое прошлое, не погибнет. И веруешь, и теряешь веру, и вновь ею загораясь. Так жизнь и проходит. Суждено умереть, не дождавшись конца светопреставления.

17 сентября. Я никогда не думал, что центральной фигурой, озаряющей моё прошлое, был Л. Н. Толстой... К воспоминаниям о встречах с ним всё чаще и чаще обращается моя совесть. Ими, этими воспоминаниями, я проверяю степень моей добросовестности отношения к окружающему. Что бы сказал по поводу такого-то события Л. Н.?.. И Л. Н. из гроба даёт мне благие советы. По-прежнему я во многом с ним не согласен. Я вижу противоречия, ошибки, пристрастия и озлобленность в его загробных советах. Но не могу не любить его за правду, такую, какую он признаёт...

Как забыт у нас в России Д. Д. Минаев! В Симбирске многие и не подозревают о том, что могила его здесь находится... Уж если забыт Минаев, когда-то гремевший на всю Россию, то чего же ждать от потомства (и современников) нам, так называемым рядовым писателям?.. Минаев такое несправедливое забвение предвидел. Недаром он завещал похоронить себя на заброшенном кладбище, вдали от городского шума, на кладбище, которое весной заливают Волга. Весной там сказочно хорошо. Птицы до того не пуганы посетителями, что соловьи свищут над головою и кукушки занимаются флиртом в нескольких шагах. Трава по колено. И в ней полевые цветы. В иных местах могилы незаметны за травой и кустами... Тишина невозмутимая...

Зашёл вчера проведать моего родственника А. О. Жиркевича, имеющего на Новом Венце свой дом. Старик всегда считался красным, грезил о свержении в России самодержавия и радовался революции. А теперь... Теперь и следа не осталось от этих настроений. Кричит об отсутствии правительства, вопиет о твёрдой власти, дисциплине.

19 сентября. Вчера вспоминал мои посещения Ясной Поляны. Я припоминаю, что у Л. Н. Толстого была манера избегать споров. Он любил вслушиваться в чужую речь и огорошивать резкими репликами. Но споров избегал, хотя чувствовалось в его манере слушать, какое впечатление сложилось у Толстого в душе. Лицо его было очень выразительно, и он не умел скрывать своих переживаний...

Толстой осудил бы меня, заботящегося о спасении обломков, обрывков, клочков старой бумаги и пр. Помню, как он резко отозвался на моё сожаление, что в Севастополе на бастионах разбивают бульвары и тем уничтожают следы Севастопольской эпохи. И снова я с ним не спорил. Этот человек имел способность заставлять избегать массу вопросов во время беседы. А обо многом в голову не приходило заводить споры, зная хорошо — по сочинениям великого всеотрицателя, — как он к этому отнесётся. И в конце концов, бывало, не знаешь, о чём говорить. Тут приходит на выручку графиня Софья Андреевна, и начинается бытовая, общежитийская тема. Сейчас же, однако, чувствуешь, насколько такого рода разговоры пошлы под сводами Ясной Поляны.

7 октября. До выработки типа настоящих «граждан» долго ещё нам блуждать от ярма к ярму. Без ярма же, как показал опыт нашей революции, мы существовать не можем. Пало иго самодержавия. Мы поспешили сунуть рабскую шею в ярмо ига революционного. Многие уже мечтают об иге немецком. Некоторые готовы идти навстречу старому самодержавию — бюрократическому произволу. Русский человек тоскует по порядку, таске и началству. Мы были рабами всегда, в лучшие эпохи расцвета нашего политического, общественного существования. Теперь мы более чем рабы. Мы «лакеи обстоятельств» и жаждем повыгоднее устроиться...

15 октября. И. Я. Яковлев, как и я, не участвовал в выборах представителей от Симбирска в Учредительное собрание, почти по тем же мотивам — точно мы сговорились. Имя его пользуется огромной популярностью, и каждая партия была бы рада захватить в свои ряды такого представителя, поместив его в списки своих кандидатов. Недаром, по словам Яковлева, на днях приезжал к нему бывший городской голова Агафонов, прося разрешения поместить его, Яковлева, в кандидаты от партии народной свободы.

20 октября. Третьего дня поздно вечером я сидел в помещении костёла, у ксендза Йодко, просматривая старые польские журналы, отбирая то, что мне было нужно, когда в 10 1/2 часов пришёл Йодко и объявил, что в городе неспокойно: солдаты бунтуют, стреляют, громят магазины на Гончаровской улице. Я, конечно, бросил работу и в тревоге за своих поспешил домой. Хотя ночь была лунная, но всё освещалось плохо. Огни в окнах домов были потушены. Только в доме Свободы всё было освещено. Всюду дворники, прячущиеся по задворкам с палками в руках. То там, то тут по городу раздавались одиночные выстрелы. Один раз мне почудилось их несколько сразу. Стреляли и недалеко от меня. Публика попряталась. Я шёл с Шатальной по Стрелецкой, мимо Карамзинского сквера и Кадетского корпуса. Мне навстречу попадались группы вооружённых и невооружённых. Меня не трогали. Только раз по адресу моему я услышал «генеральский гусь», и мне было слышно щёлканье затворов. А затем, когда я прошёл, раздался настолько громкий выстрел, что я вздрогнул, — видимо, не в меня, а вверх. По дороге я от дворников узнал, что солдаты не хотят идти на войну и «бунтуют». Я благополучно дошёл до дому, зайдя к Пузыревским, для того чтобы их предупредить о беспорядках. Но там уже кое-что знали, и Павел Павлович (офицер) встретил меня у входной двери с заряженным браунингом в руках. Дома застал Катю в тревоге. Она уже собиралась идти меня разыскивать. Дети спали, кроме Мани. Ночь мы спали отлично, счастливые, что все вместе...

Вчера днём я опять был у ксендза, идя по той же дороге. В городе было пусто и тихо... Я увидел огромную толпу солдат. Встретаться с толпой мне не хотелось, пошёл другой дорогой, по Гончаровской улице, где нашёл все магазины закрытыми. Детей распустили по учебным заведениям (своих мы удержали дома). Вообще, точно кто-то сглазил спокойный Симбирск и напомнил о том, что гроза погромов, самосудов, бесчинств солдат и черни приближается. Могу занести в дневник, что чувствовал и чувствую себя совершенно спокойно. Тревожусь лишь за семью.

День мы провели все вместе, вечером завешали окна, чтобы не было видно света. Дети понемногу успокоились. Какое счастье иметь свой угол, видеть близких, занимающихся своими обычными делами, здоровых и бодро относящихся к анархии, царящей всюду. А остальное в руках Божьих. Если меня вечером 18 октября не подстрелили, не избили, не ограбили, хотя при луне ясно было видно, что я генерал, то значит, мне ещё для чего-то надо жить на свете.

24 октября. Прочёл в «Русском Слове» молитву, которую читают о нас, русских, в Англии по церквям, согласно распоряжению высшего духовенства. Молитва очень трогательна. Но читал её плача от горя и стыда: о нас молятся как о погибших, как о дикарях, забывших Бога, Христа, совесть и правила нравственности.

26 октября. В городах и деревнях образовались своего рода «буржуи». Это те гнусные, алчные личности, которые, пользуясь общей разрухой до революции и во время неё, составили себе состояние путём искусственного взвинчивания цен на продукты и предметы первой необходимости. Народ, который грабят эти гады, начинает до них добираться... Наша кухарка Марья в восторге от таких погромов, считает их вполне резонными и законными. Так же смотрит и большинство престолярства, которому приходится платить втридорога. Фунт масла дошёл до 5 р. 70 к., горшок молока — 1 р., фунт хлеба — 40—50 к. Как живёт бедняк при такой дороговизне, одному Богу только известно. И вот эти бедняки начинают выражать свои протесты дико, некультурно, жестоко, громя лавки и расхищая товары и припасы.

27 октября. Только что узнал из газеты «Симбирское слово» о том, что в Петрограде Временное правительство низложено и вся власть перешла в руки солдат и рабочих депутатов (т. е. большевиков — иными словами). Храни Бог Россию...

Начинается борьба за власть, и опять та же анархия, в которой всё может погибнуть бесследно...

Был у меня сейчас И. Я. Яковлев (в 12 ч. дня), не читавший ещё «Симбирского слова»... Зная о погромах, он приехал узнать: «жив ли я». А я ему поднёс номер «Симбирского слова», что было для него неожиданностью. Он быстро собрался и уехал домой, зовя меня к себе и обещая устроить мне ночлег, если бы так получилось, что домой возвращаться было бы опасно. Говорил, что в городе много раненых, что есть и убитые, что кадеты и гимназисты возмущены и стреляют в погромщиков и т. д. Я посоветовал ему, чтобы он ехал домой и никуда не выходил дня два.

Приходящие из города приносят нам крайне тревожные известия о погромах, чинимых пьяными солдатами и чернью. Видимо, это ещё цветочки. Ягодки впереди.

Иду спать под одиночные выстрелы, раздающиеся по всему городу, иногда так близко от нашей квартиры, что дрожат окна. В городе объявлено военное положение...

Мы целый день просидели в ожидании чего-либо катастрофического. Маня и Катя вздумали говеть. Тamarочка напугана, но щебечет, как птичка. В провинции недостаток, так как все лавки закрыты. А я хожу по квартире, как зверь в клетке, из угла в угол, простуженный, расстроенный, недоумевающий, читаю Пушкина и придумываю себе занятие, для того чтобы забыть, уйти в иной мир. Моя Катюша спокойна и, как всегда, делает домашние дела.

29 октября. Сегодня снова выстрелы, хотя где-то далеко и редко. Дети спали без тревоги, старшие девочки — Маня и Катя — вчера отговели и тем успокоились. Вечером, после чая, мы, завесив пледами окна нашей столовой-гостиной, собравшись у освещённого лампой стола, вспоминали наше пребывание летом на разных дачах, около Вильны. Повеяло вдруг на меня счастьем, которое когда-то принималось точно нечто должное, т. е. не ценилось, и теперь рисуется земным раем... И наши милые усопшие дети вспомнились, Гуля и Варюша... Всё, всё в прошлом. Даже дрянные, сварливые гувернантки, няньки детей предстали в воспоминаниях более в юмористическом виде. Бедные наши девочки оживились, повеселели.

Я ушёл спать рано, заснул быстро, но перед сном слышал отрывки беседы всё на ту же тему — о былом, светлом, молодом, счастливом пребывании на дачах под Вильной...

1 ноября. Все ждут сегодня дня, как начала погромов «буржуев». Солдат заперли в казармы за погромы. Это их стесняет (в дальнейших грабежах?!), и они хотят мстить тем, из-за которых стеснены... Я обедал у Яковлевых. Кто-то из учителей чувашской школы трудно поправляется после тяжёлого тифа. Жена его сбилась с ног. У них четверо детей-малюток и подростков. Нужда. Яковлева ходит ухаживать за больным. Двое малюток целый день проводят в квартире Яковлевых.

Несколько часов, проведённых вчера в чувашской школе у Яковлевых, внесли в душу мою какое-то особое умиротворение. Несмотря на революцию, семья Яковлевых, представляющая из себя центр интересов служащих в школе, осталась каким-то патриархальным уголком. Даже старинная мебель Раевских, цветы, кое-какие вещи навевают воспоминания о прошлом. Прислуга самая простая. В квартиру входят без докладов. Но милей всего эти ребятишки, прикармливаемые, чтобы облегчить участь больного отца и слабой матери... Тут повеяло на меня чем-то старорусским, помещичьим, хорошим, что скоро совсем у нас исчезнет и едва ли повторится... После обеда Екатерина Алексеевна говорит молодому гостю: «Ну, а теперь помолись Богу». — «А где Бог?» — спрашивает малютка. «А вот где», — и Яковлев указывает на икону в углу столовой. Тогда мальчик начинает шарить рукой по рубашке, воображая, что крестится. Разве это не трогательно?!

5 ноября. Солдаты разграбили имение Перси-Френч*, знаменитую Киндяковку под Симбирском, растащив винный погреб.

...Пани Ядвига, фанатичная полька, стала уверять, что мы, русские, только себя хвалим, а других ругаем... Мне стало досадно, и я дал урок дерзкой девчонке, проведя параллель между поляками и русскими. Ни один народ так легко себя не оплёвывает, вынося о себе всякую грязь на улицу, как русские, что продолжается и сейчас, во время войны и революции, даже на страницах газет, материалом которых, конечно, пользуются германцы. Нет великого русского человека, государственного деятеля, художника, учёного, писателя, артиста, которого бы мы не оклеветали при жизни его и после смерти. Взять хотя бы Толстого, Гончарова и других писателей. О государственных деятелях и говорить нечего. Мартиролог их бесконечен.

5 декабря. Какой-то прапорщик-большевик, командующий войсками Казанского военного округа, издал идиотский приказ об уничтожении офицерских погон, боевых и иных отличий офицеров и солдат. Приказ этот получен и в Симбирске. Многие офицеры уже сняли погоны... Конечно, погоны, ордена и прочая «ветошь маскарада» нужна в армии, т. к. всё это связано с военными традициями, дисциплиной, порядком, красотой воинского строя и звания. Во всём мире все армии имеют такие знаки отличия.

8 декабря. Я снял погоны с пальто без всякого сожаления. Чем и купил себе покой

* Перси-Френч Е. М. — последняя представительница рода Киндяковых, в имении которых Киндяковка происходили события романа Гончарова «Обрыв». В 1912 г., к 100-летию рождения Гончарова, на свои средства построила беседку-ротонду близ этих мест. В 1918 г. уехала в Харбин.

на улицах Симбирска. Солдаты меня не трогают. Офицеры же, узнавая моё генеральство по лампасам, отдают мне по-прежнему честь.

Пока я вчера читал молодёжи воспоминания о Толстом, Тамарочка в соседней комнате занималась чем-то при лампе, взятой из моей комнаты. Сегодня я нашёл надписи, сделанные ею жжёной спичкой на колпаке моей лампы: «Милый пупсик», «Папочка. Я тебя люблю». Ребёнку, слушавшему моё чтение, верно стало меня жалко... Как дети чутки бывают к страданиям взрослых. А Тамарочка моя особенное дитя — «дитя старости», последнее дитя в нашей семье, так называла покойного Ваничку гр. Софья Андреевна. Меня тронули надписи. Милая Тамарочка, да благословит тебя за них Бог счастливой жизнью — на благо ближних. Как жаль, что не в состоянии я сохранить этот детский привет чистой души. Надпись сотрёт прислуга. Но она уже внесена до смерти в мою душу благодарными слезами старого, всеми забытого, никому не нужного старика, «пупсика».

26 декабря. Вчера я после долгого промежутка (по причине недомогания и дурной погоды) выбрался наконец на военное кладбище.

На кладбище я нашёл сугробы снега. Мела, при сильном ветре, метелица и сметала с могил сплошные слои снега, точно срывала саваны. Я зашёл в середину могил и по ошибке, вместо заготовленного заранее приветствия «с праздником Рождества Христова поздравляю вас, братцы», у меня вырвалось трогательное «Христос Воскресе». И это вышло удачным экспромтом. Ветер со снегом дул с такой яростью с поля, что кладбище с его колышущимися полосами снега и мятущимися под ветром деревьями имело грозный, неприветливый вид. А на душе моей было светло и тепло.

30 декабря. Подлый год приходит к концу и помянуть его чем-либо хорошим невозможно...

Хочется занести в дневник, что я вчера провёл приятный час в уголке, где свило гнездо счастье. Я посетил вчера матушку Феофанию, бывшую настоятельницу местного женского монастыря, которая, уйдя на покой, поселилась в заранее устроенном ею себе маленьком домике, за монастырским храмом. Туда же с нею переселились и жившие с нею в настоятельской квартире монахини и послушницы. Матушка Феофания напоила меня чаем с вкусными булками, водила по всей квартире, где тепло, и светло, и тихо, и поёт её любимая канарейка, а стены увешаны картинами духовного содержания, портретами архиереев, иконами, крестами... Мать Феофания счастлива тем, что ушла от монастырских дряг и дел, как говорится, «с честью». Сама она только боится, дадут ли ей большевики умереть спокойно в её уголке. Она давно уж приготовила для себя склеп в церкви... Старушка вообще счастлива, и мне так было приятно слушать её бесхитростные рассказы...

По-видимому, никакие революции не переродят русских чудаков-самодуров. Сегодня зашёл я в домик, где живёт Прибыловский. Застал его, как всегда, за починкою органа. Несомненно, что он сидел в квартире за работой голый, т. к. на мой стук отозвался, что сейчас оденется, и минуты через три вышел в шубе на голом теле. Во время разговора шуба распахивалась, и я мог видеть его отвратительный живот и ноги, голые, расцарапанные благодаря зуду от паразитов, грязные.

В волосах у чудака кишат вши. Одним словом, во мне, как в брезгливом человеке, поднималась тошнота... Не понимаю, как человек может жить в такой грязной обстановке. А Прибыловский чувствует себя в ней как в прекрасной стихии. И даже не извинился, появляясь в таком грязно-растерзанном виде.

1918 г.

5 января. Разговор с родственником А. О. Жиркевичем о наших общих с ним предках напомнил мне прошлое нашего рода. И, право, в дни оплевания всего, что говорит о заслугах, правах и славе наших предков, мне, заглянувши в свой скудный фамильный архив, приятно вспомнить, что по мужской линии мы принадлежали к старому польскому роду, что предки мои имели грамоты от великих князей и королей за боевые заслуги, были в родстве с Хадкевичами, что со стороны матери во мне кровь старых дворянских фамилий кн. Кропоткиных, Новгородцевых, Астафьевых. Наконец, я имел счастье быть внуком И. С. Жиркевича... Всё это в эпоху торжества хамов и хамства приятно вспомнить...

7 января. Большевики заняли 4-го января губернский комиссариат. 5-го — отделение Государственного банка. Служащие в этих учреждениях заявили протест и

разошлись под угрозой применения силы, т. е. забастовали... Ввиду этого все переживают острый финансовый кризис. Чем жить? Где достать денег на продовольствие?

10 января. Вчера утром, идя на почту, в первый раз видел «красногвардейцев» на улицах Симбирска. Это рабочие с местного патронного завода, в числе нескольких сот человек, явившиеся на помощь большевикам. Я видел их в качестве охраны Дома Свободы, разгуливающими по городу группами. Большинство — зелёная молодёжь, безусая, цветущая, одетая в тулупы с чёрным верхом, в чёрных папахах на головах, с заряженными винтовками в руках... Вид глупо-победоносный...

Так как я единственный генерал в городе, хоть и снявший погоны с пальто, но носящий лампасы на штанах (других шаровар у меня нет), то я давно обращаю на себя внимание солдат и черни, недружелюбно разглядывающих мой костюм, а то и усмехающихся, что, признаться, мало меня смущает. Вчера «красногвардейцы» изумлённо, насмешливо оглядывали мою фигуру. А у меня и подкладка пальто, и канты на нём генеральские... В городе приход «красной гвардии» заставил всех ещё больше съёжиться... Все ждут резни, ограбления, бесчинств и всяческих насилий.

Идя к Ливчакам, я столкнулся на Гончаровской улице с группами простонародья (хорошо, тепло одетыми, с котомками и сундучками за плечами), измученный вид которых бросился мне в глаза. Их было человек 300. А вдаль виднелись ещё группы, поднимающиеся в гору со стороны вокзала. Я заговорил с Ливчаком об этом полчище, наводившем на тревожные размышления. Оказалось, что уже давно наш город наполняется безработным «пролетариатом», заработавшим большие деньги за лето на Волге, по заводам, на разного рода работах и сейчас оставшимся без работы. Многие награбили солидные состояния по усадьбам. Но страшная дороговизна жизни ударила по награбленному или заработанному. Впереди предстоит лишение всего этого. Что будет, когда все эти толпы проживут свои сбережения и закричат «хлеба»? Ливчак рассказывает, что безработные в надежде получить какую-либо работу на заводе (патронном) пытаются проникнуть туда. Старые рабочие завода, оставшись хозяевами положения, взвинтили заработную плату до небывалой высоты... А так как прибывающие безработные согласны работать за низкую плату, то являются опасными конкурентами. И вот (ужас! ужас!) рабочие вокруг завода устроили вооружённую цепь-охрану, которая штками отбрасывает мужчин и женщин, пытающихся проникнуть на завод в надежде получить заработок... Таковы результаты так называемой «русской социалистической революции».

11 января. Сейчас 5 часов утра. Все в доме спят. Бедная моя Каташа, взявшая на себя столько забот и тревог, для того чтобы удешевить нашу жизнь, скрасить её и направить к возможному благополучию, бредит, и я слышу, как во сне, глубоко вздохнув, она произносит с глубоким чувством: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий! Помилуй нас грешных». Такой бред я слышу часто... Каково-то ей, больной, немощной, избалованной в прошлом в материальном отношении, выносить лишения, страдать и видеть наши страдания?!. Не будь её, как-то шла бы наша жизнь, особенно моя... При мне и детях она скрывает свои тревоги. Но бред показывает, что они тяготят её чуткую душу... Неужели и этого Господь не видит?!

Вчера, возвращаясь в 8 часов вечера от Яковлевых, встретил на улице двух незнакомых мне гимназистов, которые наперебой, радостно мне объявили, что «красногвардейцы» оцепили редакцию «Симбирского слова» и громят её типографию...

Нужда заставляет нас распродавать вещи, и я, со вздохом, принялся за мои коллекции. П. М. Прибыловский давно приставал ко мне с просьбой продать ему старинную восточную курительницу, привезённую мне давно-давно из Бухары. Жаль чудной, ажурной работе, вещи какого-то восточного поэта-мастера. Но зато я любовался, с каким восторгом чужак-масон смаковал своё приобретение. Вот что значит любить искусство и быть проникнутым особым мистицизмом, доходящим до опоэтизирования мёртвых вещей. Из особого тайника Прибыловский вынул деньги — 120 рублей (пустьшная цена в сравнении с достоинствами проданной ему вещи). Да впридачу мне дал ещё старый пистон.

Купил № 3 газеты «Известия Симбирских Советов рабочих и солдатских депутатов». Об этом «органе печати» говорить не хочется. Меня смутило известие о том, что Керенский опять в Петрограде и готовится устроить контрреволюцию. А там, где он, — неправда, подлость и позор. Быть может, и то, что сейчас происходит в Петрограде, результат его появления. Вот чёрный ворон революции. Вот проклятая Богом опустошённая душа. Номер небольшой, но любопытный...

12 января. Вчера приходил татарин осматривать вещи. Катюша вынула своё белое, муар-антик платье, подвенечное, переделанное потом на бальное, в котором она была в Вильне в генерал-губернаторском дворце на балу у генерал-адъютанта Троцкого. Платье мы ещё не продали. Но сколько нахлынуло воспоминаний о любезном отношении к нам В. Н. Троцкого, о блестящем бале с русско-польским обществом, о лицах, бывших на бале, из которых многие уже в могилах... Тамарочка, в шутку, надела роскошный туалет и была так мила в нём. Бедная деточка. Что её ждёт? Не носить ей таких роскошных платьев, не веселиться на балах, не видеть роскоши и блеска былой жизни. А она любит веселиться, наряжаться, танцевать. Всё, однако, к лучшему. Дети отучаются от роскоши. Когда настанет полная нужда, легче будет перейти к самому крайнему ограничению своих потребностей. Бедные, бедные детки! Бедная молодёжь! И чужие детки мне жалки до страдания.

До сих пор мой наган лежит у меня незаряженный. Подаренные мне Зубцовым патроны к нему оказались не совсем подходящими. Их можно легко приспособить к револьверу. Зубцов предлагает это сделать. Я решил продать револьвер, чтобы отнять у себя возможность пролить человеческую кровь.

По деревням — разгул, свадьбы, роскошная жизнь, старанье жить по-барски. Это пока делят между собой награбленное, добытое от бешеного, бесовестного взвинчивания цен на предметы первой необходимости. Но недолго и тут будет продолжаться «пир во время чумы»...

Получил от А. Ф. Кони письмо. Привожу здесь как ужасный человеческий документ: «Многоуважаемый Александр Владимирович. Благодарю за приветствие, полученное мною сегодня. Увы, если у вас жить возможно, если есть средства, то я в Симбирск не поеду, ибо, будучи «упразднённым» сенатором, не получаю после 53 1/2 лет службы ни пенсии, ни эмеритуры, ни жалованья и вынужден продавать свои вещи, мне очень дорогие по воспоминаниям. Никаких надежд на благополучие родины не имею, изверившись в озверевший народ и импотентную интеллигенцию. Мы долго жили в области иллюзий — пора взглянуть в лицо правде. Желаю Вам всего хорошего и благодарю за память. Ваш преданный А. К.». Это письмо ударило мне в сердце, как нож. Уж если Кони гибнет, выброшен за борт революции, то что же ждёт нас? Если он во всём изверился, то во что веровать нам?!

16 января. Я прочёл М. М. Котляревскому* последнее письмо ко мне А. Ф. Кони. Он начал ругать Кони, называя его двуличным, подготовлявшим революцию и радовавшимся до переворота всяким либеральным выступлениям. Он припомнил дело Верочки Засулич, подстрелившей градоначальника Трепова, и оправдательный приговор суда, в котором Кони тогда председательствовал, и то, как Кони, на всякий случай, отправился с докладом к Трепову, желая вывернуться, но Трепов будто бы его не принял... Видя, что мне такая тема неприятна, Котляревский заключил свою обвинительную речь тем, что всё же жаль Кони, столь высоко взлетевшего на высоту славы, почестей, житейских благ и теперь так горестно заканчивающего итоги долгой жизни... С этим я согласился. Котляревский опять говорил о своей смерти — в том духе, что если он не кончает самоубийством, то потому, что не желает причинить хлопоты приютившим его родственникам Зубцовым и не хочет заставить меня зимою прогуляться за его гробом на местное кладбище.

Походил сегодня по городу. В казначействе — толпы пенсионеров и других посетителей, делающих денежные операции. Прислушивался к разговорам: сколько тревог за ближайшее будущее, тревоги личной, эгоистичной, но вполне понятной. Больше всего старики и старушки, живущие пенсией. Купил две газеты — местную «Симбирское слово» и московскую «Утро России». Прочёл обе и чувствую, что даже ужасаться, негодовать и плакать не в состоянии. А какой чудный, морозный день. На улицах оживление, нарядные дамы, дети, масса военных, несколько одиночных саней, запряжённых рысаками, скачут по Гончаровской... Вся эта праздничная толпа раздражает глаз и чувство. Все устали от войны и анархии. Все хотят забыться. Бегают и кадетники без погон. В России ли я? Или это, как писал мне Нестеров, точно подмённая моя Родина? И живу ли я или умер и дух мой, вернувшись на землю, видит, что от прошлого ничего не осталось?..

4/17 марта. Мотовилов** рассказывал о том варварстве, с каким большевики хвата-

* Котляревский М. М. — бывший сенатор, знакомый Жиркевича по Вильне.

** Мотовилов А. А. — симбирский помещик, бывший член Государственной Думы.

ли больных стариков и старух, для того чтобы выжать из них деньги-откуп. Мою знакомую, больную, с переломанной ногой Кирпичникову выволокли на матраце. Она едва откупилась от тюрьмы 50 тысячами. Нашу соседку старуху купчиху Пирогову, алкоголичку, посадили-таки в тюрьму, где она в пьяном виде стала плясать и паясничать на радость арестанток.

5/18 марта. Провёл вчера вечер у И. Я. Яковлевых. Жены его не было дома, и старик говорил о многом откровенно. Он готовится к смерти, видимо, боится её, но и тут поступает практично, рассудительно и неторопливо: не так давно в своей чувашской мастерской велел сделать, на каких-то удешевлённых началах, гроб, чтобы с похоронами не вышло осложнений для окружающих. Всё, что сейчас происходит в Чувашской школе, конечно, ускорит смерть Яковлева. Он мне передал, что в школе начались занятия, что преподаватели (в том числе и поп чувашский, до того бывший с ним в хороших отношениях) возмущают чувашское юношество, развращая его на почве «свобод» большевистского учения и т. п., что образован комитет и решено уже отрешить его, Яковлева, от должности инспектора школы (выбрали Орлова, которого я встретил) да, кажется, и выгнать его из квартиры, которую он много лет занимал и на которую считает пожизненными свои права. Прежние заслуги Яковлева забыты, и его, как «буржуя», травят, не давая ему даже умереть спокойно в своём углу. Травят, конечно, по-хамски, с той хамски-утончённой системой, которая обратила жизнь всех интеллигентных граждан России в ад.

Рассказывал мне Яковлев много интересного про семью диктатора нашего времени Ульянова-Ленина, которую знал хорошо. О Владимире он отзывался очень симпатично. Ему совершенно непонятно, как мог тот вылиться в такого уродца-анархиста. Хорошо он отзывается и о казнённом его брате, замешанном в историю о покушении на жизнь императора Александра III. Когда старший Ульянов был приговорён к смертной казни, то мать его явилась к Яковлеву, валялась у него в ногах и умолила написать к Ильминскому о том, чтобы тот вмешал в эту историю министра народного просвещения Делянова (в смысле ходатайства о замене смертной казни). Яковлев исполнил её просьбу. Несчастливая мать Ульянова долго ещё обивала пороги в надежде спасти жизнь сына. Она, не зная о его смерти, долго ещё страдала надеждами на спасение. Дело Ульянова обратило в Симбирске внимание жандармов и полиции на Яковлева, и за ним долго следили как за подозрительным по части политической благонадёжности. Каким образом Ульянов Владимир, нынешнее горе и язва России, обратился в Ленина, Яковлев не знает. Яковлев был у его отца, когда тому вдруг стало нездоровиться. Он сказал Яковлеву, что его как-то особенно знобит. Яковлев ушёл. А вдогонку за ним прислали сказать, что старик Ульянов умер.

12/25 марта. У Яковлевых мне сообщили, что в каком-то сборнике в числе образцовых поэтических произведений помещено и моё стихотворение. Принесли сборник. Это «Золотая библиотека. Жемчужины русской поэзии». Издание Вольфа. Для детей среднего и старшего возраста. «Жемчужины» собраны Марией Лемке. В сборнике я действительно нашёл моё стихотворение «Я видел старый клён». С грустью я подумал: «Вот когда и меня вспомнили!» Меня не радует то, что я попал в общество русских поэтов первой величины одним стихотворением. Не всё ли теперь равно!

18/31 марта. Со сравнительной лёгкостью Россия начинает привыкать к той форме крепостного права, которую ввели у нас большевики. Мы уже вернулись отчасти к эпохе крепостного права времён императора Николая I, с той только разницей, что роли изменены и русская интеллигенция посажена на места, занимавшиеся в ту эпоху крестьянами. Несомненно, однако, что по части крепостного права мы шагнём ещё глубже назад. И где будет предел этому рачьему прогрессу — неизвестно... Остаётся только молча наблюдать и покоряться грубой силе.

1 апреля/19 марта. Когда я шёл к Мотовиловым, то на Гончаровской улице встретил пьяного солдата. Увидев мои лампасы, он стал кричать: «А вот идут бывшие генералы!». Видимо, ему хотелось придраться ко мне, оскорбить меня, но я спокойно, с усмешкой оглядел его фигуру и прошёл далее (он пересекал мне дорогу). Тогда солдат, видимо, опомнившись, смущённо, уже пониженным тоном сказал мне вдогонку: «Здравия желаем!». Но я ничего не ответил. А он, шатаясь, пошёл далее. Недавно издан грозный «декрет» местным Советом — насчёт искоренения пьянства. Но все эти дни, уже после этого «декрета», постоянно на улице попадаются пьяные.

2 апреля. Очевидцы передавали, что вчера вечером на Гончаровской улице солдатская вольница срывала у офицеров все награды, кокарды с фуражек, нашивки о ранах с рукавов, требовали снятия шпор, петлиц и пр. отличий (на рукавах). Были при этом безобразные сцены. Срывали даже георгиевские ленты в петлицах. Одним словом, глумились и тешились над бывшими героями, ранеными и начальниками...

12 апреля. Кто чем только ни занимается для того, чтобы забыться... Прокурор Дедюлин и другие судейские из-за куска хлеба сели за прилавок и перепродают разные вещи в лавке случайных вещей. Кое-кто из судейских по той же причине поступил кондуктором на железную дорогу, писцами. А вот П. М. Прибыловский не заботится о куске хлеба (хотя ведёт нищенскую жизнь), а ищет забвения в пустяках. Он заказал какому-то художнику снимок в красках с гравюры, воспроизводящей знаменитую картину Беклина «Чума», где на кровавом фоне пожарища на чудовище едет Смерть. А вокруг — мёртвые, умирающие. Но это было бы ещё ничего. Забавнее всего, что Прибыловский намерен этот рисунок облечь в дорожную раму, повесить у себя в углу, в виде иконы, и зажечь перед ним лампаду... Всё это у него связано с каким-то особым, сумасшедшим мистицизмом... Опять он меня встретил в дорогой шубе, одетой на обрывки грязного белья и голое тело. Всё это кишит вшами. Я его боюсь. А вместе с тем в этом существе есть что-то симпатичное, благородное, подкупающее... Не буду говорить много о том, как любопытно посидеть в его логовище-храме и посмотреть на его новые чудачества.

20 апреля. Вчера утром встретил на Гончаровской улице крайне расстроенного И. Я. Яковлева. Он слез со своих дрожек и рассказал, что учителя чувашской школы и мальчишки делают ему всевозможные пакости... Душевное состояние травмированного старика меня встревожило, и после обеда я пошёл его утешать. Застал его в нервном возбуждении (он не мог уснуть после обеда, жаловался на дурную работу сердца и утомление). Я нарочно навёл речь на его любимые темы — о переводе Евангелия на чувашский язык, об Ильминском. На основании Евангелия я убеждал его не спорить с чувашами-большевиками, покоряться им и уступать. Но едва ли старик выдержит характер. Всё клонится к тому, чтобы выжить старика — «апостола чувашского народа» из школы с насиженного места. Тут доходит даже до курьёзов. Вчера ворвались в квартиру возбуждённые чувашата, школьники, вызвали Яковлева в прихожую. Какой-то из числа его же бывших воспитанников пристал к нему с одним и тем же вопросом: «А вы признаёте власть Советов?» На это Яковлев отвечает: «А тебе что за дело?» Но мальчишка стоит на своём и нагло кричит: «А вы признаёте власть Советов?» И так они обменивались теми же фразами до пяти раз. Что Яковлев ни скажет, чтобы урезонить самозванную депутацию, мальчишки ему кричат: «А вы признаёте власть Советов?» В том же духе велись и другие беседы представителей Чувашской школы с добрым гением чувашского народа, угасающим стариком. Все его заслуги забыты. Не умеют простить старику недостатки его характера. Забывают и о том, что ему и жить-то осталось недолго... Он страшно озлоблен на школу, её заправил, чувашат-бунтарей, которые устроили из школы своего рода республику, т. е. делают что хотят, не признавая авторитета старших, постоянно доказывая начальствующим, что теперь свобода, а значит, всякий может делать то, что ему заблагорассудится. Школьная жизнь идёт так уродливо, что Яковлев мечтает о том, что скоро это гнездо бунтарей, недоучек, идиотов закроют, обратив школу в какую-либо казарму. Он говорил мне вчера, что обязал свою жену (когда умрёт), чтобы к гробу его не допускались ни чувашские попы школы, ни школьники-чувашата, чтобы никаких венков от них не принималось и т. п., так как он уверен, что это будет фальшь и фарисейство.

22 апреля. Умерла скоропостижно, в своём особняке, разорённая большевиками известная благотворительница Симбирска А. А. Кирпичникова, помогавшая мне выстроить церковь в женской тюрьме. Это была совершенно больная, с переломанной несросшейся ногою старуха, которую один раз уже грабители тащили в тюрьму, но которая тогда от них откупилась. Теперь они потащили её в тюрьму вторично: старуху это так потрясло, что она скоропостижно скончалась.

23 апреля. Заходил Прибыловский — покупать вещи. Купил блюдо за 30 рублей. Помешан на украшении своей квартиры-логовища. Перевернул у меня чуть не всё. Замучил. Мы его напоили чаем. Он живёт впроголодь. Рассказывал интересно о своих трёхкратных путешествиях в Палестину ко гробу Господню (давил вшей, ловя их под платъем). Я хорошо его изучил, и от меня не укрываются его проделки. А когда

бываю у него, то он «казнит вшей», как выражается народ, при мне не стесняясь, ловя их, закручивая и бросая на пол. Отвращение!.. А всё же он чище душой, порядочнее многих из тех, кого я знаю в Симбирске из местного дворянства. Бедная моя Катя, видя, как я показываю для продажи предметы моих коллекций, в коридоре горько плакала, думая, что мне тяжело расставаться с ними. А я счастлив, если добуду несколько десятков рублей на обед...

26 апреля. Вечер провёл у Яковлевых. И. Я. как будто немного успокоился. Его на время оставили в покое. Чувашская школа отняла у него муку, но выдала ему его капусту (кислую, без которой у него не варит правильно желудок). Телеграмма к сыну профессору в Москву о притеснениях от чувашей подействовала. Тот был у самого В. И. Ленина. Яковлев говорит, что в Симбирске большевистским начальством получена от Ленина телеграмма — оставить его, Яковлева, в покое, помня его заслуги чувашскому народу. Сын тоже прислал успокоительную телеграмму. Одним словом, чувашские гады на время затихли, оставив травлю старика. Но сам он кипит на них негодованием. Вчера, когда мы сидели у окна столовой, Иван Яковлевич наблюдал за тем, что делается чувашатами-школьниками в саду и на дворе, волновался, видя, как они ведут себя безобразно — курят и т. д. Всё время у него вырывались гневные восклицания. А я его успокаивал, советуя не вмешиваться, стараться не видеть безобразий и не обострять отношений. Но старик упрям.

В городе каждый день убивают, грабят. А о кражах уже не говорят. Вывешено распоряжение большевиков по поводу этих событий — в том смысле, что пойманные на месте преступления будут расстреливаться (сами бы лучше не грабили, не расстреливали и не обворовывали). Передавали, будто бы умирающая Кирпичникова слышала, как эти тёмные силы шарили у неё в квартире, обстукивали стены. Тащат и тащат в тюрьмы новые жертвы, вымогая деньги. Мимо мужской тюрьмы, где сидят мученики российской инквизиции (исправительное арестантское отделение), ни ходить, ни ездить не разрешается. Все живут в ожидании обысков, реквизиций большевиков. Яковлева рассказывала, что вчера из квартиры покойной Кирпичниковой большевики увозили её обстановку. Пока же Россия продолжает быть адом для своих же русских.

28 апреля. Начались, судя по газетам, еврейские погромы — одно из отвратительных проявлений зверств черни-пролетариата, которое всегда глубоко возмущало меня в течение всей моей жизни, как и всякое насилие над человеком, кто бы он ни был.

7 мая. Вчера М. М. Котляревский рассказывал мне, что участвовал в осуждении брата Ульянова, осуждённого на смертную казнь и повешенного, что этот молодой человек вызывал симпатию своим порядочным, корректным, с достоинством, поведением на суде и что он, Котляревский, даже принял от него, для передачи его матери, предсмертное письмо.

Ко мне робко подошёл хорошо одетый субъект и, сняв шапку, сказал: «Христос Воскресе!». Я с ним похристосовался. На мой вопрос он объяснил, что сидел в исправительном арестантском отделении, получил от меня крестик, наравне с другими арестантами, который хранит на память обо мне, что он не забыл ни меня, ни моих наставлений и не забудет их до смерти. Он купил себе серебряный крестик, а мой, копеечный, спрятал, чтобы он не потерялся. Рассказывал, что у него жена и дочь, которая скоро будет учительницей, что они открыли какую-то мастерскую, и вообще живёт честно. Я был, конечно, тронут этой встречей... Расстались мы дружелюбно, пожав друг другу руки. Я пожелал ему от души счастья.

17 мая. Ф. Б. Гец* просит выслать ему в Москву муку, крупу и т. п. продукты. Читая его письмо, в ужас приходишь от того, во что обходится вообще жизнь в Москве. Беру на себя хлопоты по пересылке ему продуктов. До чего дошла Россия! Но, видимо, это только преддверие настоящего голода. Голод! Что может быть ужаснее этого слова! А к нам по Волге подбираются не одни германцы, но холера, чума. Тиф уже свирепствует. Живуч род человеческий!

25 мая. Тысячи рублей, полученных мною за старинные вещи, едва хватило на две недели. Пришлось сделать кое-что для детей, закупить муку и т. д. А цены стоят невозможные: 1 фунт сахара — 15 рублей, 1 фунт хлеба чёрного — 1 руб. 30 коп., 1 фунт сливочного масла — 10 руб., 1 фунт пшеничной муки — 90 руб., мясо —

* Гец Ф. Б. (1853—?) — публицист, педагог. Переписывался и полемизировал с Л. Н. Толстым.

3 руб. за 1 фунт. Самый скромный обед обходится на семью ежедневно в 25 рублей. Что бы мы делали, если бы не было что продавать!

Кажется, продовольственный комиссар, которого избили на базаре, будет жить. Надо, однако, походить по базару для того, чтобы убедиться в возбуждённом настроении толпы против большевиков. Последние это чувствуют и притихли. Надолго ли? Судя по газетам, в Самаре, Саратове и других местах попытки сбросить их иго не удалась...

О настроении народных масс я сужу по отношению мужиков, солдат к моим генеральским лампасам. Некоторые солдаты (красноармейцы), кадеты, увидев мои штаны, отдают мне честь, а мужики снимают шапку... Не то бывало со мной ещё недавно.

31 мая. Вчера был у меня с письмом от Н. Н. Венцеля бывший офицер Беззубков. Он рассказывал ужасы про жизнь в Петрограде, про голодовки, нравы буржуазии, пролетариата из серого народа. Письмо Венцеля тоже дышит отчаянием. На Невском сотни интеллигенции и молодёжи обоего пола стоят шпалерами и продают шоколадные лепёшки, газеты, папиросы — всё за бешеные деньги для того, чтобы купить кусок хлеба, смешанного с мякиной и разной гадостью. Замечается крутой поворот к прошлому и отвращение не только от программы большевиков, но вообще от всего красного социализма, «коммунизма» и т. п. чепухи, от которой на русской почве, кроме чертополоха и иных сорных трав, не взойдёт ничего. И стоило из-за таких результатов «огород городить»... Всякие там Кропоткины, Брюшко-Брюшковские теперь должны видеть, куда они звали народ русский и можно ли что-либо строить серьёзное на зыбкой, не подготовленной почве, которую из себя представляют главные массы народа. Торопились, торопились и дождались результатов!

5 июня. У меня на столе рюмка с букетом ландышей. Принесла мне маленькая (а по росту большая) Катюша. Я не избалован вниманием моих детей. Этот подарок меня трогает. Люблю цветы вообще, а ландыши в особенности. Какая прелесть скромности, чистоты и аромата... Напоминает детей-малюток.

Вчера не мог достать московских газет. Их не было, кроме «Нашей жизни» (кажется, есть такая газета), которую быстро раскупили. Говорят, будто в ней — известие о начавшемся в Москве и Петрограде походе на большевиков. Всё это отвратительно — и революции и контрреволюции. Всё пахнет кровью и слезами, насилиями и беззакониями.

6 июня. Заходила к нам вчера престарелая бывшая сестра милосердия А. И. Филатова. Её приютила у себя начальница Марининской женской гимназии. Так как в гимназии учреждён свой комитет, в состав которого входят швейцар, кухарка, служанки и др. прислуга, то этот комитет потребовал выселения старухи под предлогом, что начальница якобы не смеет отдавать знакомым комнаты в казённой квартире. Филатову и выселили. Старушка горюет. Ей 80 лет. Она желала бы дожить до того времени, когда в России настанут порядок и правда. А силы её слабеют...

А. И. Филатова поселилась у генеральши Гриневич, матери психопата Гриневича...

8 июня. Сегодня приносили к нам на квартиру в 5 часов утра чудотворную икону Жадовской Божьей матери. (Её обносили по нашему кварталу, собирая мзду с жителей.) Священник (или монах?) выбросил из читаемого Евангелия две трети, так что понять что-либо было трудно. Таково отношение к слову Божью. Духовенство, певчие бегут с иконой как на пожар, молебствие совершается кое-как, с пропусками... Всё смахивает на замаскированное кощунство. Но народ, чтя святыню, не обращает внимания на эти подробности. За иконой бродят нищие в крестьянском одеянии, выпрашивая подаяние у обывателей.

11 июня. Ненавижу ветер, бурю, вообще хаос в природе, как ненавижу всякие народные смуты.

В Самаре чехословаки разгромили большевиков, о чём, конечно, не сообщается в «Симбирских Известиях крестьянских, солдатских и рабочих депутатов». Интересно знать, кто будет править нами, обывателями, если, действительно, гады ускользнут из Симбирска... Пожалуй, поступим в лапы анархистов и будем в их лапах вздыхать о большевиках как о чём-то всё же пахнущим человеческим.

16 июня. Симбирск принял военно-боевой вид. День и ночь хрюкают, шипят, кричат, охают автомобили, бродят беспорядочные отряды вооружённых солдат, скачут иногда в фантастических нарядах «всадники без головы» — конные солдаты, проносятся начальствующие лица. Везут какое-то имущество. Кого-то хватают, кого-то расстреливают...

19 июня. Теперь могу сказать, что «совершил всё земное», что «ничто человеческое не чуждо мне». Вчера я угодил в кутузку, под стражу. Но надо рассказать по порядку то, что произошло вчера. Около четырёх часов шёл домой по Гончаровской улице, одетый в китель с погонами, на который была накинута морская накидка Гули, совершенно эти погоны закрывающая... Подходит ко мне вдруг субъект в штатском, отталкивающего вида, с двумя солдатами без ружей и приглашают меня идти с ними в кадетский корпус. Понимаю, что меня арестовывают... Стал спрашивать о причине ареста. «За погоны, которые просвечивают у вас»,— ответили мне.

В сопровождении тех же субъектов я был введён к комиссару чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Грамотность его была так слаба, что я, читая его писанье, видел, как он написал слово «отставной» — «от ставной». Затем объявил мне: «Вы арестованы!». Тут вызваны были два конвойных с ружьями, и меня отправили в общую камеру, на третий этаж, где я нашёл уже сидящих человек 30 — офицеров, солдат, студентов, лиц неопределённого звания. Все сочувственно ко мне отнеслись, узнав, за какую чепуху меня лишили свободы. Я был совершенно спокоен, шутил и ориентировался в новой обстановке. Тут мне посоветовали снять погоны и академический значок, чтобы «не раздражать большевиков», что я после некоторых колебаний и сделал. Подали чай с чёрным хлебом. Арестованные дали мне кружку, научили, как «приспособиться к местности», т. е. где достать сахар и т. д. Меня тревожит мысль, что Катя не будет знать о моём аресте... Часа через два вызвали к «самому комиссару» (от этого субъекта пахло водкой), он был груб. Тут же я увидел мою Катюшу, которой сообщили о моём аресте проходившие на улице. Комиссар этот объявил мне, что я свободен, прочёл нотацию насчёт того, чтобы я в будущем не попадался. По возвращении домой узнал о готовящейся будто бы «варфоломеевской ночи», т. е. о поголовном избиении «буржуев» этой ночью.

Последнее известие показалось мне настолько бессмысленно-чудовищным, что я совершенно спокойно лёг спать. Я счастлив ещё раз отметить, что никакой злобы за проделанное со мною большевиками к ним не питаю. Право, мне хотелось расцеловать прелестного мальчика-часового, меня караулившего... Режим в кутузке не строгий. Арестованные курят, имеют при себе ножи, сносятся с родными, свободно (по несколько человек вместе) идут в отхожее место. Большевик, вносящий чай и хлеб, звал нас «товарищи» и, видимо, не злой, снисходительный человек.

Меня уверяли в кутузке, что теперь мне надо ждать обыска... Что же, и на это я готов. Пусть делают, что хотят: совесть моя спокойна.

20 июня. Слава Богу, что между большевиками попадают порядочные, развитые, а то и просто добрые, хорошие люди, которые мешают устраивать «варфоломеевские ночи». А то нас, несчастных буржуев, давно бы перерезали с жёнами и детьми нашими. Комиссар-субъект, хоть и подвыпивший, грубый, пошло читавший мне нотацию, в душе порядочный и добрый. Сообразив, что история со мной глупа и не назидательна, он сейчас же выпустил меня на свободу... Сколько хороших, добрых, милых людей видел я между большевиками и утром, томясь на приёме, и во время ареста! Сердце радовалось, наблюдая за ними. В них не было даже того напускного бравадирования, которое видишь у других большевиков.

А вот, едва мы с Катей вышли на улицу и стали обмениваться впечатлениями (сначала на русском языке), нас стал подслушивать, идя за нами, какой-то гад, из кадетского корпуса вышедший... Скажи мы хоть одно слово негодования по адресу насильников, и нас бы обоих арестовали. Совсем как при жандармско-полицейском режиме императора Николая II! Недаром я держусь того взгляда, какого держался последний год агонии нашего Отечества,— что всё осталось по-старому, лишь отдельные личности и группы лиц переменялись своими ролями.

Большевики продолжают грабить тех, кто не уплатил контрибуции. Разгромили они и Мотовиловых. Передают из достоверных источников, что не только тысяч на 20 захватили бриллиантов, золота, серебра, но посрывали ценные ризы с икон, срывали золотое шитьё с мундиров, нарочно так, что портили сукно. Это месть за то, что старый Мотовилов вместо 100 тысяч контрибуции дал им только тысячу рублей...

22 июня. Вокруг аресты, обыски. Упорно говорят о смертных казнях, якобы совершаемых в Симбирске, так сказать, келейным, упрощённым способом. Сюда бежали уцелевшие от погрома большевики из Самары, Саратова, Казани и других мест. Всё это озлоблено на несчастную «буржуазию» и, не разбирая правых и винов-

ных, душит её. В местных «Известиях» постоянно появляются статьи, видимо, пришедших поэтов, писателей, прямо призывающих истреблять интеллигенцию буржуазного типа, под понятие которой сваливается всё, что не аплодирует подвигам большевиков.

23 июня. Вчера пошёл разыскивать раввина Горелика, о котором мне пишет Гец, и неожиданно попал в еврейскую синагогу, на Гончаровской улице, около ломбарда. Была суббота, и евреи, надев на себя всё, что полагается для молитвы, вполголоса (чтобы их молитвенный гвалт не был слышен с улицы) читали молитвы, а в промежутках, не снимая особых нарядов, занимались приятной беседою. Всё это напомнило мне мою дорогую Вильну. Сначала моё появление в чёрном плаще, без признаков моего общественного положения, смутило евреев. Поднялись вопросы — кто я такой, откуда? Что мне надо? Зачем вызывать Горелика? И т. д. Потом, не усмотрев во мне человека опасного, вызвали и самого раввина Горелика, который вышел ко мне во всём молитвенном наряде. Опять начался мой допрос, уже с его стороны. Нас окружала еврейская насторожившаяся, носящая в себе свой особый, специфический аромат толпа любопытных. Когда все узнали, что я посылаю припасы в Москву еврейской семье и пришёл за деньгами для закупки продуктов, то лица прояснились и поднялся даже сочувствующий говор. Оказалось, что Гец денег не выслал, а открыл мне, в случае надобности, кредит у эвакуированного раввина... Всё это удивительно занимало окружающую меня толпу...

26 июня. В Симбирск приходят тысячи так называемых «мешочников», ходивших «за тридевять земель» искать дешёвого хлеба. Но в Симбирске у них этот хлеб, за исключением немногого, отбирают. И вот они ходят из места в место — умолять отдать им то, что принесено для семей, уже голодающих.

28 июня. По слухам, бой между чехословаками и большевиками идёт в 36 верстах от Симбирска. По улицам Симбирска красуются официальные объявления Советского правительства, оканчивающиеся призывом уничтожать капиталистов, генералов, буржуев, контрреволюционеров... Но никто уже не боится: жаль гибнущей молодежи, а старикам всё равно долго не тяготить собою землю.

30 июня. Странно создан человек! Чужое горе ворвалось в мою жизнь — и я забыл о собственных невзгодах. Котляревский продиктовал мне письмо на моё имя, в котором просит меня, ввиду особых обстоятельств настоящего периода своей жизни, взять на себя хлопоты по его погребению, дал деньги на последнее. Благодарит за то, что я в нём принимаю участие. Вчера он дошёл до того, что сказал: «Если б я мог (болезнь мне мешает), то поклонился бы вам в ноги». Мы сердечно простились.

Бои идут настолько близко от Симбирска, что живущие у Свяги уверяют, что будто бы слышат звуки пушечных выстрелов и разрывы снарядов... На Симбирск надвигаются новые ужасы... Спаси нас, Боже!

15 июля. Хватит ли у меня силы духа, чтобы описать то, что я пережил вчера?

По обещанию, данному М. М. Котляревскому заходить к нему ежедневно по утрам, я вчера в 8 с половиной часов утра был уже на квартире Зубцовых, войдя через двор, с чёрного входа, чтобы не беспокоить больного старика звонком в парадную дверь... На дворе застал я мальчика Федю, а в гостиной метущую пол служанку Маню. На мои вопросы оба ответили, что в доме всё благополучно, а Котляревский пошёл в клозет. Спокойно я уселся в зале и стал ждать. Прошло с полчаса. У меня возникла мысль, не дурно ли ему в клозете. Тут тревога моя усилилась... Тогда я велел Мане окликнуть через дверь. Он не ответил. На мой оклик — та же мёртвая, ущемляющая душу тишина. В ужасе я пошёл в спальню покойного, и на столе мне бросилась в глаза записка его, в которой он просит в смерти его никого не винить, что он насильственно умирает, т. к. не может более переносить жестоких, обострившихся страданий от старого нервного паралича.

Велел Мане бежать в участок милиции.

Взломали дверь в клозет. Мёртвый, совершенно окоченевший труп Котляревского висел на верёвке, привязанной к железному рельсу. Покойный был одет в нижнее бельё... Лицо — белое, совершенно спокойное, как бы блаженно-прекрасное. Со слезами смотрел я на этого страдальца, думая: «Вот всё, что осталось от некогда могущественного, всесильного сенатора, действительного статского советника, кавалера многих орденов...»

22 июля. Была у нас старуха Анна Ипполитовна Филатова. Едва запахло войной под Симбирском, она, как старый кавалерийский конь, бросилась в бой, предложив свои услуги большевикам в качестве сестры милосердия. Её не прогнали, но пока работы ей не дали. Конечно, она стара и слаба настолько, что не может принести должной серьёзной пользы. А всё же её предложение своих услуг ограбившим её большевикам в таком деле, как уход за их же ранеными, мне крайне симпатичен.

Я прервал мои заметки, т. к. началось сражение под Симбирском. Оно всё более и более разгоралось. Над нашим домом стали со стоном и воем проноситься снаряды! Все мы сохранили полное мужество и самообладание. Особенно порадовали меня девочки. Катя и Тамара, едва усилилась бомбардировка, пошли исповедоваться и причаститься в Троицкую церковь, которая, к сожалению, оказалась запертой. Когда наша кухарка Марья так струсила, что металась по двору без толку и отказалась идти на базар за провизией, Маня взялась это сделать, сходила на базар и принесла всё нужное. Минуты переживались поистине трагические! Потом мы видели, как по нашей улице потянулись отступающие красноармейцы в растерзанном виде, волоча на себе ружья, пулемёты, амуницию... Потом за ними в город вошли чехословаки и фронтовики. Они стали ловить, по чьим-то указаниям, комиссаров на улицах и тут же их расстреливать. Что будет далее? Неизвестно. Но не могу примириться с пролитием человеческой крови, кому бы она ни принадлежала. Пришли победители и сейчас же начали без суда и следования расстреливать недавних владык Симбирска. И вот уже рассказывают, что старуха-мать, идя по колючему садику (скверу), в числе семерых расстрелянных красноармейцев узнала своего сына. Можно вообразить её отчаяние!

Бедные мои девочки! В каких ужасных антихристианских условиях проходит их молодость! И как мне отраднo, что они не только хорошие христианки, но и храбрые дети, что и доказали сегодня на деле своим презрением к смертельной опасности. Я прямо любовался ими, гордился, видя, что они не растеряются в трудную минуту жизни, если бы меня и Кати не стало...

24 июля. В Симбирске опять объявлена власть Временного правительства, провозглашены лозунги: «Учредительное собрание», «Долой большевиков», «Война Германии», «Спасение России».

Мотовилов сидел в своём полуразрушенном гнезде, как сыч. А теперь он выполз из дупла и имеет вид именинника, ходит «гоголем» и, вероятно, не прочь порассказать о своих подвигах в Государственной Думе. Хитрый старикашка! А вот старикашка мудрый — это И. Я. Яковлев, старый знакомый Ленина. Он мечется по городу (был и у меня) в розысках новостей, как будто бы недавно и не сносился с Лениным через сына, живущего в Москве. К нему и сейчас не придёршься, т. к. с Лениным-то он сносился осторожно, ловко, не оставляя на бумаге следов этих сношений.

Некоторые судейские, недавно смиренно сидевшие за прилавками магазинов случайных вещей, уже напустили на себя прежнюю важность и стали неузнаваемы. В общем, мерзко-смешная картина.

25 июля. По городу кем-то пущена сплетня. Встречаю сегодня секретаря консистории Жукова. Поздравляю его с возвращением на старое пепелище, т. е. в консисторию. И вдруг он огорошивает меня вопросом: «Правда ли, что вы состояли на службе у большевиков?» Когда, где, на какой должности, в каком вознаграждении? — ничего этого он, конечно, мне сказать не может. Говорит только, что по городу ходят слухи, что будто бы найден список генералов, состоявших у большевиков на службе, в котором якобы значусь и я... Конечно, подобная чепуха не смутит знающих меня. И я над нею посмеялся. Тем не менее я не могу не тревожиться, приняв во внимание лёгкость, с которой по Симбирску распространяются сплетни.

(Продолжение следует)

С. Боровиков

Неугомонные классики

1.

«Легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком» (Гоголь. «Мёртвые души»).

2

«— Извините меня, вы все стали такая не свободная направленческая узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой радости...» (Николай Лесков. «Железная воля»).

3

Живёт мнение, что странность Гоголя едва ль не ярче всего сказалась в его страхе перед женитьбой. То есть говорят о страхе перед женщиной, но это совершенно несправедливо. Страх его был перед браком, что совершенно иное, чем страх перед женщиной, и даже напротив, как бы противоречит этому страху. Ужас неестественности брака раскрыт нестранным, нормальным Львом Толстым в «Крейцеровой сонате», и не только в «Крейцеровой сонате» и не только Толстым. Просто нормальному Толстому надо было настрелять детишек, пожить домом и всё это возненавидеть, а Гоголь знал это и без житейского личного опыта.

4

Если Достоевский и не говорил «все мы вышли из гоголевской «Шинели», то во все времена в русской литературе производились наблюдения, кто и откуда вышел. А как же!

Наслаждение доставляет обнаружение следов одного писателя у другого, преемственность, подражание и т. д. Почему?

Вероятно, это всё из той же человеческой привязанности к скрепкам времени, ко всем средствам, как бы защищающим от смерти и забвения, т. е. — эстафета.

5

Мышкину на вокзале «померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз». Казалось бы, лишнее — «глаз», не говоря уж о «двух». Но упростим :«померещился чей-то странный горячий взгляд»,— что останется от картины? А тут два глаза горят! В толпе горят два глаза. Всё больше убеждаюсь в том, что Достоевский умел, если надо, передать картину как никто, смелость при этом проявляя невероятную: «и продолжавшую улыбаться остатками ещё недавнего смеха».

6

У Достоевского никто из героев никогда не занят делом, даже и тем, которое обозначено. Как служит Митя, сочиняет Иван, как добывал свои капиталы Фёдор Павлович Карамазов, как учится Раскольников, «гуляет» Сонечка, как служат генералы все его. О результатах с о о б щ а е т с я, но не показывается самый процесс, за исключением разве что ростовщичества — в «Кроткой» и «Преступлении и наказании». Помещики не помеществуют, крестьяне не хлебопашествуют.

Катюша Маслова показана во все этапы, убедительно и наглядно, от падения через дело разврата, грубость к очищению. И все так: помещики, офицеры, маркёры, крестьяне, чиновники, — все заняты, и их занятие изображается автором.

7

Странно, что Достоевский и Толстой как бы соперничают в нашей литературе, словно бы у них может быть одно место. Толстой неповторим, как все великие художники, но он с другими ягода одного поля. У Достоевского это поле — своё, отдельное и — далёкое ото всех. И его «беда» в том, что его мысль никогда не останавливалась, — потому-то он и не создавал того условного мира, в который читатель временно верит как в реальность, читая книгу. В стиле это его, ведущее, свойство проявляется в невозможности остановиться, в нескончаемой потребности договаривать.

Ну как он мог создать, скажем, Стиву Облонского, да и кого бы ни было, более или менее живого? Ведь героев литературы, как и других людей в жизни, мы воспринимаем лишь частично, в меру своего понимания. Постигание без меры — это постижение самого себя, а мы себя, как ясно, познать не в состоянии, и понятия о себе не имеем, как о фигуре. Я — это космос, бесконечный, распадающийся и возрождающийся. Человек у Достоевского — в этом бесконечном постижении.

8

Какую титаническую работу проделывал Лев Толстой, чтобы заставить, научить себя любить людей! Сколько способов изобрёл, сколько увлék при этом за собою народ, а всё из того, что ему в себе любви не хватало. А другие рождаются с этим. И — не становятся Толстыми.

9

В чём истоки привлекательности возлюбленного мною и многими Стивы Облонского? Главное не в том, что автор влюблён в него — это очевидно. Автор ещё очень хотел бы быть Стивой. Он смолоду завидовал таким людям и со злобою изобразил Анатолия Курагина. К старости он пришёл к безмятежному Стиве (ср. с плоско-рефлексирующим скучным Вронским) как неосознанному (?) идеалу.

10

Почему Толстой так бесился, обвиняя «эти джерси мерзкие, эти нашлапки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди... обтягивание выставленного зада» — не в одной только «Крейцеровой сонате»?

Да они его возбуждали безмерно!

11

Страшно читать высказанное Толстым: «Между мужчиной и женщиной больше физической разницы, чем между животными (медведем и медведицей, волком и волчицей)». Страшно, потому что заставляет напрягаться: так ли это?

12

В 1870 году Толстой считал проституцию благом и необходимостью, даром Провидения для сохранности семьи (неотправленное письмо Н. Н. Страхову от 19 марта).

13

Толстой всю жизнь силился засунуться в грязь жизни и всегда был обречён сделать это лишь внешне, словно когда делаешь чёрную работу, знаешь, что переменишь потом одежду. Ибо, за ним стояли всюду Ясная Поляна, титул, слава.

14

«— Не может быть,— говорил Обломов,— он даже и ответ исправника передаёт в письмо — так натурально...»

— Эх, ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут — уж это ты мне поверь!»

15

У Островского («Не сошлись характерами») маразматический старец носит фамилию П р е ж н е в.

Однажды знакомый мой, профессиональный литератор, очень пьяный, высказался: «Ненавижу...». Я решил, что по доброй традиции он скажет «тебя», но он сказал: «Ненавижу Чехова». И столько раз с пьяным упрямством повторил, что сомневаться не приходилось: ненавидит.

Спустя время я прочитал в воспоминаниях о Есенине, что отношение своё к Чехову он выражал аналогично. И мой знакомый, и Есенин происхождением — крестьяне. И здесь не просто обида за «Мужиков», но что-то более глубинное.

Чехова называли врагом пошлости (Горький и другие). Не мог никогда этого понять. Он поэт пошлости, но не враг её. Я заметил за собою, что, следуя дурной привычке читать за едой, часто беру для этой цели Чехова, преимущественно раннего. Читая его, хочется выпить и закутить, болтать о пустяках с соседом, смеяться над ерундой, ездить по железной дороге, участвовать в жизни материально и непритязательно. Если я правильно понимаю А. Суворина, именно эти черты и привлекли его в таланте Чехова.

А уныние последних вещей, таких как «Архиерей», опять-таки ярко физиологично. Героями становятся те, кто не может уже вкушать, и автор подробно, с художественным своим даром и медицинской достоверностью описывает множество ощущений болезней и болезненностей, в желудке, сердце, конечностях. Физическая невозможность жить определяет пафос существования этих людей, в той же мере, как и прежних — возможность.

Рассказы и «мелочи» Чехова, особенно раннего периода (но вовсе не только раннего), — это какой-то апофеоз потребления. В этом смысле Чехов — очень буржуазный писатель. Вспомним хотя бы, сколько всяческих реклам разбросано по его произведениям, как часто персонажи его имеют дело с деньгами, выигрышными билетами, закладами, счетами, векселями, — но не в той сюжетно-драматической роли, как у Островского, Сухова-Кобылина, — не в поглощённости и д е е й обогащения и ненавистью к нему, как у Достоевского, а — в полном согласии с ними, товарно-денежными отношениями, как с тем, что летом день длиннее ночи, а зимою идёт снег.

Да и не только рассказы — см. письма его, особенно сестре, сколько там п р а к т и ч е с к о г о. Он и дом свой в Ялте выстроил крайне обдуманно, с приятной целесообразностью.

Вера в труд, прогресс, в силы личности, умение работать не запоями, а методично — всё это и многое другое делает Чехова как бы и не вполне русским, если под русским понимать то, чем мы вдруг опять готовы кичиться.

Все стыдятся бедности, мы же ею упиваемся, выставляем напоказ, осуждаем тех, кто богат: от трудов праведных не наживёшь палат каменных.

Неужели это и есть русская идея?

Но те, кто проводит её в жизнь, поощряет народ к бедности, как раз очень ловки в приобретении палат каменных.

Чехов, особенно смолоду, потому так тщательно поучал Александра, что тот был сверху — старший, талантливый, с именем. То было своеобразное самоутверждение, а не сугубая порочность Александра и нравоучительство Антона, как обычно трактуют.

Многочисленные фильмы 40—50-х годов по Чехову делались как бы его персонажами или, во всяком случае, с их точки зрения. Одна Анна — Алла Ларионова чего стоит!

Но — неверно вовсе не видеть в этих фильмах Чехова. Там именно жизнерадостный, пошлый Чехов, о чём речь шла выше.

И нельзя не задуматься, отчего меньше повезло Чехову, так сказать, серьёзному, — позднему и сумрачному. Лучшая экранизация из позднейших — «Механическое пианино» — опять-таки по ранней пьесе.

Крайне лжив рассказ Ив. Бунина «Три рубля». Даже стилистически рассказ нестерпим: «почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девствен-

ность!». Ведь это куда как ближе осмеянным самим Буниным «красивым» штампам Курина, чем Бунину.

Выдумать слезливую историю ради... чего ради?

А я скажу: рассказ рождён вечным мужским страхом перед девственностью, ценностью её и потерей. Женщины куда спокойнее, мудрее и, если угодно, циничней относятся к этому.

В этом лживом рассказе куда откровеннее сказывается целомудрие «представителя» русской литературы Ивана Бунина, чем в его лучших вещах. Конечно же, он не знал женщины так, как знал её — в литературе — Мопассан.

21

Читая «Дар», одновременно думал о Буине, о том, что этих писателей разделяло. Бунин был открыт, он мог быть и пошлым. Страх пошлости, оговорочка постоянная, не принадлежат великому художнику. Великий художник — это жизнь, Набоков — отбор, фильтрация жизни.

Думаю, этот страх — страшная болезнь для таланта. Её надо избегнуть или вылечить в себе.

Набокова любить нельзя.

Вероятно, чтение Набокова причиняет немало страданий тем современным прозаикам, которые полагают, что их призвание — работа со словом, создание стиля. Если Бунин заражает на подражание, на бесплодную погоню к его далёкой вершине, то Набоков тычет в строку носом и ещё изгаляется: и вот как можно, и вот этак... и одной страницей зачёркивает наработанное нашим современным «стилистом» тяжким и унылым трудом.

22

Загадка, литературный тест: кто мог написать:

«Я не люблю, когда брюнеты поют, как блондины».

Это мог написать только Набоков, но написал Александр Дюма (слова принадлежат графу Монте-Кристо).

Пренебрежительное отношение «профессионалов» к сочинениям Александра Дюма вызвано явно простой завистью. Кто ещё способен два века лидировать в успехе у читателя? Но ведь к чисто «дюмовским» качествам: он то и дело роняет вовсе не авантурные перлы. К процитированному ещё один: «...толпу, которая становилась тем гуще, чем меньше понимала, ради чего она собралась» («Двадцать лет спустя»).

23

Пушкин плох даже у гениального Серова («А. С. Пушкин на садовой скамье»). Не надо писать Пушкина. Это понял один лишь Булгаков.

И стихов о писателях писать не надо. Безвкусные стихи даже Бунина о Чехове.

24

Самое интересное, что стоит разгадать в Горьком, — момент, когда он из подинтеллигента Пешкова превратился в Горького, когда и как осознал, как делать себя, свою удивительную судьбу. А судьба строилась им с неутомимостью муравья и беспримерной храбростью, я бы даже сказал, оголтелостью. Трудно даже определить черту, отделяющую этап подъёма до какого-то существующего уровня, от этапа, на котором он сам стал делать себя уровнем.

Вот брак с Волжиной, богатый дом на нижегородском откосе с его смесью мещанства в демонстрации достатка, профессии хозяина, трогательного рационализма нувориша в устройстве детских комнат и т. д. Как был он полон тогда своим крепнувшим положением, семьёю, известностью. И как всего этого ему стало мало — больше, больше! Это было, это не слава, во всяком случае, не слава Горького! Не поклонницы, а сраженья с сильнейшими. А потом с монархами, игра в партии, пафос всемирной свободы — и всемирной хитрости, и далее, и далее, и далее!

А как раздражён он даже уже в тех немногих опубликованных письмах к Волжиной, когда вкусил жизни гражданина мира, по отношению к её остановившемуся понятию о счастье, любви к нему!

И — в этом направлении — кем сделалась Волжина, ставшая Пешковой, с её международными связями, благотворительностью, масонством.

Да и все, кто втягивался в горьковскую орбиту, делались политиками, политикана-

ми, хитрецами, обрастали таинственными связями, начинали жить и действовать энергично, ловко и всё на хозяина.

М. Горький — это средоточие всей российской жизни первой половины XX века. Это куда больше, чем человек или писатель. Думаю, что аналогов не имелось.

25

Как, увы, выцветают, однако, страдания Бунчука по поводу его палаческой работы. А ведь «Щепка» В. Зазубрина написана много раньше второй книги «Тихого Дона». И быть может, уже не стоишь чересчур удивляться терпимой ободрительности Сталина и К° в отношении Шолохова?

26

«Классовая пролетарская мистика». Это из сборника «Вехи», как известно, 1909 года. Но ведь это ключ к поэтике Андрея Платонова!

27

Когда на печатных страницах «органов писателей России» или с трибун раздаются голоса о геноциде русской культуры, причём истреблении «культурного генофонда России», сопровождаемые жалобами на то, что не печатают русских писателей — т. е. авторов выступлений и протестов, именно себя и полагающих «генофондом», я всегда вспоминаю фразу из рассказа Ивана Бунина «Казимир Станиславович»:

«В публичном доме он чуть было не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия».

28

У меня есть собрание сочинений Льва Толстого, где стоит штамп компетентного ведомства: «Проверено. 1944 год». Книги принадлежали Новоузенской средней школе. Новоузенск — удалённый от областного Саратова на сотни вёрст районный городок. Сколько же кадров было (ли?) у компетентного ведомства, что в 1944 году, когда на фронт брали мальчишек и стариков, их хватало на то, чтобы удостоверить некрамольность сочинений графа Толстого!

29

Чуть не единственный русский классик, как по маслу шедший с 17-го во все последующие годы — Чехов. Цензуре находилась работа в сочинениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Горького. Целые произведения оказывались неудобны, невозможны или подвергались тщательному перетолкованию. Не говоря уж о дневниках и письмах. Чехов же — близкий по времени и потому потенциально, казалось бы, более огнеопасный — был постоянно угоден. И в наши дни восстановлений и допечаток, кроме торжественно преподносимых антиеврейских выпадов, у Чехова восстанавливать нечего.

Вероятно, при любом режиме Чехов будет находиться вне интересов господствующей идеологии.

30

«Бесспорно, нет ничего отвратительнее, чем неверующий король» (А. С. Мерсье. «Год 2440-й»).

31

Ал. Толстой пишет А. М. Соболю: «Милый Андрей, я уехал, не простился с тобой (а речь идёт о бегстве из Москвы от большевиков в 1918 году. — С. Б.) оттого, что я сволочь, ты это сам знаешь!».

Признание себя сволочью, подонком, подлецом как бы избавляет на Руси признающегося от кары даже и моральной, и оно в широком ходу. Гад я! — частенько говорит русский человек вовсе не обязательно вовне, но и самому себе, испытывая при этом в чаду самоуничтожения и некоторую сладость: слаб я, мерзок, но сознаю! И — делается легче. Это русская черта. Очень русская.

32

«Человечество смеясь растаётся со своим прошлым».

Но сегодня очевидно: не с прошлым, а с жизнью.

В. Михайлин

Как стать дураку повешенным

Из истории одного таротного сюжета в европейском искусстве

О Таро последнее время стали упоминать и даже писать. Не вина публикующих в том, что пишущие не всегда имеют представление, о чём пишут. Пишут, скажем, дамы, выдавшие в детстве у бабушки (какая милая семейная сцена, но, увы, *mauvais ton*, слишком затаскано) странную колоду карт, и вот теперь, по прошествии многих лет, по памяти и по польским журналам восстанавливающие колоду и способ гадания¹. Тут же и картинки. С грубейшими ошибками, изобличающими либо полное непонимание сути Таро, либо, как писывал ещё Ильич, — «умный саботаж». Последнее маловероятно, ибо уж этим-то ещё в прошлом веке от души позанимались профессионалы, книги которых, уверен, скоро появятся у «чернокнижников» на углах — спрос есть спрос. Одного из них, Папюса, уже «открыли», вполне естественно начав с самого что ни на есть кича — с «Практической магии». Уже почитывают (в Москве, по крайней мере) платные публичные лекции по Таро, опираясь на русскую «классику». Так что, похоже, скоро нас в очередной раз захлестнёт, как сказал один из персонажей Лоренса Даррелла, «тяжёлая волна» доморощенного оккультизма — и в этом, словами другого персонажа других авторов, может быть, и есть великая сермяжная правда. Волны эти прокатываются по Европе с завидным постоянством и приходится каждый раз на рубеж веков — ну, и мы не исключение.

Впрочем, не обладая хотя бы некоторыми познаниями в области оккультных наук, трудно читать Гёте и романтиков, Роллана и Элиота, Блока, Белого и прочая,

прочая, прочая. По вполне понятной причине об этой традиции европейской литературы у нас почти ничего не написано (хотя — вышел снова Майринк, картина понемногу меняется). Кинем пробный камень. Сперва кое-что о самом Таро.

Колода или, иначе, Книга Таро является, пожалуй, одной из наиболее загадочных отраслей системы оккультных наук. Отразив взаимосвязанную каббалистическую, астрологическую, алхимическую и магическую символику в своей собственной уникальной системе символов, она представляет собой своеобразную энциклопедию тайнознания и, одновременно, в силу особой «сюжетности», «образности» и своеобразного игрового развития идей общемистического характера, ближе всего подходит к природе искусства. Приведённая одним из ведущих в прошлом популяризаторов оккультизма, в том числе и Таро, Жераром Анкоссом, более известным под упоминавшимся уже псевдонимом Папюс, игровая, метафорическая версия возникновения Таро — в легенде о совете «знающих» египетских жрецов, перебирающих варианты сохранения истинного знания перед лицом неизбежного и надвигающегося падения мира — вполне отражает эту её особенность. Согласно этой версии, истинное знание не было доверено даже будущим эзотерическим учениям вследствие необходимо вытекающей из природы эзотеризма склонности к узкому, а следовательно, ситуативному и в конечном счёте извращённому его восприятию, что неизбежно выльется в его замутнение и «чёрное» использование (ср. падение масонской традиции). Для сохранного прохождения «низовой» петли человеческого развития знание должно быть отдано в руки людей, не подозревающих об истинной его при-

¹ См.: Николаева Р. Таро: прогноз судьбы и... психологическая помощь. — «Наука и религия», 1991, № 12, с. 42—45.

роде и не умеющих по-настоящему его использовать, по-детски довольствуясь лишь самым поверхностным его уровнем — нечто вроде простеньких игр на сложнейшем компьютере. Истинное знание, таким образом, не страдало, ибо не затрагивались его глубинные пласты, не использовалось во вред и оставалось в сохранности в ожидании возрождения человечества, способного увидеть телескоп в том инструменте, коим привыкло заколачивать гвозди. Так возникло «цыганское», «египетское» (ср. старое название цыган) Таро. Наиболее отвечающий божественной природе игровой («чистое движение» — и — мимесис) характер этой системы знания также служит одним из ключей к её истинной сущности (ср. восточные «гадательные» системы тайнознания вроде китайской «И Цзин»). Папюсом же выводятся на числовую и символическую систему старших и младших арканов Таро и другие «субконтинентальные» интеллектуальные и бытовые игры — шахматы, шашки, домино (ср. шахматную, математическую и нотную мистику и сходные идеи, разрабатывающиеся время от времени в литературе — Борхес, Т. Манн вслед за Т. Адорно в «Докторе Фаусте» и, конечно же, Г. Гессе в «Игре в бисер»).

Книга Таро состоит из семидесяти восьми карт, пятьдесят шесть из которых («младшие арканы», «меньшие тайны») в целом соответствуют обычным европейским игральным и гадательным картам с добавлением четырёх «рыцарей» между дамами и валетами, «слугами». Четыре таротные масти (для младших арканов) — скипетры, чаши, денари и мечи тоже соотносятся с трефами, червами, бубнами и пиками обычной колоды, причём каждая из них «отвечает» за свою особую область. Скипетры — власть, политика, вообще «внешний», социальный аспект человеческого существования. Чаши — любовь в самом широком смысле слова. Мечи — вражда, сила, ненависть, зло. Денарии — коммуникация, общение, взаимосвязь, словом — область Гермеса. Четыре масти связаны с четырьмя стихиями, четырьмя временами года, четырьмя фазами движения человечества (лики сфинкса, они же звери Апокалипсиса) и с четырьмя буквами тетраграмматона¹. Функция млад-

ших арканов — прикладное и более детальное пояснение определяющих высказываний старших арканов, с которыми они находятся в достаточно сложной структурной — числовой и символической зависимости.

Старшие арканы Таро — это двадцать два символических изображения, каждое из которых воплощает в себе и отражает один из частных законов бытия. Старшие арканы (как, впрочем, и младшие) встроены в жёсткую числовую последовательность, основанную на всех уровнях на той же вездесущей структуре тетраграмматона. Эта жёсткость закона корректируется игровым, случайностным характером чтения книги, что и дало возможность её использования в дивинационных, мантических целях — начиная от цыганского «упрощённого» варианта, который в современном и наиболее у нас распространённом виде базируется лишь на трансформированных младших арканах, до итальянской и немецкой систем и, пожалуй, наиболее известной системы Этейла (Альетта). Каждый из старших арканов связан с конкретной буквой еврейского алфавита, что прямо выводит Таро на каббалистическую традицию (а также с понимаемыми в «иероглифическом», мистическом смысле буквами санскрита, египетской скорописи и «археометрии» Сент-Ива). Арканы имеют также астрологические, а следовательно, алхимические и магические соответствия. Система старших арканов в целом (на доступном нам уровне восприятия) воспроизводит глобальный закон развития и движения вообще — от «пути» мира до индивидуального человеческого пути поиска Бога (важный в нашем случае «сюжетный» план).

Сама всеохватность таротной символики и близость этой системы к природе искусства как бы подразумевает её использование в художественных целях. И приходится скорее удивляться, что европейское искусство, зачастую достаточно близко знакомое с мистической традицией, сравнительно редко этой возможностью пользовалось. Впрочем, о полном

женское, третья, ВАУ, — объединительное, сохраняющее, четвёртая же буква, второе ХЕ, знаменует собой выход на новый уровень. Для первой триады — примитивное логическое значение соответствует обычному силлогизму: тезис, антитеза, синтез. Первозакон вездесущ и объемлет собой все сферы бытия. Папюсом приводятся такие примеры проявления первозакона в «быту» — день, ночь, сумерки — и четвёртый знак — сутки. Мужчина, женщина, ребёнок, четвёртый — семья, и т. д.

¹ Тетраграмматон — буквенное выражение т. н. Первозакона оккультных наук, тайное, непроизносимое Имя Божье — $\text{л } 1 \text{ л}'$, где первая буква (справа налево) йод — активное, создающее, мужское начало, вторая, ХЕ, — пассивное, разрушающее,

пренебрежении говорить не приходится — обратимся лишь к одному из таротных «сюжетов», сравнительно популярному.

Согласно точке зрения¹, достаточно распространённой в традиционных мистических учениях и восходящей в Европе ещё к гностикам, земное бытие человека — это и есть ад, бытие в смерти. Человек, наказанный самим собой за изначальное падение, за облачение духа материей, попадает под власть одного из атрибутов материи — Времени. Время замкнуто на материи, приковано к ней и лишь над ней и властно. Но человек, ввергнутый в материальное бытие, подчиняется его логике и вынужден рождаться снова и снова, вновь и вновь надевая ярмо плоти в дурной бесконечности замкнутого вращения времени. Выход из колеса сансары возможен, но для этого человек должен пройти через смерть — не обычную смерть, ведущую лишь к новому рождению в мир, но через смерть очищающую. В системе Таро один из «сюжетов» касается именно этого аспекта человеческого бытия. «Сюжет» этот связан с несколькими находящимися в достаточно сложных числовых, символических и логических отношениях арканами — Влюблённым (№ 6), Отшельником (№ 9), Повешенным (№ 12) и Дураком (№ 21 или 0).

Путь этот открывает Маг (он же Фокусник — первый аркан колоды Таро). Аркан этот связан в первую очередь (в нашем случае) с осознанием человеком своего места в бытии. Поза, изображённая на рисунке, повторяет собой алеф, первую букву еврейского алфавита, а сам он является как бы средоточием, пересечением активного и пассивного принципов, законов свободы и необходимости, повторяя фигуру каббалистического Адама Кадмона.

Следом идёт Влюблённый, аркан, помимо общей любовной символики несущий в себе в первую очередь тему выбора пути, дилемму между миром и духом и обещание высшего покровительства и заступничества при правильном выборе (здесь позволительно опереться на традиционную христианскую мистическую трактовку любви). Рисунок на карте представляет юношу со скрещёнными на груди руками (выбор ещё не сделан), стоящего у развилки двух дорог. Две женщины стоят рядом с ним. Одна, в багряном одеянии и с венком из виноградных листьев на голове, властно положила руку

на его плечо. Вторая, в белых одеждах и коронованная золотым обручем, бережно поддерживает его под локоть. Сверху Дух Справедливости (весьма схожий с Амуром европейской традиции) напрягает лук. Влюблённый — символ возможного только в любви пробуждения к жизни, к свободе выбора, отнюдь не гарантирующей, однако, правильности избранного пути, да и вообще того, что возможность выбора будет использована. Тема начала, перехода от одного качественного состояния к другому, содержится и в соответствующей этому аркану букве Вау, шестой в еврейском алфавите и одной из составляющих Имя Божье в тетраграмматоне. Позволим себе привести отрывок из характеристики этого знака, данной Фабром д'Оливом. «Это уникальный знак обратимости, который означает переход от одной природы к другой, сообщаясь с одной стороны со знаком света и духовного чувства (Вау с точкой), а с другой стороны объединённый в собственном падении с Айном, знаком тьмы и материальных чувств...» (1, 76) (Айну, 16-й букве алфавита, соответствует в Таро Падающая Башня). Сходную роль в зодиакальной духовной символике играет и астрологическое соответствие Влюблённого — Телец, как начало циклического пути от собственной материальной ограниченности к духовному прорыву Рыб и жертвенности Овна (ср. также соответствия в христианской мистике). Влюблённый — обязательный этап в развитии каждого «имеющего глаза и уши» человека. Избравшие духовный путь уходят дальше к Отшельнику, к Дураку и Повешенному. Ступившие на путь «материальный» после видимого триумфа Колесницы (№ 7) и неустойчивости уже отравленного необходимостью Колеса Фортуны (№ 10) приходят к Падающей Башне (№ 16), символу краха «больших надежд» и духовной смерти.

Кульминационный момент этого сюжета, чаще всего, кстати, и привлекавший европейских художников, связан с двумя ключевыми арканами — Дураком и Повешенным, близость которых очевидна даже и на числовом уровне (в системе оккультного счисления $21 = 12$). Присмотримся к ним попристальнее. Сперва — Дурак, единственный из старших арканов, пусть в трансформированном виде, но сохранённый в обычной карточной колоде в виде джокера. Приводим описание этого рисунка, взятое у Папюса. «Выглядящий беззаботный человек в дурацком колпаке, рваной одежде и с котом-

¹ которая приводится именно как точка зрения.

кой на плече неспеша идёт своей дорогой, не обращая внимания на собаку, которая кусает его за ногу. Он не видит, куда идёт, и приближается к обрыву, где ждёт его, чтобы растерзать, крокодил» (1, 126). Дурак прочно связан с состоянием человека, разбуженного ото сна материи (один из немногих таротных арканов, где тема движения выражена пространственно), проснувшегося для духа, уже способного творить, но не осознавшего до конца ни пути своего, ни предназначения. Дурак — переходная форма человеческого духа, символ неприкаянности приобщившегося к клану «бодрствующих». Поднявшийся до Дурака не должен и не может останавливаться. Шаткая эта ступень даёт опору ещё для одного толчка вверх, но весьма недолго, а промедливший упадёт вниз и будет пожран Тифоном. Приведённые Папюсом строчки Элифаса Леви прекрасно выражают моральный смысл этого образа:

Исполнение желаний спасает от слёз,
Берегись, задремавший в пути,
Боль бежит за тобой по пятам, словно пёс:
Сколько пройдено, и — сколько должно
пройти (1, 127).

В котомке за спиной Дурака — вся сумма человеческого опыта.

Представляла для европейских художников интерес и другая ипостась таротного Дурака, несколько более привычная — Джокер, Шутник, внутренне связанная с его смыслом и ролью в колоде. Дурак занимает в этой системе весьма необычное положение. По логике вещей, в колоде должен быть двадцать один старший аркан, ибо они строго разбиты на три седмицы: первая — «Непостижимый Абсолют», или Бог, вторая — «Душа Абсолюта», или Человек и третья — «Тело Абсолюта», или Универсум. Но два последних аркана имеют по две позиции: Абсолют — 21 или 22 и Дурак — 21 либо 0. Дурак есть необходимая ступень к постижению Абсолюта, но при прохождении этой ступени, при достижении цели, он должен исчезнуть («переходность» природы Дурака). Абсолют, перейдя т. о. на 21 позицию, встраивается в строгую систему трёх седмиц, Дурак же «умножается на ноль», уходит, чтобы встать впереди Мага («подвижность» карточного джокера, его способность заменять собой любую карту — всего лишь утилизация этого свойства Дурака при, естественно, полной утрате философского и мистического смысла подмены), но уже —

вне системы, вне мира. Растворив в Абсолюте прошедший через него импульс, вернув свет — Свету, Дух — Богу, он уничтожает самое себя как ступень к гармонии, не имеющую более смысла по достижении оной.

Путь Дурака от двадцать первой позиции к нулевой в нашем случае лежит ещё через один аркан — через Повешенного, чей номер (12) в системе оккультного счисления равен 21, номеру Дурака. Рисунок на карте изображает человека, подвешенного за левую ногу на виселице, имеющей два основания, на каждом из которых — по шесть срубленных сучьев. Его руки связаны за спиной и образуют основание перевёрнутого треугольника, вершина которого — голова. Правая нога перекрещена с левой, прямой. Таким образом, фигура повторяет алхимический знак личности — перевёрнутый треугольник с крестом над ним, ибо один из смыслов Повешенного — преодоление личности. Человек, постигший законы, движущие миром, не может сделать большего, нежели способствовать их исполнению, отринув личностную ограниченность и действительно включившись в процесс самодвижения Абсолюта. Свобода есть осознанная необходимость — это положение явно не могло войти в обиход европейской мысли до раннеромантической попытки «драматической» революции сознания в одном отдельно взятом университете — в системе оккультных же знаний оно пребывало изначально.

Повешенный — пожалуй, наиболее яркий сюжет в таротном пути личности (как Дурак — наиболее изящный), ибо здесь она на краткий миг, совпадающий с моментом самоотрицания, уравнивается с Богом, уподобляется Солнцу, Божественному Логосу (в окружении 12 Зодиаков — 12 сучьев на рисунке. Обращает внимание параллель с другим Повешенным — Иисусом Христом, чья поза на кресте соответствует тому же знаку, а через него — на столь важную, скажем, у Элиота или у Даррелла мифологему воскресящего Бога. Ср. также традиционное «зодиакальное» толкование апостольской дюжины).

Вернёмся, однако, к использованию этого сюжета в европейской традиции. Начнём издалека. У Иеронима Босха находим необычную для этого художника, а потому особенно примечательную моноцентрическую композицию «Странник» (*Der Landloper*), к тому же ещё и повторённую в двух вариантах. Босхов странник буквально копирует таротного Ду-

рака — тот же взгляд через плечо, та же рваная одежда, тот же короб с «багажом души» за плечами, та же палка в руке и тот же не дающий спать на ходу спутник — пёс с оскаленной пастью. В варианте, написанном на обороте триптиха «Тележка с сеном» (само соседство уже говорит о многом) перед шагающим беспечно странником — обрыв с перекинутыми через него треснувшими мостками. Здесь не место говорить о смысле обычных у Босха многочисленных символов, явно восходящих в данном случае к альбигойскому арсеналу, обратим внимание лишь на одну, важную для нас деталь — на заднем плане воздвигнута виселица о двух опорах, и лестница к ней уже приставлена. В роттердамском же варианте на этом же месте висит на ветке вверху ногами синичка. Сюжет прочерчен достаточно отчётливо.

У другого «немца», уже в 20 веке, у Густава Майринка в удивительном его романе «Голем» таротная образность буквально навязывается читателю. Впрочем, в наши намерения не входит детальный её анализ — это задача для более солидного труда, чем этот. В «Големе» мы будем «видеть» только то, что имеет отношение к избранному сюжету, отвлекаясь лишь по мере надобности.

Центральный персонаж «Голема» резчик камей Атанасиус Пернат, традиционная немецко-еврейская фигура «шлемиля», изначально рифмуется с неприкаянностью таротного Дурака. Однако в начале романа автор ограничивается лишь намёками на наш сюжет, хотя и достаточно явными для знакомого с Таро. Качественный «прорыв» происходит в той великолепно написанной сцене, когда заплутавший в подземных переходах Пернат неожиданно попадает в комнату без двери, легендарное прибежище Голема, и находит там колоду Таро — ход, чисто экспрессионистский по наглядности (комната без двери и с единственным окном, где в куче тряпья лежит потёртый лапсердак Голема, прямо сопоставляется с внутренним пространством самого Перната, с его «запертым» прошлым, а где-то на заднем плане маячит таротный Отшельник). Карта, которую вынимает из колоды Пернат, — конечно же, пагат, он же Маг, первый аркан, первая тайна, Алеф. Всё расставляется по своим местам. Как Маг, поднимающий левую руку к небу, а правую опустивший к земле, стягивает в себе Бога и Демона, так сошлись в Пернате (и в его двойниках — в студенте Хароузке, в убийце Амадее Лапондере) каббалист

Шмайя Гиллель и старьёвщик Аарон Вассертрум; Гавла де-Гармей, «дух костей», Император (№ 4 в Таро) — и Голем, голос плоти и крови, бездуховная глина. Увидев пагата, Пернат вдруг вспоминает, что здесь же, под номером двенадцать, должна быть ещё одна смутно памятная ему карта — Повешенный. Так впервые возникает намёк на истинные пружины дальнейшего движения текста.

Но пока — Голем. При первом же его появлении, в самом начале романа, Пернат осознаёт своё необычайное с ним родство, иногда до полной и недвусмысленной взаимозаменяемости. Стоит ему сунуть в карман пагата, с которым он, как Иаков с ангелом, боролся в одиночестве всю ночь, и уже не он сам, а люди на улице принимают его за Голема. Большинство живущих так никогда и не выходит за пределы алефа — эта мысль тоже звучит в романе вполне отчётливо. В беседе с Гиллелем (в присутствии Перната) старый кукловод Цвак, мечтающий найти книгу с ответами на все вопросы, неосторожно произносит слова «будь я последний пагат, если что-нибудь понял», и происходит весьма знаменательный диалог о сущности Таро и о месте человека в нём:

— „Последний пагат“? Кто знает, не зовут ли вас так на самом деле, господин Цвак!.. Впрочем, если уж речь зашла именно о картах, господин Цвак, вы играете в тарок?

— В тарок? А как же. С детства.

— В таком случае мне как-то неприятно слышать, что вы спрашиваете о книге, которую тысячу раз сами держали в руках» (2, 125). И далее — объяснение того, что такое Маг.

У самого же Перната — иная дорога. На это намекает ему ещё до визита к Голему всё тот же Гиллель:

«— Две стези бегут рядом: дорога жизни и дорога смерти. Ты взял книгу Иббур и прочел её. Душа твоя зачала от духа жизни...» (2, 83).

Позже этот достаточно прозрачный намёк на момент выбора, заключённый в таротном символе Влюблённого, получает непосредственное воплощение — Пернату приходится делать выбор перед лицом явившегося ему Гавла де-Гармея: взять магические зёрна или отказаться от них. Выбор сделан и, вроде бы совершенно случайно, немного ниже в чисто лирической зарисовке проскальзывает ключевая фраза:

«Это хмельные семена смутной влюблённости неудержимо проросли в моей душе» (2, 176). А ещё через страицу —

уже куда более уверенный набросок основного сюжета:

«Я стал искать пагат.

Но пагата не было. Куда он мог подеваться?

Ещё раз пересмотрел все карты и стал размышлять о скрытом смысле изображений. Особенно был интересен «повешенный» — что бы он мог обозначать?

Человек висел на верёвке между небом и землёй вниз головой, руки связаны за спиной, правая голень крест-накрест с левой ногой, так что это выглядело как крест на перевёрнутом треугольнике» (2, 179).

С этой поры Влюблённый и Повешенный определяют ход сюжета и движение смыслов в романе. С Влюблённым всё относительно просто — две женщины стоят, как и положено, по обе руки от Перната — яркая светская дама Ангелина, преобладающий цвет которой — красный, цвет вина и плоти (а за спиной Ангелины — её уродливый двойник из гетто, Розина, вероятная дочь самого Вассертрума), и Мириам, дочь Гиллеля, живущая постоянным ожиданием чуда (ср. Мария — мать, сестра и жена Иисуса).

А вот Повешенный — это некая смутная цель, неясная ещё самому Пернату, — а как же иначе, он же Дурак! Повешенный словно вспыхивает иногда в тексте романа — через намёк, через внешний сюжет, не раскрывая до поры своего истинного смысла. Вот Пернату вдруг надоело жить, и первое, что приходит ему на ум «— Почему бы не скрутить... верёвку и не повесить?» (2, 203). Вот ему предлагают бежать из тюрьмы, из комнаты без выхода, куда упрятал его Вассертрум: «...коли увидите, как с крыши под окно спущена петля...» (2, 265). Вот в камеру к нему подсаживают убийцу и насильника Амадея Лапондера, руками которого за стенами тюрьмы вершилась судьба Перната. Лапондер, однако, оказывается таким же Дураком (одно из старых названий этой карты — Товарищ, Попутчик), как и сам Пернат, и вскоре, полностью удовлетворённый пройденным путём, с радостью кончает жизнь на виселице. Сам Пернат гибнет, выйдя на волю из своей тюрьмы и увидев сперва языки пламени, невидимые для нас, прочих, постоянно в них живущих, а потом — в окошко комнаты Голема, своей комнаты — исчезнувших для этого мира Мириам и Гиллеля. Перед тем как уйти самому, он на минуту застывает в падении в позе Повешенного: «На миг повисаю головой

вниз, скрестив ноги, между небом и землёй» (2, 275).

Дурак стал Повешенным и ушёл. В мире остался только бесприютный Пёс, потерявший хозяина. Едва выйдя из тюрьмы (!), по дороге к гетто, к перевоплощению, Пернат видит напоследок своего спутника: «Одинок и понуро рысцой бежал по мокрому тротуару белый пёс. Я посмотрел ему вслед. Странно! Собака! Я и забыл, что на белом свете существуют такие животные. В ребячьем восторге я крикнул вслед псу:

— Ну-ну! Не стоит вешать голову!» (2, 265).

Через 33 года после ухода Перната безымянное авторское Я, жившее то ли в самом Пернате, то ли за его плечом, пытается снова отыскать его и Мириам. Но пса, потерявшего след исчезнувшего вдруг хозяина («Господин Пернат любезнейше благодарит вас и просит не считать его нерадушным хозяином за то, что не приглашает вас пройти в сад...» (2, 286)), дальше ворот, как и положено, не пускают. Впрочем, кто знает, что случилось бы, оставь он у себя невесту как попавшую к нему в руки шляпу с надписью на подкладке — Атанасиус Пернат — дурацкий колопак, оставленный ушедшим за ненадобностью, но ищущий нового хозяина.

Через семь лет после «Голема», в 1922 году, в Англии увидела свет поэма Томаса Стирнза Элиота, «Бесплодная земля», в которой тот же таротный сюжет разработан в несколько ином контексте. На тему желанной смерти, смерти как долгожданного освобождения указывает уже эпиграф, выводящий одновременно и на тему Времени как бремени, проклятия, неизбежной и невыносимой ноши. Тему эту подхватывает и развивает первая часть поэмы «Погребение мёртвого», в которой противопоставляются «внешние», «социальные» иллюзии и беды человечества — Времени, Истории как его истинной, «внутренней», изначальной иллюзии и беде.

И я покажу тебе нечто, отличное
От тени твоей, что утром идёт за тобою,
И тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку;
Я покажу тебе ужас в пригоршне праха
(3, 48).

Тень здесь — аллюзия на Эмерсона («Всякое установление есть тень человека»), неоднократно использованная Элиотом — ср. в стихотворении «Суини эректус»:

История, по Эмерсону,
Продление тени человека.
Не знал философ, что от Суини
Не тень упала, а калека (3, 36).

Темы времени, смерти и воскресения, любви сходятся в смысловом центре «Погребения мёртвого» — в гротескном гадании мадам Созострис. Приём для Элиота весьма характерный — упрятать первое слитное звучание основной темы за нарочито фарсовыми аккордами, построенными на тех же созвучиях. Гадание мадам Созострис целиком и полностью принадлежит внешнему, материальному миру и, казалось бы, опошляет саму возможность любых оккультных отсылок далее в тексте. Но здесь-то и зарыта собака. Дело в том, что мадам Созострис способна лишь перечислять выпавшие карты, смысл же сказанного остаётся от неё сокрытым. Здесь Элиот впервые сознательно демонстрирует многослойность текста.

Слепота мадам Созострис заявлена сразу, в самом гадании. Названия арканов автором сознательно искажены, замаскированы (в нарочито небрежно составленном автокомментарии к поэме Элиот писал, что с составом колоды он якобы в точности не знаком, а потому половину карт выдумал сам), но параллели достаточно однозначны. Так, Белладонна, «Владычица Скал, владычица обстоятельств» ассоциируется с Высокой Жрицей (№ 2) — аналогия проведена через итальянское имя одной из Парок (Время!) — отсюда на Джоконду Леонардо, сидящую между скал (Высокая Жрица сидит на троне — этот трон появится в самом начале второй части поэмы — между двумя каменными столпами, Якином и Боасом, лицо её скрыто под вуалью, единственное, что можно видеть — улыбка). Высокая Жрица — одна из хозяек материального мира. Человек с тремя опорами — явно таротный Отшельник, изображаемый в виде старика с клюкой (обыгрывается старая как мир загадка Сфинкса), а Колесо — конечно же, Колесо Фортуны. Одноглазый купец — не кто иной, как Дурак, один из немногих таротных персонажей, изображённых в профиль. То, что он несёт за спиной, недаром скрыто от мадам Созострис, ибо это — багаж души, не подчинённой уже законам материального мира. Мадам Созострис сразу называет мёртвого (см. название первой части поэмы) — утопленника, финикийского моряка, говорит о смерти от воды, но не видит Повешенного, хотя и ищет его. Символика смерти от воды достаточно

ясна уже здесь, в начале поэмы — вода этого мира в отличие от живой воды Божественного слова — это мёртвая, горькая вода (см. Якоба Бёме о «сладкой» и «горькой» воде в «Утренней заре в восхождении» — М., 1990).

Возникающий в конце гадания образ кругового движения ещё раз собирает воедино темы времени и жизни-в-смерти, «мирскую» составляющую символического подтекста, отсылая к традиционным образам змея, кусающего собственный хвост, и колеса сансары:

Я вижу толпы, шагающие по кругу, —

затем:

Толпы в буром тумане зимней зари,
Лондонский мост на веку повидал столь
Я и не думал, что смерть унесла столь
многих,
многих.

И, несколько ниже:

Туда, где Сент-Мери Вулнорт часы
С мёртвым звуком на девятом ударе
отбивает
(3, 49).

Имя Марии (ср. у Майринка — Мириам), уже во второй раз возникающее на сравнительно небольшом отрезке текста, готовит фон для появления темы воскресения из мёртвых, связанной опять-таки с мифологемой воскресающего Бога:

Мёртвый, зарытый в твоём саду год
назад, —
Пророс ли он? (3,49).

В пятой части поэмы («Что сказал гром»), после «плача о дожде», и в самом деле появляется как обещание возрождения «кто-то третий» — Христос, идущий рядом с учениками по дороге в Эммаус. Здесь и сойдутся, наконец, в одной фигуре Повешенный (параллель вряд ли нуждается в повторном комментарии) и Дурак (вспомним — Попутчик, он же Пёс, тревожащий идущего). Та же логика применима и для комментирования вызвавшей много толков фразы, следующей за приведённой выше:

И да будет Пёс подальше оттуда, он друг
человека
И может когтями вырыть его из земли
(3,49).

Кто иной этот пёс, как не вечный спутник таротного Дурака, он же Отшельник, он

же Влюблённый, он же Повешенный? Зерну нужно время, чтобы созреть в смерти для новой жизни. И не является ли и финальное в «Погребении мёртвого» обращение к «лицемерному читателю» — «подобный мне, брат мой» — следующей же фразой, на «ты» — обращением к этому самому Псу, потерявшему след Хозяина (ср. финал «Голема»)¹?

В начале второй части, «Игры в шахматы», таротная Высокая Жрица вписывается в тягучий, «красивый» контекст почти барочного по внешности и пародийного по сути описательного стихотворения, в конце которого мелькает определение всего перечисленного как «обломков времени». В этой части, посвящённой мёртвому, механическому движению мира, как и в двух следующих («Огненная проповедь» и «Смерть от воды»), таротная образность присутствует в качестве фона, изредка прорываясь сквозь ткань более близких подтекстов. Фраза «Ты жив ещё?», следующая за напоминанием об утопленнике, финальные слова («доброй ночи, прекрасные леди»), предвещающие у Шекспира близкую смерть Офелии (от воды!); водная символика «Огненной проповеди»² — всё это готовит классически спокойную, почти безмятежную интонацию «Смерти от воды» — и ярко эмоциональную мольбу о дожде, которой открывается последняя часть поэмы.

Но элиотовский спасительный дождь — не для царства мёртвых, а для тех, кто способен выйти из него. Христос, воскресший Бог, у Элиота идёт лишь рядом с идущим. Миру же остаются лишь

¹ Стоит, пожалуй, вспомнить здесь и ещё об одной паре: Дурак — Пёс, куда более знакомой нашему читателю. Отнюдь не пушей «готической» эффективности ради Мефистофель впервые является Фаусту в облике чёрной собаки — но чтобы гнать его вперёд («Ступай, расшевели его застой, / Вертись пред ним...» 4, 33), стать частью его собственной души, побуждающей к постоянному движению. И таким же точно потерянным псом без хозяина остаётся Мефистофель в финале — хотя, конечно, контекст снова иной.

² Финал этой части поэмы, отсылающий к «Огненной проповеди» Будды:

Горящий горящий горящий
О, Господи, Ты выхватишь меня,
О, Господи, Ты выхватишь
горящий (3, 58), —

весьма недвусмысленно переключается со смертью «прозревшего» Атанасуса Перната в языках невидимого смертным вечного пламени.

пустые оболочки сюжетов и слов — вот смысл Элиотова «датта» — «дай», первого слова тройного ДА, прозвучавшего в «Что сказал гром»:

Датта: что же мы дали?
Друг мой, кровь задрожавшего сердца,
Дикую смелость гибельного мгновения
Чего не искупишь и веком благоразумия
Этим, лишь этим существовали
Чего не найдут в некрологах наших
В эпитафиях, затканых пауками
Под печатями, взломанными адвокатом
В опустевших комнатах наших (3, 62).

Что же касается остающихся в мире, то их удел — ещё один таротный символ, настойчиво повторяющийся в пятой части поэмы — Падающая Башня и Время, оставленное теми, кто ушёл вослед Воскресшему:

Нетопыри свисают книзу головами
И с башен опрокинутых несётся
Курантов бой покинутое время
И полнят голоса пустоты и иссякшие
колодцы (3, 62).

А последняя строфа поэмы, в которой также встречается этот образ, прямо посвящена остающемуся в мире, спасённому Королю Рыбаку, которому, как и его стране, закрыт путь к живой воде за леностью духа¹.

¹ Хотелось бы подробно рассказать ещё об одном весьма занятном с этой точки зрения авторе, о Лоренсе Даррелле, но он у нас, к сожалению, совершенно пока неизвестен, а говорить о тексте, читателю незнакомом, — занятие неблагоприятное. Но несколько слов сказать всё же надо — переводы-то скоро будут. Ещё в раннем своём романе «Чёрная книга» (1938), заслужившем, кстати, похвалу весьма взыскательного Элиота, появляются, пока ещё на заднем плане, наши знакомые: «Как таротный Дурак, свихнувшийся джокер колоды, я блуждаю среди событий этого пути» (5, 9). А несколькими страницами ниже тот же рассказчик видит в собственном перевёрнутом отражении Повешенного. Но пока это — лишь отдельные образы. Что же до «Александрийского квартета» (1957—1960), сильнеешего доселе четырёхтомного романа Даррелла, то здесь таротная образность использована как одна из основных несущих опор всего текста. Причём в отличие от Майринка и Элиота, опытом которых Дарелл несомненно пользовался, он использует таротные сюжеты куда шире — чуть ли не у каждого персонажа «Квартета» есть как минимум один таротный прототип. Кстати, перевод «Жюстин», первого романа «Квартета», заявили на 1992 год сразу два журнала — «Звезда» и «Европа + Америка».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Encausse G. Absolute Key to the Occult Sciences. L., 1910 (перевод мой. — В. М.).
2. Майринк Г. Голем. М., 1991.
3. Элиот Т. С. Бесплодная земля. М., 1971.
4. Гёте И. В. Фауст. Пер. Б. Пастернака, М., 1982.
5. Durrell L. The Black Book. L., 1973.

О Тарковском. Сборник воспоминаний. Составитель и автор предисл. М. Тарковская. М., Прогресс, 1989; Мир и фильмы Андрея Тарковского. Размышления, исследования, воспоминания, письма. М., Искусство, 1991; М. ТУРОВСКАЯ. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского. М., Искусство, 1991.

«В детстве он безумно хотел стать Бахом», — пишет Лейла Александер, бывшая ассистентом и переводчиком на фильме «Жертвоприношение». Это трогательный и многозначительный факт из биографии нашего знаменитого современника. Однако удивительное в том, что мальчику Андрею со временем удалось невероятное: стать именно своего рода Бахом в киноискусстве. Ибо если суть исключительности Баха состоит в поразительной мощи метафизического начала в его музыке, то именно в этом же самом характернейшая и ярчайшая примета космоса Тарковского, подобно космосу Баха уникально отрешённого от бытового и сюжетно-рационалистического психологизма, что и дало основание И. Бергману назвать картины Тарковского духовными сновидениями. Но именно этим Тарковский внезапно расширил возможности кинематографа. Абсолютно прав Кшиштоф Занусси: «Андрей совершил в кино такое, что кажется невозможным, — он сумел придать материальную форму тому, что по сути своей невидимо и недоступно нашим ощущениям: в механической кинофотографии он запечатлел облик Духа».

Причём, добавлю, он не только сделал ощутимым сам процесс бытия духа (что было бы всего лишь неким духовным импрессионизмом, а импрессионизм, как известно, претил режиссеру), но ввёл нашу мысль в драматичнейшие коллизии на пути к Духу, так что без личного интеллектуального комментария полнота восприятия картин Тарковского просто невозможна. Потому-то вышедшие книги, будем надеяться, лишь подступ к тому процессу глубинной интерпретации творчества крупнейшего русского режиссёра, которая, как это ни покажется странным, насущна для нас. Дело даже не в том, что Тарковский не всё сказал, что мог.

В известном смысле он как художник сказал именно всё, и его последний фильм в своей внутренней гениальной противоречивости говорит именно о невозможности дальнейшего поклонения красоте, ибо эстет и пророк — две вещи несовместные. Вот как описывает художник Шавкат Абдусаламов, автор одного из самых оригинальных и исповедальных очерков, своё впечатление от фильма «Жертвоприношение»: «Это уже не игра в киноискусство, это жертва Иисуса, — стучало в висках... Мы захлебнулись его «Жертвой». Ничего подобного я даже представить себе не мог. В «Ностальгии», как и в «Сталкере», была ещё игра в культуру, во вкус. В «Жертве» всё уже «над». Он освободил нас от утлого права быть оставленными, лишил нас жалости к самим себе...» Ш. Абдусаламов верно почувствовал, что этот фильм уже за гранью того, что до сих пор называлось искусством. Это уже открыто религиозная медитация, внутренне, стилем и методом, знаменующая разрыв с искусством как предметом безусловного поклонения. Есть нечто, что выше искусства и что больше и существеннее, чем дар. И это самое важное и самое значительное, самое прекрасное — рядом с каждым, и тот, кто не обладает даром, даже ближе к нему... Такова поразительная, парадоксалистская логика развития Тарковского, совмещавшего в себе утончёнейший эстетизм с метафизической страстностью подлинного философа. Вот я и хочу подчеркнуть, что Тарковский был мыслителем-интуитивистом крупного масштаба (и конечно, с первой же своей картины), и именно в качестве такого мыслителя, затронувшего самые болевые точки нашего «пойманного» бытия, он и нуждается в раскрытии и в динамическом «разгадывании».

На фильмах Тарковского сформировалось не одно поколение тех, кто искал внутренней свободы, целостного мироощущения и абсолютной внутренней естественности. И в этом смысле было бы чрезвычайно интересно и полезно продумать, что же именно сформировалось в нас ритмами Тарковского, что откликнулось в сбщих находках, в чём он был первотолчком, а в чём он сам не поспевал

за объективным временем в себе. Во всяком случае, я не знаю другого художника или мыслителя в наши дни и в нашей стране, которому бы удалось так глубоко понять мифологию русской души в контексте вселенской мифологии нашего апокалиптического времени. Тайна Тарковского именно в том, что он — крупнейший русский философ. И это утверждение едва ли покажется шокирующим, если учесть, как стремительно философские методы в нашем веке смыкаются с методами поэтическими.

Три книги, о которых речь, — подлинный праздник для друзей кинематографа. Однако далее первоначального накопления бесспорно ценной информации о жизни и творчестве режиссёра они не идут. Впрочем, они и не претендуют на большее, хотя в каждой из трёх книг есть блистательные наблюдения и формулировки. И всё же воспоминания о человеке, конечно же, всегда мельче того образа, который создаётся его творчеством. В этом смысле самое глубокое и самое прекрасное в этих книгах — иллюстрации, подлинные графические шедевры. Даже сам художник в качестве интерпретатора ниже своих произведений.

Мы отчётливо видим из этих воспоминаний, как невероятно трудно было знавшим Тарковского ощутить в личном общении его подлинный масштаб гения. Художник устремлён к множественности своих воплощений, он ищет некую связующую нить. Потому-то художник — такой, каким он является окружающим, неизбежно ниже своих творений. Окружающие видят лишь частность, одну-единственную ипостась, в то время как в акте созидания художник окликает в себе сонмы духов.

Говорить о фильмах Тарковского — значит, говорить о чём-то большем, нежели личность самого режиссёра. Уже поэтому мы нуждаемся не в «киноведческих» или «искусствоведческих» анализах фильмов Тарковского, а в чём-то принципиально ином. Сам по себе анализ, вне зависимости от его уровня, произволен, циничен и никогда не говорит о целом, он заведомо ниже целого, тем более не выходит за его пределы. М. Туровская права: «Режиссёр считал идеальным для себя зрителя, который свободно отдаётся стихии фильма, не занимаясь рационализацией». Такого зрителя (а критик в идеале — это идеальный зритель) хочет любой режиссёр, не только Тарковский. Но не сомневаюсь, что в глубине души Тарковский мечтал о таких интерпретациях

своего творчества, где идёт творческий синтез, недоступный самому режиссёру. Интерпретируя Киркегора, Шестов выходит за пределы конкретных работ датского мыслителя, исповедуясь в своих родственниках философских муках. В равной мере книга Бердяева о Достоевском была бы, вероятно, питательна и для самого Достоевского. Тарковский, удивлен, ждёт родственную душу, способную продолжить речь, прерванную встречным потоком времени. Едва ли это произойдёт в искусстве кино, более вероятно — в прозе или в поэзии. Во всяком случае, факт остаётся фактом: с уходом Тарковского (и даже более того — Тарковских: отца и сына, бывших, в сущности, двупостасным единством), мы осиротели, ибо на горизонте не стало ума, хранившего нас своей постоянной бдительностью.

Н. БОЛДЫРЕВ

ПЫЛЯЕВ М. И. Замечательные чудачки и оригиналы. М., издательство СП «Интербук», 1990.

На первый взгляд — коллекция. Слово нам 5 лет, нас привели в бесплатный магазин игрушек и сказали: выбирай. Глаза разбежались, но сразу же насмерть полюбились двое: генерал Веньяминов, «известный славный сподвижник войн 1812 и 1814 годов», Н. И. Д-ов, суевр и педант. Первый был нелюдим, одевался в экспедиции как Наполеон и генералам на вопрос «куда, мол, идём» — отвечал: «Дражайший! (или, как в книжке — дражайший!) Барабанщик вам это укажет!»... Был одинок и умер от полной апатии ко всему. Увы. Второй ещё лучше: имел оригинальную манеру менять себе сорочку и посылал воздушный поцелуй иконе, до которой не мог дотянуться, — чтоб выказать благочестие.

Нам не очень ясно, каковы всё-таки признаки чудака для автора — потому что половину случаев мы бы никак не отнесли даже к оригинальностям. Остроты, получше и похуже, да страсть к орденам и духам, а страсть к наградам, как каждый мог убедиться, есть обычная национальная черта. Мы стали свободнее смотреть на капризы личности или автор не мог остановиться и перечислял всё, что помнил? Может быть, нас погубила медицина и мы склонны сразу ставить диагноз. Или в обстановке всеобщей барской деревни, подражающей в домотканых мундирах дворцу, которого нет, среди невесёлых

уродов и прыганья из котла с водой студёной в котёл с водой варёной стало не до праздного отмечания чудачеств. Поэтому так нежно, но недолго сожалею над книжкой о куда-то улетевшей подробной домашности жизни — жизни разноцветной и вызывающе самопальной.

С чудачками — сложно. Автор было захочет потрафить русской склонности классифицировать (ведь в России и заезжий француз любит, изумляясь, на 5 линии даму 4 класса), выставит рядами: суевров, скупцов, тиранов. Но тут же, собьётся — невозможно, водопад, поток, россыпь. Мы тоже хотели сортировать, и тоже не вышло. Но пополам разделить легко — чтоб не говорить о первой половине. Она всем известна, эти сто раз писанные и читанные силачи, самодуры, военные повесы. Среди собственно чудачеств второй половины всё же выделяется если не сорт и вид, то — одно древнее направление.

Россия, по Рильке и без Рильке, несомненно граничит с Богом. Граничит — это страшновато; не родная, не кровная — обручённая, как умилялись: Невеста. Иногда кажется — самозванная невеста, вариант Лжедмитрия, ставшего хорошим царём; вроде удачно крещёного чёрта, который, как в стихах, то молится, то хочет повеситься. Если с Богом с одной, то с кем или с чем с другой? Случай из другой, не менее русской книги: в 1859 году сибирские лешие проиграли русским зайцев и белок и гнали проигрыш в леса победителей. Гон, суета, бег, верченье; бесы разны. Главные русские стихи, тоже по-домашнему жуткие, как возня домового, с семейными делами нечисти — свадьба, поминки, визг, вой — что-то вспомнились над весёлой, торопливой, полной опечаток книгой. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют. (А рядом — русский музей «Мёртвых душ».) Вот, подтверждён вечно верченье: советник Корсаков 4 года кружил по Сибири, так как приказом врага-губернатора ему было запрещено жить в одном месте более трёх дней. Каково? Или ещё случай: отставной вице-губернатор Ш-ев «до того обожал усопших, что, узнав от гробовщика, что в таком-то доме скончался такой-то, брал из дому небольшую подушку и прямо переселялся в квартиру мертвеца; он его обмывал, читал по нём псалтырь, провожал на кладбище и покидал последним могилу». Прелестно, что всегда указано общественное положение подобных чудачков — и не из последних. А вот скупец доктор Б-ий, который в целях обороны от воров обставился «разными предметами ужаса»,

от мебели до трубки — из костей убийц и жертв. Кажется, автор и вправду считает, что главная оригинальность здесь в степени скупости. В том же роде — страшный конец миллионера-тирана П-ва: при входе в спальню нашли «кучу пепла, в которой можно было различить две целые ноги от пяток до колен и руки. Между ногами лежала голова». Воздух был пропитан сажей. Кто этот миллионер из кучи пепла — чудак или оригинал? Где мы? В России — русофобски отвечает эхо. Над сгущением подобных историй хочется стать иностранцем, туристом — и привычно удивиться загадочной местной душе или бежать сломя голову от русских выдумок.

Соседний анекдот вроде бы забавный и привычный, пословичный — но мы чувствуем глубокое дыхание мифа, вечногo ужаса, Зевесовых приключений. Помещик Кротков, скупец и самодур, дождался такой мести обиженного сына: «без ведома отца взял да и продал одно из лучших его имений и в число крестьян во главе подворной описи поместил в продажу и самого родителя своего...». В отличие от Зевеса Кротков-сын не преуспел. «Ужасный поступок с отцом», — говорит автор.

И уж совсем наглядно, дальше ехать некуда — слух, собравший толпу народа к Казанскому, на отпевание покойника с рогами и когтями. «Уверяли, что этот нелепый слух пушен самим Аракчеевым, чтоб отвлечь умы петербуржцев от рассказов про убийство его любовницы Настасьи Минкиной». Читаешь и видишь, как по Невскому идёт Гоголь.

А как чёрт пронизывает русскую бюрократию! Вот перед падением сибирского губернатора (того самого, что приказом сделал советника Вечным Жидом) активизируется вся губернская нечисть: домовый бренчит кандалами, чёрт давит часового, солдаты видят видения, чиновники мешаются в уме, а сын губернатора в Петербурге «убил бутылкой актрису и находится под следствием».

Из самых странных и жутких, на наш взгляд, настоящих чудачеств — история поляка Воронского. Оставшись без ног и одной руки, он поклялся не показываться свету и поместил себя в шахматный автомат, управляемый «механиком», чем долго всех морочил. Голем наоборот.

Но оставим бесовщину. Какая прелестная, полная, домашняя жизнь! Общество «кавалеров пробки» поёт гимн собственного сочинения; царь говорит подданным «ты», и звучит это «ты» совсем не так, как «ты» президента, а воистину отечески; золотопромышленник всем городом, по-се-

мейному, в халате проживает своё состояние...

Об авторе тоже надо поговорить. Мы часто не согласны с М. И. в, так сказать, эмоциональной оценке персонажей. Он негодует, а нам смешно, он смеётся, а нам скучно, он иронизирует, а мы тронуты. Но тем интереснее читать. Чем-то М. И. похож на достоевских рассказчиков — добросовестный, любопытный, хладнокровный, особенно не блещущий сердцем и умом, но явно — хороший человек. Слог его чист и приятен для нас, непривычных, как свежая вода. О том же кн. Куракине он пишет так: «наслаждаясь и мучаясь воспоминаниями Трианона и Марии-Антуанетты, посвятил ей деревянный храм и назвал её именем длинную ведущую к нему аллею; такие державные затем имели довольно смешную сторону», — мы абсолютно не видим здесь смешной стороны, вспоминая бедную королеву, но восхищаемся старинной прелестью слов.

А вот наши любимцы. М. И. слишком уж, прости, Господи, по-обывательски относится к ним, хихикает и подшучивает — а мы растроганы. «Непорочной нравственности» поэт Костров: будучи навеселе, читал роман Вертера и «призывал любезную, которой у него никогда не было, называл по имени и восклицал: Где ты? На Олимпе? Выше! В Эмпирее! Выше! Не постигаю! — и умолкал». Ещё сто лет до Стихов о Прекрасной Даме. Ах, милый поэт Костров, не хочется смеяться. Да и честный малый М. И. что-то чувствует и продолжает про поэта словами рыцарственной строгости — о шутовских дуэлях, на которые подбивали, «подповиши Кострова», друзья (снова, видно, традиция — новые друзья нового поэта будут так развлекаться). Поэту давали ножны, противнику — шпагу. «Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался». Весел Костров был не хуже позднейшего. Диалог с Шуваловым после несостоявшейся аудиенции у царицы:

«— И не стыдно ли тебе, Ермил Иванович, что ты променял дворец на кабак?

— Побывайте-ка, Иван Иванович, в кабаке — право, его не променяете ни на какой дворец!».

Конец его обычный для поэта. «Костров вечно нуждался и умер в бедности, как и Гомер».

Следующий за Костровым «бард» вернул нас в забытую современность и напомнил сразу двух народных депутатов. «Этот бард писал свои оды, ходя по Крем-

лю; за ним носил бумагу и чернильницу его ливрейный лакей. При виде Кремля он наполнялся восторгом, останавливался и писал».

Но всё же хочется вздохнуть, как пьяный Атос над пьяным д'Артаньяном: экомельчают люди! Размаху нет? — Нет. Души не хватает, господа. Какой советский взяточник будет еженедельно собирать обед на 500 человек, выдумывать супы, поражающие воображение Хлестакова, или скупать для шутки всех извозчиков Петербурга? Какой офицер проскачет мимо командующего на параде, нарядившись толстой дамой? Кто нынче носит брильянтовые пуговицы — а если носит, то похож ли носитель на князя Куракина? Увы, увы. Опять непохоже — говоришь, читая чудака за чудачком. И вдруг — оно, наше! «Князь Н. Н-н, один из самодуров тоже замечательных, в своём подмосковном поместье учредил даже нечто вроде маленького двора из своих «подданных». У него были гофмаршалы, камергеры, камерюнкеры и фрейлины...» Были отличия и церемониал, выезды и поношенные, специально купленные в Москве платья для дам. Князь приглашал даму, открывая бал, — она шла танцевать, приложившись к его руке... Боже мой, мы искали традиций и продолжения — вот они. Наконец похоже, без кривой усмешки и натяжек. Мы носим чужие платья, присваиваем чины, желаем дурацких наград. Двор над нами смеётся. Пожалуй, и палача своего заведём, камерпалача. «Кто, впрочем, не доходил до сумасбродства в деревне, чтоб показать себя своим вассалом и чинить над ними суд и расправу?» Пусть двора нет и не было никогда, а мы смешны и дики — ещё есть шанс поумнеть. Пока же сядем за уроки, прочтём и повторим, опять восхитимся прелестью слога и названиями глав. Простота графа Платова. Странности фамилии Луниных. История ожерелья Марии-Антуанетты и финал её в России (здесь снова традиция — русской разгадки мировых скандалов, ибо знаменитая мадам де Ламот, оказывается, нашлась в России и умерла в Крыму). Идиллик-учитель.

Этим учителем и закончим. Все встречали старичка в красном, который носил цветное вместо подобающего траура. Он француз, он отсидел по вздорному обвинению при Павле, потерял за время заключения жену, сошёл с ума — совсем русская судьба. Вот и следствие: «Он не верил в смерть; по его мнению, интеллигентные люди не умирают, а только исчезают на время, они продолжают жить на земле и ходят между людьми, неви-

димые для других». Старичок в красном, что сказать тебе на прощанье? Тобой, а не кошколюбивыми дамами должен бы был М. И. кончить книгу. Мы — твои дети и последователи, чудачки, жители большой деревни. На этом закрываем книжку — спасибо, СП «Интербук», — полночи прошло, выключаем свет, пора спать, за окном стучит дождь, а может — невидимые миру интеллигентные оригиналы, уставшие за день ходить между людьми.

НИНА ВОЛКОВА

Politic and Society in Provincial Russia. Saratov 1590—1917. Ed. by Rex A. Wade and Scott J. Seregny. Ohio State University. Columbus, 1989.

По инициативе группы историков-славистов Тимоти Р. Микстера, Дональда Д. Рэли и Томаса Фэллоуса, летом 1985 года в Иллинойском университете была проведена научная конференция, посвящённая истории Саратова и края. В 1989 году по материалам этой конференции была издана книга. Советские историки не смогли принять участие в этой конференции, на ней был представлен лишь письменный доклад профессора Г. А. Герасименко из Москвы, тоже помещённый в сборнике. Таким образом, участниками конференции и основными авторами рецензируемой книги стали американские историки-слависты. Из них лишь один профессор университета Северной Каролины в Чэпел Хилле Дональд Д. Рэли непосредственно занимается историей Саратова. Ему принадлежит монография «Революция на Волге: 1917 год в Саратове» (1986), которая сейчас готовится к изданию на русском языке. Остальные участники конференции и авторы этой книги занимаются различными проблемами нашей истории, и каждый из них счёл возможным специально заняться историей Саратова. Такое избирательное внимание составители сборника Рекс А. Уэйд и Скотт Д. Сереньи связывают с тем, что Саратов имеет богатую и интересную историю, причём достаточно хорошо документированную. Так или иначе Саратов оказался единственным из провинциальных городов России, история которого столь детально прослежена зарубежными историками. Авторы книги принадлежат к тем поколениям американских историков-славистов, которые как учёные формировались в постмаккартистскую эпоху, когда миновала наиболее опасная пора «холодной войны»,

когда в СССР промчалась короткая «оттепель», когда стали изживать себя упрощённые, подчас примитивные подходы к русской истории, и особенно к советской, подходы, порождённые воинственной конфронтацией сверхдержав и отчасти питающие эту конфронтацию. Для них изначально было и остаётся характерным стремление непредвзято судить о перипетиях нашей истории. Отсюда свойственная всем авторам этой книги фундаментальность в подборе исторических источников и скрупулёзность их анализа. Не вина, а беда их в том, что им были недоступны материалы саратовских архивов. Профессор Рэли был первым, кто буквально «пробил» дорогу в «закрытый» Саратов в юбилейном 1990 году, на пятом году перестройки, гласности и т. д., и получил возможность поработать в Государственном архиве Саратовской области. Однако многие авторы широко использовали доступные им материалы центральных архивов в Москве.

Во вступительной статье профессор Индианского университета Скотт Д. Сереньи и профессор университета Джоржа Мэйсона Рекс А. Уэйд представили доказательства необходимости и плодотворности изучения истории Саратовского края для более глубокого понимания истории России в целом. Губерния была как бы аналогом России, если иметь в виду и её сложный этнический состав при доминировании при этом великорусского населения. Как и Россия в целом, Саратовская губерния была аграрной, но к концу века в ней, как и в стране, появилась и быстро развивалась промышленность. Саратов, хотя и оставался провинциальным центром, стал к концу века «Афинами на Волге» (в 1890 в Саратове было 42 книжных магазина, 5 ежедневных газет и 12 типографий). С другой стороны, отмечают авторы, историю России и невозможно понять, взирая на неё из столиц. Именно в «сердцевине» (*heartland*) России, к которой относилось и Поволжье, ковалась её история, контроль над ней означал контроль и над всей страной.

В небольшой, но ёмкой статье профессор университета Юга в Сивони (Теннесси) Джемс Д. Харт, работающий над книгой о «Робине Гуде на Волге» (о Стеньке Разине), проследил историю Саратова с 1590 по 1860 год, историю превращения пограничной заставы в губернскую столицу.

Профессор Алан Кимбал в статье «Конспирация и обстановка в Саратове, 1859—1864» описал первый в истории Рос-

сии опыт гласности и перестройки в условиях сохранения авторитарной политической системы. Это было время, когда в ходе подготовки и проведения реформы 1861 года в Саратове впервые забурилась гражданская жизнь, появились самостоятельные общественные организации. Попытки властей ввести эту новую гражданскую жизнь в русло официальности переместили её в подполье и обусловили нарастание радикальных настроений в русском обществе.

Сотрудница Института русских и восточноевропейских исследований Мичиганского университета Памела Сирс Маккинси посвятила свою статью истории возникновения первых рабочих организаций в Саратове. Их создание в 70-е годы было как бы побочным продуктом деятельности народников, стремящихся поднять крестьян на борьбу с самодержавием. Поскольку «хождение в народ» интеллигентов не принесло видимых результатов, решено было использовать в качестве агитаторов городских рабочих, недавних крестьян, которых предварительно надо было организовать. И хотя этот пролетарский поход в деревню не увенчался успехом, произошла смычка народничества с рабочим движением, на основе которой возникла позже партия эсеров. В статье дан основанный на мемуарной литературе анализ различных социально-психологических типов формирующегося рабочего класса в Саратове.

Автор монографии об эсеровской партии в годы первой мировой войны и Февральской революции Майкл Мелансон рассматривает историю возникновения в Саратове организаций эсеров и социал-демократов. Для первых Саратов был «Афинами», центром их влияния, где почва для деятельности была подготовлена десятилетиями народнической агитации. Временами, пишет он, организация эсеров в Саратове играла роль Центрального комитета. Для социал-демократов Саратов вначале был «Вавилоном», городом, где им пришлось вести трудную борьбу за выживание.

Во многих отношениях оригинальной является статья профессора Индианского университета Скотта Д. Сереньи «Земские кролики, антихристы и революционеры: сельские учителя в Саратовской губернии, 1890 — 1907». Профессор Сереньи — автор недавно вышедшей монографии «Русские учителя и крестьянская революция: политика в области образования в 1905 году». Оригинальной представляется сама тема, сама попытка дать социальный порт-

рет сельского учителя тех лет. Читатель не без удивления обнаружит сходство социальных проблем, стоящих перед сельским учительством тогда и теперь, хотя минуло столетие: феминизация профессии, текучесть кадров, низкий уровень жизни, чрезмерная зависимость от местных властей. Повседневная рутина обречённого на прозябанье сельского учителя делала его в обычное время робким искателем земских подачек — «кроликом», это же положение делало их временами «революционерами», как носители идеи светского образования они в глазах консервативного духовенства были «антихристами».

Поволжские немцы не просто были выселены из родных мест. Было сделано немало, чтобы исчезла и память о них там, где они жили. Тем больший интерес представляет статья Джеймса У. Лонга, профессора университета штата Колорадо и автора двух монографий о поволжских немцах. Поскольку в сборнике речь идёт о Саратовской губернии в её дореволюционных границах, т. е. без нынешнего левобережья области, но с включением части нынешних Пензенской и Волгоградской областей, в статье профессора Лонга не рассматривается положение в левобережных немецких колониях. Реформы Александра II оказали большое влияние на жизнь немецких колоний. Во-первых, они были переданы под контроль местной администрации. Во-вторых, в ходе военной реформы и введения всеобщей воинской обязанности у немцев была отнята дарованная ещё Екатериной II привилегия — освобождение от воинской службы. Всё это, по мнению Джеймса У. Лонга, привело к размыванию былой изолированности колонистов от местного населения, усилилась их мобильность, началась их русификация, стала более органичной интеграция немецких колоний в социально-экономическую жизнь страны.

Деятельности П. А. Столыпина на посту саратовского губернатора посвятил свою статью Томас Феллоу. По его мнению, на формирование этого своеобразного политического деятеля, внесшего динамизм в высшие эшелоны власти России, оказал большое влияние опыт губернатора сначала Гродненской, а затем и Саратовской губерний. Приверженец законности и порядка, потрясённый масштабами и формами их нарушения в 1905 году: погромы, стачка врачей, покушение на его жизнь, — он достаточно быстро усвоил, что репрессии не могут быть единственным средством поддержания порядка.

Сравнивая положение в двух губерниях, он приходит к выводу о необходимости реформирования поземельных отношений, создания социальной опоры в деревне. Именно в Саратове, считает автор, у Столыпина появилось устойчивое недоверие к кадетам, зачастую блокирующимся в Саратове с революционными партиями в 1905 году.

Две статьи сборника принадлежат перу профессора Дональда Д. Рэли. В первой он рассматривает влияние первой мировой войны на Саратов и революционное движение, во второй — революцию 1917 года и установление Советской власти в Саратове. Констатируя вначале, что война подвергла царизм испытаниям, которые он не выдержал, автор подтверждает этот тезис анализом меняющейся в ходе войны социально-политической обстановки в городе. Жизнь в Саратове по мере втягивания страны в войну существенно переменялась. Наплыв беженцев из западных губерний (поляков, латышей, евреев) наложил отпечаток на демографический облик города, способствовал росту стоимости жилья. Ускоренное развитие военной промышленности в городе изменило ситуацию на рынке труда — возросла потребность в квалифицированной рабочей силе. Но наиболее уязвимым звеном в военной экономике России стало продовольствие. При практическом свёртывании традиционно значительного экспорта зерна и относительно благоприятных погодных условиях военных лет города столкнулись с нехваткой хлеба, заставившей вводить рacionamento его потребления, а саратовские власти даже реквизировали транзитные грузы. Ухудшение жизненных условий изменило социально-психологический климат в рабочем движении, вдохнуло новые силы в революционные партии, пережившие перед войной не лучшие годы. Анализируя их деятельность, профессор Рэли отмечает, что они действовали в Саратове гораздо более сплочённо, чем их представители в эмиграции.

Октябрьская революция, её истоки и место в российской истории всегда были предметом неутихающих споров в зарубежной славистике. Вначале там господствовало представление о путчистском характере большевистской революции, столкнувшей Россию с магистралью пути прогресса, на который она встала после Февраля. Однако более тщательный анализ событий заставил многих усомниться в этом. Профессор Рэли считает, что Октябрьская революция не была путчем

уже хотя бы потому, что и в центре, и в Саратове стремление большевиков и других левых взять власть в свои руки было секретом Полишинеля. И, что ещё более важно, успех большевиков был обеспечен тем прежде всего, что платформа левых радикалов отражала насущные требования масс, их успех был следствием разочарования масс в политике умеренно-центристских сил, которые пытались в послефевральской России создать основы стабильного гражданского общества. В феврале 1917 года в Саратове не нашлось сил, готовых защитить самодержавие, в октябре 1917 года мало кто дерзнул защищать либеральную демократию в лице городской думы, не давшей ни мира, ни хлеба. Риторика левых радикалов с их упором на классовую непримиримость и насилие как никогда соответствовали всё растущему озлоблению низов против верхов.

Тех, кто готов сейчас вычеркнуть, так и не поняв, послеоктябрьскую эпоху из истории страны, статья профессора Рэли разочарует отсутствием ожидаемых от американского советолога антикоммунистических штампов, остальных, не сомневаюсь, привлечёт убедительность его исторической реконструкции.

Профессор Рекс А. Уэйд — автор двух монографий об истории России в 1917 году — поместил в сборнике статью о Красной гвардии в Саратове. После Февраля создание вооружённых добровольных формирований стало приметой времени, составной частью процесса роста политической активности масс. По мнению профессора Уэйда, Красная гвардия оставалась довольно самостоятельной силой в ходе октябрьских событий в Саратове. Поддержав, однако, курс левых партий на установление власти Советов, она стала важным фактором их силы (около 3 тысяч бойцов к 28 октября 1917 года) и оказывала в ходе переворота сильное моральное воздействие на солдат гарнизонов, примкнувших к левым в эти дни.

Подводя итоги работы этой внушительной группы историков, профессор университета штата Огайо, автор трёх монографий по русской истории и редактор журнала «Рашен ревью» («Русское обозрение») Аллан К. Уайлдмен обращает внимание на то, что Саратовская губерния была составной частью той зоны России на Юге и Юго-Востоке, где пустили глубокие корни бунтарские традиции. Эти традиции он связывает не столько с наследием крепостничества, сколько с влиянием «дикого поля» и вольной Волги. В наиболь-

шей степени отразившись в особенностях крестьянского движения в Саратовской губернии и способствуя укоренению народничества, эти традиции оказались живучими и в XX веке, когда индустриализация породила новые дилеммы и противоречия.

Все статьи сборника позволяют говорить о высоком профессиональном уровне, присущем американским славистам. Они убеждают в плодотворности изучения нашей истории извне, с точки зрения историков другой страны, историческое развитие которой шло иными, нежели в России, путями. Эта книга также и убедительное свидетельство в пользу необходимости диалога историков двух стран, диалога, ещё недавно невозможного в силу «закрытости» Саратова, диалога, который, вероятно, будет ещё долго затруднён убогостью нашей вузовской науки, в основном питающей краеведение, языковым барьером и рецидивами подозрительности к зарубежной русистике.

И диалог этот тем более необходим, в наступившей посткоммунистической эпохе, когда мы в России начинаем вопрошать у истории не «почему и как осуществлялась социалистическая революция?», а «почему оказалась столь слабой российская либеральная демократия?». Совместное изучение последних представляется особенно перспективным именно с историками США — страны, имеющей особые заслуги перед мировым сообществом в развитии либеральной демократии.

Книга — повод для размышлений и о судьбах нашего краеведения вообще. Появление накануне юбилея Саратова фундаментального научного труда о нём в Америке ярко контрастирует с невыходом юбилейных научных изданий в самом Саратове. И это на фоне растущего интереса к краеведению! Саратовцам памятливы громадные очереди, выстраивавшиеся за скудным набором юбилейных изданий в 1990 году. За время моего многолетнего участия в работе специализированного совета исторического факультета Саратовского университета по кандидатским диссертациям была только одна по краеведению. Известно, что краеведение в Саратове имеет глубокие корни, расцвет его пришёлся на предреволюционные годы. В советское время краеведение быстро превратилось в пасынка официальной историографии. Ещё бы! Ведь краеведение по сути своей есть описание человека в его непосредственной исторической среде. Для саратовского краеведа прокладка первого водопровода или оползень в Затоне, ассор-

timent рыбы на Верхнем базаре или перипетии строительства кафедрального собора — предметы первостепенного интереса, которые «уводили» от выяснения вопросов «классовой борьбы» или «авангардной роли». Краеведы были низведены на роль «поставщиков» местных фактов, подтверждающих общие умозрительные схемы отечественной истории. При этом зачастую руководствовались принципом: если факт не укладывается в схему, тем хуже для этого факта. Сейчас краеведение находится в преддверии своего нового расцвета. Назрело превращение краеведения в обязательную дисциплину для школ и вузов. В США местная история (*local history*) — составная часть университетского образования. Для наших вузов это можно было бы сделать в контексте пересмотра программ т. н. общественных дисциплин (истории КПСС, научного коммунизма и т. д.). На смену им сейчас вводятся курсы политологии и социологии, и почему-то забывают о краеведении — естественной и необходимой части любого образования.

История Саратова богата и поучительна. Изучение её сулит новые и неожиданные открытия. Она позволяет по-новому взглянуть на отечественную историю. Доказательство тому — коллективный труд американских историков.

А. КРЕДЕР

* * *

Обращение целого коллектива иностранных учёных к жизни старого Саратова выглядит достаточно оригинально в условиях устойчивой традиции в освещении отечественной истории (у нас и за рубежом) на примерах Москвы да Петербурга. Необычна книга и тем, что содержит в себе своего рода рецензию на самоё себя (послесловие), в которой много поразительно тонких и верных наблюдений и осмыслений. Книга не может считаться систематическим изложением истории Саратова в течение более чем трёх веков его существования, — большинство статей в ней посвящено последним десятилетиям в жизни старого общества. Во всех материалах книги чувствуется неподдельный интерес к предмету исследований, основанный на серьёзном изучении источников. При всех несомненных достоинствах она не лишена и недостатков, обусловленных как природой первоисточников, многие из которых несут на себе печать марксистско-большевистского видения жизни, так и невольным восприятием реалий русской жизни через призму аме-

риканской культуры. В книге имеются и прямые неточности. Так, почему-то сообщается, что Павел I ликвидировал Саратовскую губернию в 1799 г., — на самом деле это было сделано 12 декабря 1796 г. Говорится, что губерния была восстановлена Александром I в 1802 г., а не тем же Павлом I, 5 марта 1797 г. Делается вывод, что вплоть до позднего периода своей истории Саратов не был городом или даже городком в западном понимании этих слов, а скорее был похож на некое лагерное поселение. Отказывается Саратову и в глубоких древних корнях. Такое видение, очевидно, опрощает историю, делает вряд ли возможным объективно оценить русский город Саратов в системе русской культуры и истории. Нельзя не отметить в книге довольно прохладное отношение к русской государственности. Для её характеристики используются такие слова, как «гнетущая», «назойливая», «яростная» и т. д. С. Разин, Е. Пугачёв, «Народная воля», социал-демократия в этом свете выглядят более чем закономерным явлением. В целом же книга представляет большой интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, поскольку её материалы основываются на обширном своде источников (в т. ч. иностранных и малодоступных отечественных), посвящены интереснейшим периодам истории России. Будущий читатель книги будет благодарен авторскому коллективу историков за серьёзный объёмный труд. В настоящее время готовится перевод книги на русский язык председателем Саратовского историко-краеведческого общества В. Н. Семёновым.

А. ПАПШЕВ

Н. ЛЕДЕНЦОВ. *Былое А. С. Пушкина в Поволжье. Любовь Пушкина и Керн. (По письмам поэта и воспоминаниям современников.) Саратовское областное издательско-полиграфическое объединение «Газета», 1991.*

Так уж сложилось, что саратовские литераторы не часто обращались к высокой пушкинской теме. Эту несправедливость решил исправить «автор многих книг для детей, отличник просвещения РСФСР и СССР» Н. И. Леденцов. Название его новой книги — «**Былое** (?) А. С. Пушкина в Поволжье. Любовь Пушкина и Керн» выглядит более чем странно: как может быть какое-то **былое** человека, пусть даже такого великого, каким

был Пушкин? Ведь былое — не что иное, как прошедшее время, минувшее событие. Раскрыв книгу и углубиться в неё, читатель не может не отметить, что бестолковость заглавия — в определённой степени отражение таких важных сторон произведения, как содержание и, конечно, язык. По своему содержанию книга является беглым, а то и резвым, пересказом общеизвестных фактов из жизни Пушкина, густо сдобренным цитатами, причём цитатами в виде текстов и рисунков. Кстати, в одном изобразительном ряду идут рисунки поэта и рисунки художника книги М. А. Белоглазова. Посмотрим, как обстоит дело с языком книги, адресованной «всем, кто интересуется жизнью и творчеством великого русского поэта А. С. Пушкина, а также (?) студентам, учителям литературы, учащимся старших классов школ и ПТУ». Начинается первая страница с бойкого утверждения, что «Великий поэт России, гениальный художник слова, гордость нашей страны, классик мировой литературы Александр Сергеевич Пушкин **навсегда сроднился** (?) с Поволжьем. Где проездом, где с остановками на день-два или несколько недель, а то и месяцев он бывал (в следует перечисление городов и сёл). Намеревался побывать проездом и в Саратове, и в Пензе». Аргументация, что и говорить, неотразима. Уже начало книги заставляет вспомнить, не в обиду будь сказано, строки какому-нибудь не самого удачного изложения, работы ученика одного из младших классов нашей многострадальной школы. Примеры? Пожалуйста: «Много воспитого в произведениях Александра Сергеевича Пушкина о болдинских местах. И очень приятно видеть те уголки, где он жил, где ходил, где кипела его творческая мысль, где вдохновенно создавались и лирические стихи, и трагедии, и повести, и сказки». «Нередко в той заповедной рощице, по рассказам старожил, Александр Сергеевич на пенёчке у родничка сживал и что-то писал или читал». «Любовь к творениям А. С. Пушкина умножают пушкинские заповедные места». «Любовные влечения А. С. Пушкина к пленившей его А. П. Керн не ослабевали».

Из рассказов Н. И. Леденцова о городах и сёлах складывается впечатление, что они представляли некую духовную и интеллектуальную пустыню. Поведав, что Пушкин более 20 раз побывал в Твери, автор ни словом не обмолвился о жившем в этом городе замечательном поэте, герое войны 1812 г. Ф. Н. Глинке. Пушкин близко знал его по литературному обществу

«Зелёная Лампа» и, будучи в Твери, добивался встречи с ним. О нижегородском губернаторе Д. П. Бутурлине автор постеснялся сообщить, что он отличился в войнах начала XIX века и был видным военным историком. Небезынтересно было бы узнать читателю, что хозяин с. Павловского П. И. Вульф изменил строчки в стихотворении «Подъезжая под Ижору...», с чем Пушкин охотно согласился. Любопытно, что эти стихи были написаны Пушкиным совместно с А. Н. Вульфом. По сути дела, ничего не сказано о Казани, одном из крупнейших центров светского и духовного образования, университетском городе. Крайне мало написано и о Симбирске, одном из центров дворянской культуры, российского масонства. Пушкин там был принят по-семейному губернатором (начальник губернии А. М. Загряжский был родственником его жены). Автор уклонился от разрешения или самой постановки вопроса о посещении Пушкиным Саратова и Пензы (в прошлом веке это мало у кого вызывало сомнения).

С. КАТКОВ, А. ПАПШЕВ

К. К. ВАГИНОВ. *Козлиная песнь. Романы. М., «Современник», 1991.*

Уже прижизненные критики отмечали явную «неадекватность» вагиновских произведений социально-исторической реальности. Так, один из них писал, что в первом романе Вагинова «изображён повидимому, круг людей, не производящих революции и надеющихся отсидеться от неё в мире надуманных фантастических интересов, лишённых какой бы то ни было связи с реальными интересами и запросами жизни. Это — гротеск, умышленно запутанный, намеренно туманный и загадочный бред»¹. Не трудно представить, какая издательская судьба могла ждать писателя, получающего подобного рода «отклики» на своё первое произведение. До

недавнего времени сочинения Вагинова были переизданы лишь за рубежом. Ситуация в нашей стране несколько изменилась только в 1989 году, когда были переизданы повести «Монастырь Господа нашего Аполлона» и «Звезда Вифлеема», романы «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова» и «Бамбочада» (последние, кстати, составили отдельный том, вышедший в серии «Забывтая книга», как нельзя более подходящей для вагиновского наследия).

Настоящее издание в известном смысле завершает волну републикации прозы Вагинова: кроме названных произведений, в него вошёл роман «Гарпагонияна» и ряд приложений, относящихся к ранней редакции романа «Козлиная песнь», второй неоконченной редакции «Гарпагонияны» и др. Всё это, в сочетании с тщательной текстологической подготовкой книги и достаточно обширным фактографическим комментарием, составленным Т. Л. Никольской и В. И. Эрлем, придаёт тому вагиновской прозы «статус» академического издания, — тем более что оно может считаться практически полным — в его состав не вошли лишь записные книжки и внутренние рецензии Вагинова и рассказ «Конец первой любви», в настоящее время считающийся утерянным. Именно полнота данной книги, позволяющая познакомиться с вагиновским творчеством во всём его объёме, является тем фактором, который превращает её выход в неординарное литературное событие.

Будучи исключительно эрудированным человеком, глубоко погружённым в культурную жизнь Петрограда двадцатых годов, Вагинов сумел создать свой собственный мир, в котором оказались неразрывно связаны современная писателю действительность и предыдущий культурный опыт. Ориентируясь на предшествующую литературную традицию, Вагинов создал органичный сплав традиционного, «классического» и новаторского, экспериментального начал; одновременно с этим своими произведениями он являет нечастый для отечественной литературы пример интеллектуальной прозы, «игровой» по своей основе, требующей не простого чтения, но внимательного, заинтересованного анализа, разгадывания, основывающегося на знании как конкретных реалий литературного быта послереволюционного Петрограда, так и реалий культурно-исторических. Однако Вагинова нельзя однозначно относить к числу литераторов-бытописателей: хотя в жизни он был замечательным знатоком артефактов, коллекционером

¹ А. Дерман, рец. на: Константин Вагинов. *Козлиная песнь. Роман. Изд-во «Прибой»*. Л., 1928. — «Книга и профсоюз», 1928, № 10, с. 43. Если автор ещё держится в границах литературной критики, то уже следующий номер того же издания содержит откровенный донос: «Ещё неизвестный молодой писатель Вагинов в своей «Козлиной песне» даёт оправдание, правда, прикрытое, литературной богеме; он под маской сатиры даёт приукрашивание богемских мешанских настроений в нашей литературе» (П. Керженцев. «О правой опасности на литературном фронте». Из стенограммы доклада на пленуме МК ВКП(б). — «Книга и профсоюз», 1928, № 11—12, с. 2).

редких книг, произведений искусства и предметов повседневного материального окружения, собирателем языковых курьёзов и снов, в его произведениях изображение предметно-вещной среды становится не самоцелью, а равноправным элементом наряду с религиозными, мифологическими, философскими и литературными текстами, образующими особый мир, в котором живут вагиновские герои.

Наиболее органично и цельно эта особенность художественного видения мира отразилась в романе «Козлиная песнь», занимающем центральное место в творчестве писателя и являющемся своего рода концентрацией его литературных и мировоззренческих взглядов. Ведущей темой романа становится изображение переломного момента в общественной истории и частных судьбах людей, выступающих символом уходящей эпохи. Сталкивая в романе мир петербургской интеллектуальной среды с миром послереволюционной действительности, Вагинов рисует образы людей, пытающихся в новых исторических условиях сохранить ценности прежней культуры. Отрицание существования старого Петербурга и неприятие нового Ленинграда предопределяет эсхатологическое звучание «Козлиной песни», призванной стать своего рода хранилищем духовных ценностей, обречённых на осмеяние, забвение, исчезновение. В результате возникает определённое «противоречие»: с одной стороны, роман повествует о гибели целой культурной эпохи (неслучайно одним из ведущих становится в нём мотив кризиса греко-римской цивилизации, сменяющейся эрой христианства), но, с другой стороны, именно текст «Козлиной песни», накапливающий в себе общекультурную информацию, становится средством преодоления распада универсума культуры и искусства. Этим, в частности, объясняется и название романа, представляющее собой буквальный перевод греческого слова «трагедия» и определяющее важные формальные особенности произведения: на протяжении всего хода повествования в «Козлиной песни» совершается трансформация текста литературного, словесного в текст театральный, зрелищный, которым оказывается сам роман, сочиняемый присутствующим в нём на правах персонажа безымянным автором. В историко-литературном контексте отечественной культуры «Козлиная песнь» Вагинова стала одним из ярчайших образцов той художественной традиции, которая превратила литературный текст в средство сохранения культурной информации в перспективе бы-

тия, в средство противостояния надвигающемуся разрушению личности и мира¹.

Художественное мировоззрение Вагинова отчётливо прослеживается уже в его ранних повестях — «Монастырь Господа нашего Аполлона» и «Звезда Вифлеема», опубликованных в 1922 году. Несмотря на свою «миниатюрность», эти произведения содержат в себе почти полный набор тем и образов, которые устойчиво присутствуют на протяжении всего вагиновского творчества. В основу художественного метода автора положен принцип бриколажа, интеллектуального монтажа, что как раз и позволяет Вагинову совместить в повестях мир сакральный, отождествляемый им с эпохой эллинизма, ценностями культурного порядка (и шире — с язычеством, понимаемым как вместилище творческих сил человека, как гуманистическое начало), и мир реальный, представленный исторически узнаваемой действительностью — послереволюционным Петроградом. Действие повестей происходит в Петрограде, конкретная топография которого отождествляется с античным Римом периода упадка, среди действующих лиц — как персонажи мифологические и литературные, так и исторические личности и современники автора; всё это, в сочетании с зыбкостью пространственно-временных границ, придаёт повестям Вагинова ирреальный характер, наполняя их фантазмагорической, карнаваловой атмосферой.

Если «Монастырь Господа нашего Аполлона» и «Звезда Вифлеема» по своему содержанию и целому ряду признаков отчасти предвосхищают «Козлиную песнь», то роман «Труды и дни Свистонова» написан непосредственно «в продолжение» её. В центре обоих произведений — процесс написания романа, взаимоотношения автора с создаваемым им текстом и его героями и, что особенно важно, самого этого текста с реальностью. В достаточно традиционную, присутствующую и в отечественной, и в западноевропейской литературе тему Вагинов вводит неожиданный аспект: автор художественного произведения оказывается зависим от героев, создаваемых его творческой волей. Анонимный автор «Козлиной песни» только предполагает это: «Но вышел ли я окончательно из книги,

¹ Эта особенность вагиновской прозы отмечалась, в частности, Д. М. Сегалом (Литература как охранная грамота. *Slavica Hierosolymitana*. Vol. V—VI. 1981), по целому ряду признаков включавшему романы Вагинова в один ряд с «Египетской маркой» Мандельштама, «Поэмой без героя» Ахматовой, «Доктором Живаго» Пастернака, «Даром» Набокова.

освободился ли я от моих героев, изгнал ли я их в мир, потусторонний по отношению ко мне, что станет со мной, если я действительно изгнано, может быть, появится пустота, огромное ничто, и в эту пустоту бросятся другие существа, не менее печальные, и в ней поселятся?»; в отличие от него писатель Свистонов «почувствовал, что он окончательно заперт в своём романе. Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их. Таким образом Свистонов целиком перешёл в своё произведение». Идея о взаимозависимости автора и его героя, действительности и искусства — не просто одна из ведущих тем вагиновского творчества; представления о взаимопроницаемости «литературы» и «жизни» лежат в основе художественного мировоззрения писателя и во многом определяют особенности его поэтики.

Тематика и общая эмоциональная тональность прозы Вагинова несколько меняются с появлением романа «Бамбочада», действующие лица которого — всевозможные чудачки, весёлые авантюристы, коллекционеры необычного и курьёзного. В романе органично сосуществуют две линии: мысль о наступлении эпохи профанического, потребительского, пошлого отношения к культуре и представления о противостоящем ему жизнеутверждающем, карнавальном, гуманистическом в своей основе мировосприятии. Возвращаясь к проблеме взаимоуподобления реальности и искусства, Вагинов продолжает ренессансную традицию, согласно которой человеческая жизнь воспринималась как своеобразный творческий акт,

а художественное творчество — как естественное продолжение действительности; собственно говоря, и названием для романа послужил ренессансный жанр небольших комических картин, иногда наполняемый мистическим, ирреальным содержанием.

Принципиально отличается от предыдущих произведений последний, недописанный роман Вагинова «Гарпагогиана». Присущая автору ирония сменяется здесь горькой сатирой, откровенным сарказмом: герои романа — люди без будущего, они обречены, поскольку обречён мир вокруг них; но если для персонажей (и, следовательно, самого автора и читателей) предыдущих книг, в первую очередь «Козлиной песни», духовное спасение заключалось в обращении к миру культуры, в «Гарпагогиане» о такой возможности уже не говорится. Несмотря на свой фантастический колорит и необычность темы, этот роман является наиболее приближённым к реальной исторической ситуации, полностью утратившей внутреннюю связь с культурной традицией.

Будучи истинным носителем высокого гуманистического начала в условиях разрушения; сознательного прекращения отечественной культурной традиции, Вагинов создал собственный художественный мир, оказавшийся способным не только с максимальной полнотой вобрать в себя предшествующий духовный опыт, но и сохранить его во временной перспективе. Всю глубину и значимость творчества Вагинова ещё предстоит осознать, но и сейчас уже можно утверждать, что Вагинов несомненно принадлежит культуре XX века как редкое, оригинальное дарование.

О. ШИНДИНА

Ненаписанные воспоминания

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОЙ ИВАНОВНОЙ ВАГИНОВОЙ

Особый интерес у читателей в последние годы вызывали воспоминания участниц поэтической студии Н. С. Гумилёва. И. А. Одовецкой, Н. Н. Берберовой, И. М. Напельбаум. «Неопрошенной» до сих пор оставалась, однако, ещё одна «студийка» — всегда остававшаяся верной «берегам Невы», живущая и сейчас в бессмертных Блоком Озерках Александра Ивановна Вагинова (урождённая Федотова). Между тем её воспоминания представляют для нас особый интерес и никакими другими восполнены быть не могут. Дело в том, что, познакомившись в гумилёвском семинаре с талантливым поэтом, а в недалёком будущем и с замечательным прозаиком Константином Вагиновым, она впоследствии, в 1927 году, стала женой писателя и оставалась с ним до самой его смерти в апреле 1934 года. Немногочисленные печатные мемуары о Вагинове (Н. К. Чуковского, И. М. Напельбаум, Леонида Борисова) открыточны и оставляют много неясного в его судьбе и творческой деятельности. Естественно,

что наши беседы с Александрой Ивановной были в значительной мере посвящены именно этому, до сих пор не оценённому у нас по заслугам писателю. При этом мы старались не останавливаться подробно на тех вещах, которые уже достаточно хорошо известны из других источников. Текст этой, составленной на основе нескольких встреч с А. И. Вагиновой беседы имеет смысл предварить коротким рассказом-хронологией творческого пути Константина Вагинова.

Как и целая плеяда великих писателей XX столетия (Набоков, Платонов, Борхес, Хемингуэй), Константин Константинович Вагинов родился на самом исходе «золотого века» литературы — в 1899 году. За 35 лет короткой, но в творческом отношении весьма интенсивной жизни Вагинов выпустил три стихотворных сборника («Путешествие в хаос» — 1921, «Стихотворения» — 1926, «Опыты соединения слов посредством ритма» — 1931) и три романа («Козлиная песнь» — 1927, «Труды и дни Свистонова» — 1929, «Бамбочада» — 1931). Не удалось издать писателю — хотя такие попытки им предпринимались — стихотворный сборник «Звукopodobие» (1930—1933). Остался неоконченным последний роман Вагинова — «Гарпагогиана». Роман этот, как и значительная часть стихотворного наследия, известен только читателю русского зарубежья: «Гарпагогиана» издана в 1983 году в США издательством «Ардис», там же в 1972 и 1978 годах появились стереотипные переиздания двух первых прижизненных стихотворных сборников, в 1982 году в Мюнхене вышло «Собрание стихотворений» Вагинова.

Расцвет творчества писателя пришёл на вторую половину 1920-х — начало 1930-х годов и, следовательно, на эпоху разгула «рапповской» критики. Естественно, оно не могло получить заслуженной оценки в советской печати тех лет. Подлинное признание Вагинов имел лишь в узком литературном кругу. Так, его поэзию ещё в начале и в середине творческого пути писателя высоко оценили Гумилёв, Кузмин, Мандельштам, причём некоторые из их отзывов проникли в печать. Менее счастливая судьба постигла прозу Вагинова, выходявшую уже в 1928—1931 годах, однако именно в ней по-настоящему развернулся его талант. Тесно связанный со многими модернистскими течениями «серебряного века» и первых послереволюционных лет (эзофутуризм, акмеизм, обэриу), усматривавший в Октябрьской революции прежде всего торжество восточного тоталитаризма и неспособный ввиду исторических потрясений 1920-х годов (коллективизация, преследование интеллигенции и других социально чуждых слов общества) на позитивное восприятие новой советской действительности, Вагинов в дальнейшем, как и многие другие писатели, был надолго вычеркнут из истории русской литературы.

Наш современный интерес ко многим писателям нередко изрядно подогревает драматизм их судьбы. В этом отношении Вагинову «не повезло». Не эмигрировавший из страны, не репрессированный и не успевший подвергнуться каким-либо прочим гонениям, писатель в апреле 1934 года умер своей смертью от туберкулёза. Но творчество Вагинова не нуждается ни в подобном «подогреве», ни в каких-либо поправках на ранний уход из жизни. Оно представляет собой уникальное не только для русской, но и для европейской литературы явление и будет неизбежно оценено по достоинству современным интеллектуальным читателем.

— Александра Ивановна, расскажите, пожалуйста, хотя бы коротко о вашей жизни до знакомства с Константином Константиновичем Вагиновым.

— Я родилась в Петербурге 19 марта 1902 года. Дед мой был крепостной, выигравший по билету десять тысяч золотом. Окончила гимназию Хитрово (располагалась в первой роте Измайловского полка).

После революции некоторое время работала в Трансбалте, помещавшемся в здании Мариинского дворца. Потом училась в университете. Студенткой жила в Доме искусств. Моя двоюродная сестра училась в Екатерининской гимназии вместе с управляющим Елисеевых. И после отъезда Елисеевых за границу они дали мне одну комнату в этом доме. В студию Н. С. Гумилёва я пришла, прочитав на улице объявление о наборе.

— Как произошло ваше сближение с Кон-

стантином Константиновичем? Вы мне рассказывали раньше, что когда вы встречались с ним в гумилёвской студии, вы ещё были в далёких отношениях?

— Да. Он тогда казался мне вычурным, даже не нравился. Эти его изыски в стихах мне казались какими-то нарочитыми, неискренними. Кроме Студии, тогда ещё мы с ним нигде не встречались. Он больше общался с Верой Лурье, которую вскоре её отец, инженер, увёз в Берлин. На фотографии, где все вместе участники гумилёвского семинара, он рядом с ней крайний справа в среднем ряду, а я последняя с противоположной, левой стороны. Слева направо идут я, затем какой-то литовец, который почти ничего не писал и скоро уехал, затем сёстры Фрида и Ида Наппельбаум, В. Ф. Миллер, который потом работал в Эрмитаже, Гумилёв, Наташа (фамилии не помню), Вера Лурье с Констан-



Саша Фёдорова. Конец 1910-х годов.
Публикуется впервые

тином Константиновичем. Вверху стоят Горфинкель, который страшно возмутил Гумилёва своими стихами об африканцах (Гумилёв их очень уважал), очень талантливый Петя Волков, который потом стал юристом, и Столяров. Сидят на полу Георгий Иванов и Одоевцева.

Вообще, у нас был слабый состав. Вот был К. К., и ещё подавал надежды Петя Волков. Я что-то смутно помню вроде: «Троицкий мост над широкой Невой,/Точно сутулый циклоп на карачках/Каменный бык однорогий, немой/Лёг на дороге...» Или: «Луна, как вдавленный пятиалтынный,/На небе перхоть нафталиновая...» — вот такие стихи. Но всем они нравились. Петя был очень добрый, какой-то приятный, спокойный. Но он женился, и жена запретила ему вообще писать стихи.

Уже после расстрела Гумилёва мы собрались в последний раз. И вот, когда мы уже прощались, К. К. вдруг неожиданно попросил, чтобы я вышла за него замуж. А я сказала: «Нет, нам обоим ещё нужно учиться». И он вдруг заплакал. Мне стало как-то неприятно, и я сказала: «Ну, мы ведь будем ещё встречаться». И потом он начал везде ходить со мной. Куда я ни иду, он меня везде сопровождал. И так постепенно мы привыкли друг к другу.

А потом постепенно у него как-то прошла эта нарочитость в стихах и в обращении.

Я училась в университете вместе с Фридой Наппельбаум (она была на несколько курсов старше меня). Вместе со мной иногда бывал в университете и К. К. До гражданской войны он учился на юридическом факультете, а после, может быть, и хотел там восстановиться, но туда брали не всех — смотрели анкету. Когда я после окончания университета в 1924 году поступила в Институт истории искусств, К. К., кажется, уже учился там. Я поступила на искусствоведческое отделение, а он учился на словесном. Но многое он слушал вместе со мной, а на словесном больше только сдавал. К. К. ещё застал в институте графа Зубова (основателя института.— С. К.), который очень высоко его ценил. Вскоре Зубов уехал в Париж и писал оттуда К. К., что если тот приедет туда, то будет устроен там хорошо. Но К. К. об этом не думал.

Эстетику в Институте читал Болдырев, Матье преподавал египтологию. К. К. занимался там у нумизмата и был единственным его слушателем. Однажды К. К. зашёл на лекцию по истории балета, на которой присутствовал, кроме него, только один слушатель. И вот когда преподаватель начал показывать первые па и они вдвоём



Константин Вагинов. 1922 г.
Фото М. С. Наппельбаума



Студия Н. С. Гумилёва. 1921 г.

повторяли эти движения, вошёл нумизмат и увёл К. К. на свою лекцию. К. К. мне потом об этом рассказывал, и мы очень смеялись тому, как его забрали сразу после первых па.

Мы часто встречались с К. К. в определённом месте и начинали бродить по городу. Особенно много в белые ночи. Один раз мы сидели с ним в саду Зимнего дворца. И вдруг из-под скамейки вылез какой-то мальчишка. «Ну вот, — говорит, — я вас пугаю, а вы не пугаетесь». — «А почему мы должны пугаться?» — «Дело в том, — отвечает он, — что я взрослый человек, я лилипут».

Он оказался бывшим актёром Театра лилипутов, который уже не существовал. Теперь этот лилипут работал сторожем

в Зимнем дворце. К. К. с ним разговорился, и он пригласил нас в Зимний дворец показать все редкости.

Пожились мы только весной 1927 года.

— *Расскажите, пожалуйста, о родных Константина Константиновича, о его жизни до знакомства с вами.*

— Насколько я понимала, отец К. К. был в охране императора. Потому что он рассказывал, как приезжал Вильгельм и устраивали балет в Петергофе. Зеркала опускали в озёра, и на них танцевали балерины для Вильгельма. Ну, просто жандармский полковник при этом не обязательно, по-моему, а, наверное, он служил в охране императора.

Родился К. К. в доме на Литейном проспекте. Номер дома точно не помню — кажется, 25. Это был их собственный дом. А рядом жил английский архитектор — кажется, королевский — Крейтон. И у него был сын Сергей Крейтон. Он был большой друг К. К. К. К. превозносил его доброту, говорил, что он очень красив, очень мягок. А потом он пропал. И К. К. долго его разыскивал, но нигде не мог найти. Вот у К. К. есть стихи: «В казарме умирает человек» (в стихотворении «Нет, не люблю закат. Пойдёмте дальше, Лида».— С. К.) — это он думал о Сергее Крейтоне, что тот где-то служит. Потом они случайно встретились, и оказалось, что Сергей действительно служит простым матросом на каком-то корабле — по-видимому, он так спасался от возможных репрессий. И К. К. спросил: «Почему ты меня избегаешь?». А тот ответил: «Ну, я простой матрос, а ты стал известным писателем. Наши дороги разошлись». До этого Крейтон прошёл через целый ад.

— Александра Ивановна, так не он ли выведен под именем Сергея К. в «Козлиной песни»?

— Да, конечно, он.

После революции родителей К. К. — пока он воевал — переселили на Екатерининский канал, 105. Вначале они жили в первом этаже. Там было очень сыро. Младший брат К. К. — кажется, его звали Володя — там заболел туберкулёзом и вскоре умер. Он был женат на официантке, к жизни был не слишком приспособлен.

Мать К. К. была очень религиозная, вялая, запуганная — больше насчёт церкви. Потом когда умер младший брат К. К., её любимец, она каждый день ходила к нему на кладбище. Она так любила сына, что и жену его — официантку любила как родную дочь. И даже когда он умер, она всё равно о ней думала и заботилась. В общем, жизнь у неё была тяжёлая.

После наводнения в 1924 году они получили разрешение перебраться на второй этаж и жили уже в другом флигеле, выходящем окнами на консерваторию.

К отцу К. К. относился неприязненно. Тот не признавал его поэтом, не уважал всего этого, считал, что К. К. должен был заниматься правоведением. К. К. очень угнетала жестокость отца, жестокость ко всем. Отец презирал его за то, что он поэт. Считал это ерундой. У него было чисто солдатское отношение ко всему этому, очень резкое. И он, я думаю, много изменял Любви Алексеевне, а К. К.

это знал и относился к этому с брезгливостью.

Старшего брата К. К. звали Алёша. Он был вначале офицером, а потом, кажется, строителем. И его К. К. тоже не пощадил. Потому что в «Козлиной песни» тот, который приходил, надевал форму и ухаживал за Наташей (Михаил Ковалёв.— С. К.), — это и есть Алёша. Костя воспринимал его как типичного солдафона. Он был очень мягкий, добрый человек, но с К. К. у него не было ничего общего.

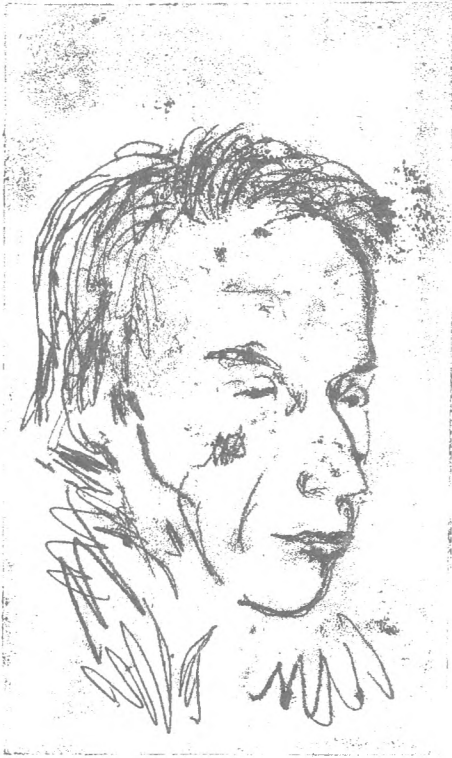
Когда мы поженились, то жили у К. К. и его матери. Старший брат к тому времени уже женился и жил где-то отдельно. Отец получил «минус шесть» и поселился в Новгороде. Благодаря этому мы и смогли пожениться: одна комната в двухкомнатной их квартире освободилась.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей совместной жизни с К. К.

— Я к тому времени уже служила в библиотеке Дома писателей, а К. К. проводил целые дни в редакции журнала «Звезда», в Издательстве писателей или в книжнических магазинах. В нашей семье обязанности распределялись так: готовлю я, а продукты покупает он. Очереди тогда были побольше нынешних. И вот стоя в очередях, К. К. читал какую-нибудь итальянскую книжку и так изучил итальянский язык. Потом принялся за испанский и собирался переводить Гонгору. Итальянский Петрарка, которого он читал, у меня сохранился.

В библиотеку Дома писателей меня пригласил работать Константин Александрович Федин. Я комплектовала эту библиотеку книгами из дворцов и особняков, которые стояли тогда брошенные своими хозяевами, наполовину разграбленные. Книг в них оставалось очень много, и многие были поистине драгоценны. Я собрала в библиотеку Дома писателей около 10 тысяч книг. Очень много было книг по истории гражданской войны — воспоминания всех генералов, возглавлявших белое движение. Утверждать состав библиотеки нужно было идти к матросу Рагозину. Я пришла к нему, он на меня раскричался. Велел сжечь все воспоминания белых генералов и вычеркнуть их из реестра тушью. Делать было нечего, пришлось так и сделать. Когда я опять пришла к Рагозину, оказалось, что он уже смещён с этой должности, так как запрещал брать в библиотеки и Пушкина: дескать, дворянский поэт.

В жизни К. К. также немалую роль играла его мысль о том, что нужно спасти



как можно больше книг. Отсюда его многочисленные связи с букинистами, которым он давал ценные консультации. За это при продаже любого книжного собрания К. К. получал право первым купить две выбранные им книги, после чего начиналась продажа другим. За чтением К. К. уходил в какой-то другой мир. Он был вообще очень скрытный человек, и только случайно можно было обнаружить его пристрастия, свои привязанности он хранил про себя. Больше всего на свете он любил читать. Но у него было странное отношение к книгам. Какое-то своё. Как бы вам это объяснить. Он не привыкал к таким книгам, вроде Шпенглера. А вот старинные книги — он к ним привыкал. Я понимаю так, что его интересовал старый язык. И старый мир, который все забыли, а так его можно воскресить. Вот, например, он восхищался Полициано. У него была целая стена книг. До сих пор не могу простить себе, что, за исключением немногочисленного, все эти книги пропали. Когда мы вернулись в Ленинград из эвакуации, в нашей комнате уже жил какой-то человек с фронта. Он продал всю библиотеку К. К. и купил на эти деньги машину.

Одним из главных источников творчества К. К. была книга Уолтера Патера «Воображаемые портреты». Книгу эту, как и ещё несколько, я сохранила и продала в библиотеку ЛГУ. Идея Петербурга как четвёртого Рима отчасти связана у Вагинова с этой книгой: Он увлекался также Эдгаром По, любил читать какую-то книгу о Генрихе III. Единственное, что у меня осталось, — это итальянский Петрарка и «История Жана де Бурбона» графини д'Ольнуа. У К. К. была какая-то поваренная книга XVIII века. Я помню, что в ней значились блюда с такими причудливыми названиями, как «голуби в халате» и «голуби на рассвете». Он увлекался собиранием всяческих редкостных вещей. Коллекционирование его проистекало из убеждения в том, что через много лет вещи могут лучше всего рассказать об эпохе, в которую они были сделаны. Так, например, он считал, что очень многое можно понять по старым спичечным коробкам. Помню, у него была одна любопытная вещь — коробка из-под шоколада 80-х годов XIX века: на ней были нарисованы подушки, на которых лежала девочка, ножку девочки лизала болонка. Эти интересы отозвались потом в образах Торопуло и Пуншевича («Бамбочада», «Гарпагониана»), да и в «Козлиной песни» (Костя Ротиков). Я очень сожалею также, что у меня пропала книга, которую мне подарили Аристид Иванович Доватур и Андрей Николаевич Егунов. Это была «Эфиопика» Гелиодора в переводе Аристида Ивановича, а в качестве посвящения было вписано стихотворение К. К. «Мы эллинисты здесь толпой...» в переводе на греческий язык.

В жизни К. К. был очень внимателен, деликатен. Помню, я должна была ехать в отпуск под Лугу. И мне наш бухгалтер сказал, что сегодня нет выдачи — приходите завтра. А на завтра я же должна была ехать. И я пришла в отчаяние, но К. К. побежал и достал где-то денег, так что я могла ехать.

К религии он был абсолютно равнодушен. Никакие религии его не волновали — разве только если они были красивы в литературном отношении. Вот почему он так много увлекался античностью.

— *Насколько мне известно, вы, Александра Ивановна, ведь помогали Константину Константиновичу в работе?*

— Чем могла, я, конечно, помогала. У К. К. была такая манера. После выхода книги он сразу начинал всю её переписывать. Так, например, он переписал значи-

тельную часть «Козлиной песни». Экземпляров с дополнениями и исправлениями К. К. было несколько. Я переписывала их своей рукой, потому что у меня был более чёткий почерк, чем у него. Один из таких экземпляров продали знакомые, которым я давала свои книги на сохранение. К. К. переписывал и другие свои книги. А к более ранним относился критически. Экземпляр «Путешествия в хаос», который он мне подарил и который хранился на моей полке, он однажды у меня взял и сжёг его.

«Это очень плохие стихи», — объяснил он мне потом.

— Кто бывал у вас в доме? С кем Константин Константинович больше всего дружил в эти годы?

— Близкими его друзьями стали Аристид Иванович Доватур, Андрей Николаевич Егунов, Николай Васильевич Болдырев. О них о каждом надо отдельно много рассказывать. В последние годы он много общался также с Соллертинским и с Ключевым, который потом исчез. Ключев любил Костю, часто бывал у нас до своего исчезновения. Я помню, как Ключев рассказывал, что когда решили вывезти из Соловков всех, кто там сидел, в другие места, то оказалось, что они сделали там изумительный музей. Собрали старые иконы, всякие церковные архивы. И вот всех узников увезли, а Соловки отдали Морскому ведомству. Приезжает адмирал — прошёлся, увидел все эти витрины с иконами, книгами и приказал бросить всё в реку, и иконы плыли по воде. Вода приносила их на берег, а жители встречали колокольным звоном. Ключев этому сам был свидетель.

Ключеву очень нравилась икона Любви Алексеевны (матери Вагинова. — С. К.). Она была вышита жемчугом. Как писатель К. К. Ключева интересовал. Я ставила чай, и они много беседовали о своём.

Несколько раз бывал у нас М. А. Кузмин. Нередко навещал его и сам Костя. Он говорил, что тот ужасно живёт, никому не нужен, тоскует. Но он не был учеником Кузмина, каким его иногда считают. Поэзия Кузмина даже и не была ему особенно близка. Но К. К. любил беседовать с ним о старине. Кузмин мог рассказывать о старине, которой мы не застали, — прежде всего о литературной старине, конечно. Ко мне он был очень любезен. Однажды Кузмин спросил меня: «Какие книги вы собираете?». У меня самой была только небольшая полка, и я собирала только небольшие книги. Я ответи-



ла: «Маленькие». Он достал свой небольшой стихотворный сборник и надписал мне. Кажется, это был сборник «Фореяль разбивает лёд». У меня были и книги Гумилёва с надписью, но всё это пропало во время войны.

Друзьями К. К. были Зоя Никитина, которая очень помогала ему в издании его книг (она тогда занимала какой-то высокий пост в Издательстве писателей в Ленинграде), Мария Константиновна Нелуховская (Тихонова).

Дружен был К. К. и с М. М. Бахтиным. Тот был такой умный, что я не смела сказать с ним двух слов. А К. К. много разговаривал с Бахтиным. Мы бывали у него чуть ли не каждый день. Он тогда увлекался Конфуцием и, помню, часто говорил о том, что люди обсуждают только других, потому что только других видят, а себя не видят. У Бахтина была очень молодая жена Леночка, совсем ещё девочка. Помните, у К. К. такие строки: «На узких полках книги, — На одеялах люди — Мужчина бледносиний И девочка жена» (из стихотворения «Два пёстрых одеяла». — С. К.). Это Бахтин и Леночка.

Нередко мы бывали в гостях и у Ма-

рии Вениаминовны Юдиной, пианистки. Помню, у неё на Дворцовой было несколько ангорских котов и стояли два рояля. Она в то время была страстной почитательницей Франциска Ассизского и носила рясу из чёрного бархата. К. К. она очень любила. Помню, как однажды мы ходили с К. К. на спектакль, на который нас пригласил режиссёр Сергей Эрнестович Радлов.

— *Правда ли, Александра Ивановна, что многие знакомые обиделись на Константина Константиновича за то, как он изобразил их в «Козлиной песни»?*

— Не все, но некоторые действительно обиделись. Больше всех, конечно, Л. В. Пумпянский. Узнав себя в Тепёлкине, он возмутился и в письме к К. К. требовал уничтожить книгу (совсем как Ку-Ку в «Трудах и днях Свистонова». — С. К.). Но вот Мария Вениаминовна Юдина, которая была с ним дружна с детства, убеждала его в том, что он совершенно напрасно обижается на К. К. Однако тот её не послушал, поссорился на этой почве с Бахтиным, а К. К. возненавидел и прервал с ним всякие отношения. Он считал, что К. К. поступил с ним подло. При встречах Пумпянский отворачивался, а жена его, не разделяя его возмущения, улыбалась. Пумпянский был изумительный переводчик и блестяще переводил прямо с листа. Летом он одно время, совсем как Тепелкин, жил на даче с башней в Петергофе, и мы с К. К. там его навещали. С Юдиной он дружил с детства и всё-таки из-за этого с ней поссорился. Слегка обиделись, конечно, и Всеволод Рождественский (Троицын), и Павел Лукницкий (в «Козлиной песни» Миша Котиков), и С. Колбасьев (Свечин).

— *Не могли бы вы, Александра Ивановна, сказать несколько слов о протипах других романов Вагинова?*

— Я забыла вам сказать ещё об одном необычном знакомом К. К. — японце Наруми-сан (известный японский филолог-русист Наруми Кандзо, именем которого названа библиотека при государственном университете «Хитоцубаси». — С. К.). Он преподавал в университете японский язык и нередко заходил к К. К. Его очень интересовал «Петербург» Андрея Белого. И они много беседовали о языке Белого, вообще о русском языке. Он бывал у нас чуть ли не каждую неделю. Не понять было, сколько ему лет, потому что он, например, помнил Анну Павлову. И К. К. с большим интересом с ним беседовал.

— *У К. К. был особенный интерес к Востоку?*

У него был обострённый интерес ко всему. Больше всего к книгам. Он приходил домой, брал с полки книгу, и у него даже менялось лицо. Но и книги как будто бы не принесли ему всего, чего он ждал от них. Он как будто бы даже разочаровался в книгах. И эти строки из «Звукоподобия»: «Петрарка, Фауст, им-мортелли И мемуаров рой» — они как-то горько звучат.

— *Расскажите, пожалуйста, о последних годах жизни Вагинова.*

— У меня были две сестры, и обе они умерли от туберкулёза. Старшая дала обет безбрачия и всю первую мировую войну проработала операционной сестрой. После революции наступил голод, у неё было ужасное количество больных — одних тифозных 150 человек. Она приходила домой и валилась с ног от усталости. Ей дали отпуск только за две недели до её смерти. У неё остался небольшой кусочек лёгкого, остальное съел туберкулёз. Другой сестре в игре молодой человек случайно сломал ключицу. Кость пронзила лёгкие, они загнили, и она умерла. Это было в 26-м году. Поэтому, когда у меня в 27-м году заболело горло, то К. К. на всякий случай повёл меня к врачу. А меня тогда уже удивляло, что он как-то странно спал. Я даже не могу вам сказать, в чём дело. Это был какой-то некрепкий, возбуждённый сон. И вот врач мне сказал: «У вас не туберкулёз, у вас застарелая ангина. А ваш муж смертельно болен — его спасти нельзя. У него каверна напротив сердца и поэтому наложить пневмоторакс нельзя».

— *И уже в 27-м году он знал, что обречён?*

— Знал. Каждый год его посылали во всякие санатории. Вот с Медвежьей Горы — это где-то под Ленинградом — он приехал особенно посвежевший. Он там собирал всевозможных чудаков для «Гарпагоонианы». Там были даже и преступники, и воры, и он со всеми ими много беседовал. Лечился он и где-то под Лугой. Туберкулёз нужно лечить в том районе, где человек заболел. А тогда этого не знали, и его всё время посылали на юг. Последний раз его послали в Крым, в Ялту, и он сбежал оттуда, потому что там всем накладывали пневмоторакс, но не золотой, а простой, и очень многие умирали. Когда он вернулся в Ленинград, я сразу положи-



ла его в больницу — кажется, в Мечниковскую. И его очень внимательно вела врач. Но он вдруг сказал: «Довольно, бери меня домой, больше я здесь лежать не буду». Я поговорила с врачом, и она мне сказала: «Состояние его безнадежное, но я всё-таки буду навещать его». И она действительно приезжала.

Когда он вошёл в квартиру, он подошёл к зеркалу и сказал: «Ну, хватит. Погуляли. Теперь я ложусь. Больше никуда не поеду, и мне никого не надо. Не пускай ко мне никого — ни мать, ни брата». И в самом деле он никого не пускал, даже отца, когда тот приехал из Новгорода. Отец и мать были в соседней комнате и не смели войти.

У него были безумные боли. К. К. навещала только Марья Константиновна Тихонова, которая его очень любила. Она приходила каждый день и просто сидела в стороне, а иногда с ним разговаривала. А потом я вдруг увидела, что у него появляются седые волосы и он очень странно смотрит. Я поняла, что туберкулёз дошёл до мозга. Плакать я боялась. Но это было очень страшно. И я поняла, что это конец. Когда в очередной раз пришла его врач, а К. К. уже умер, она села и горько заплакала у постели.

— Александра Ивановича! Если К. К. так рано узнал о своей смертельной болезни, то, вероятно, оставшиеся ему годы он старался успеть написать как можно больше из того, что было им задумано?

— Да, он просил меня править, записывать, и я всё делала. Он очень хотел закончить «Гарпагониану», но не успел. Каждый день он мне два часа диктовал. Но последние дни уже не мог работать. Он был весь седой, у него были безумные головные боли. И один раз он как-то повернулся ко мне и очень долго пристально на меня смотрел. Отчуждённо как-то. Наверное, он и зрение терял. Я 11 суток не могла спать. Это всё было очень тяжело и страшно. На похоронах у него был Д. Д. Шостакович.

— Вам не казалось, что в последние годы К. К. тяжело переживал те изменения, которые происходили в общественной атмосфере?

— Он видел, что у него на пути стоит его отец. Он говорил: «Это ужасно знать, что твоего отца считают врагом родины». У Константина Адольфовича был приятель — тоже старый отец, который приходил к нему, исключительно порядочный человек. И вот у них у обоих было постоянное чувство тоски. Они всё ждали, что их расстреляют.



— Не думаете ли вы, что останься Вагинов в живых, его также постигла бы нелёгкая судьба?

— Скорее всего. Ведь я же рассказывала вам о том, как после смерти Кирова была сослана, а затем там уже вызвана в НКВД и больше не вернулась мать К. К. Как его отец поехал за ней и также пропал без вести. Как чуть не арестовали меня по тому делу, по которому был арестован Заболоцкий?

После ареста Любови Алексеевны я продолжала жить в той же квартире. И ко мне приходили с обыском. Пришли и велели все книги сбросить с полок. Когда я сбросила, велели ставить всё на место.

«Зачем это было нужно?» — спросила я. Мне ответили: «Вот так у одного на полках между книгами лежал револьвер». Я им сказала: «Так это, наверное, человек держал на случай воров». В другой раз следователь приходил в библиотеку Дома писателей и допытывался у меня, кто вчера в читальном зале рассказывал анекдоты. А я даже не в читальном зале тогда работала, а на обработке книг. Тяжёлые настали времена. Но не для меня одной — для всех.

Вступление, интервью подготовил
С. Кибальник



Виктор Семёнов, Николай Семёнов

Записки о старом Саратове

Хлеб их насущный

С незапамятных времён славны были Саратов и Поволжский край прежде всего хлебом. Вековая народная мудрость гласит: «Сколько ни думай, лучше хлеба ничего не придумаешь». А среди хлебов всех главней был и остаётся по сию пору саратовский калач. Как национальное русское достояние стоит он в одном ряду с другими товарами и продуктами, составившими славу и торговую марку производящих их мест и городов.

Саратовский старожил Александр Николаевич Михеев с удовольствием вспоминает старый Саратов, саратовские калачи.

«С 1906 года жили мы на углу Александровской и Соколовой. Учился я в седьмом городском училище на Большой Горной улице, а после уроков заходил в булочную Захарова на углу Александровской. На нашу семью из пяти человек — двоих взрослых и троих детей — брал я два фунта ржаного хлеба, два простого пшеничного, столько же саратовского калача и полдюжины плюшек. Хлеб ели мы вволю и по-всякому. Ржаной шёл у нас за обедом. Плюшки были хороши утром с чаем, сливками, свежим молоком. Калач саратовский полагался исключительно к ужину, вернее, к вечернему чаю. Свежий, пышный, с хрустящей корочкой, он был лакомством, праздничным завершением трудового дня.

Нам, детям, мать мазала большие куски калача повидлом, и мы ели его с чаем.

Калачным днём в Саратове считалось воскресенье. Все пекарни старались выпекать и доставлять в продажу горячий калач к концу поздней обедни, примерно

к половине одиннадцатого. А наша булочная помещалась рядом с церковью Покрова Богородицы. Когда под звон колоколов народ начинал валить с паперти, хозяин Захаров иной раз брал калач собственной выпечки и выходил с ним на улицу. Его подручный следом выносил табуретку. На виду у всех на табуретку постилалась газета, клался калач, который опять прикрывался газетой. После этого сверху накидывался ещё и белый фартук, а на него садился молодой подручный парень, который при этом выкрикивал весёлую прибаутку, вроде такой:

Наш калач — хоть заплачь.
Пышный, свежий — сколько надо отрежем.
Сядем груздем — такой же будет...

Собирались прихожане и зрители. Останавливался трамвай, и из него выходили пассажиры. Тогда по знаку хозяина парень соскакивал с табурета и одновременно сдёргивал покрывало.

На глазах у всех расплющенный было калач распрямлялся и принимал прежнюю форму. Ещё один выносил хозяин из булочной для сравнения. А первый экземпляр разрезался на осьмушки и раздавался нищим для праздника. Ножи для саратовского калача были специальные, с фигурным лезвием, отчасти напоминающие пилу с небольшими закруглёнными зубьями. Такие ножи пористую пышность хлеба не рвали и не мяли.

Ну а народ — тот, конечно, калачи у Захарова разбирал сразу же, да и другой хлебный товар тоже.

Об одной из больших саратовских пекарен, правда, действовавших в 20-х годах, вспоминает другой саратовский старожил Николай Андреевич Володин-Иванов.

«На углу Соборной и Часовенной, — рассказывал он, — была большая по тем

Продолжение. См. «Волга» № 5—6. Рисунки авторов.

временам пекарня «Шрейдер и братья». Когда я учился в школе и подрабатывал, я им ещё вывеску писал. Был Василий Егорович Шрейдер из немцев, хутор свой бросил, переехал в город, купил пекарню. Размещалась она в большом подвале, где стояло две печи. Пёк хлеб очень хороший и вкусный. Сначала только ржаной и ситный. Был такой хлеб, в разломе был он серого цвета, а сверху посыпался мукой.

Жена его, Амалия Генриховна, заправляла квашнёй и торговлей. А сам пёк хлебы. Печи у него топились мазутом, пламя от форсунки было внутри печи, а он внимательно смотрел, чтобы печь не перегреть. Когда надо, отключал и убирал. Потом брал щепоть муки, бросал внутрь печи и смотрел, как она вспыхивала. Если загоралась быстро и горела ярким пламенем, то такой печи давал он охлаждающую выдержку. Всё прикидывал на глаз по своему опыту. Потом на горячий под сажал хлебы деревянной лопатой. Дело это было очень ответственное и требовало умения такого, чтобы сбросить хлеб в одно движение, не поломав ему формы. Иначе не будет он ровненький и кругленький, а будет с переломом или со смятым бочком. Если с одного края толще — будет недопёк, с другого тоньше — значит перепёк, подгар. Такой хлеб покупатель не больно-то возьмёт. После садки хлебов печь закрывалась заслонкой, а караваи вынимались в точно отмеренное время.

Товар у Василия Егорыча и Амалии Генриховны всегда был самого высшего сорта, и место было бойкое, недалеко от Верхнего базара, что имело большое значение. Потому и пекарня Шрейдера быстро приобрела известность, дело шло в гору, и тогда хозяин пригласил в компанию двоих братьев, прикупил соседний подвал, где поставил новые печи и начал выпекать уже саратовские калачи и бублики.

Калачи — те пеклись в формах. И ещё одна особенность выпечки саратовского калача. Перед садкой верх его смазывался мучным клейстером, т. е. мукой, заваренной кипятком. Для этой операции существовала такая специальная кисть плоская. И была ещё одна тонкость во всём этом деле: в клейстере обязательно должны присутствовать комочки неразмешанной муки. Они вместе с клейстером на хлеб так и наносились, а при выпечке их распирало, и они образовывали такие небольшие пупырышки, грибочки и вздутия, сплошь покрывавшие верх калача. От клейстера и корочка верха получалась очень нежная и вкусная, особенно те пупырышки. Пока несёшь калач домой, все эти пупырышки обломаешь и съешь. Удержаться от этого было невозможно. На теперешних калачах их что-то не видно, а раньше наводили их специально — такова была марка саратовского калача. А когда нет пупырышков — это же простой хлеб».



С паровых мельниц от Волги обоз ломовиков везёт муку в пятеричных мешках на Верхний базар, выворачивает с Никольской на Московскую...

Не помню сейчас имени старика, который в тридцатых годах нанимался на Пешем базаре на разные плотничьи работы. Конопатил он на соседнем дворе новый бревенчатый дом, а отдыхая в тени, рассказывал:

«Не таюсь я,— из раскулаченных мы. Хорошо жил, извозничал на племенном битюге, кобыл под садку брал — вот и раскулачили в двадцать девятом. Когда я в восемьдесят шестом году оженился, с отцом мы не делились, потому так жили богато, на двор-то костили только пшеницей. Было у нас две ломовых лошади битюжных с городскими полками. Ломовые полки — это такие телеги грузовые плоские на рессорах, удобные для штучных грузов: ящиков, мешков, корзин. А с берега в город возить по пятьдесят пудов поклажи — это ведь в гору. Значит, лошадь не сеном надо кормить: ей давай отруби, овёс, ячмень, иначе не повезёт. Вот и старались наниматься на мельницы, возить муку в лавки да пекарни. Четыре ездки надо было в день сделать — не менее. Пока грузишь телегу, лошади торбу подвесишь, она ест, отдыхает. Ну, а мешки с мукой,— хорошо, если в лабазе они сверху лежат, их взял и понёс. А те, что снизу,— их сколько наверх корячить надо. Вот и торопились, чтобы успеть верхние захватить. Обедать не было, а бывало, купим с отцом арбуз да калач один на двоих — вот и обед. Или калач да бадейку молока. С калача и сила была мешки таскать, сытный он».

Стоил саратовский калач пять копеек фунт, а в булочной Филиппова на Немецкой улице — шесть копеек. Простой пшеничный хлеб шёл по три с половиной копейки или четыре. Филиппов этот был знаменитым владельцем «булочной Филиппова» в Москве на Тверской улице и толк в муке, хлебе, пекарском деле понимал. У него саратовский калач пёкса из отменной крупчатки, зерно для которой коммивояжёры Филиппова вывозили из-за Волги от немецких колонков, да ещё из-под Ершова, Балакова. Сеяли там раньше пшеничку «новотурку», но не всякая шла в отборный сорт. От больших дождей, к примеру, пышности мучной не получалось, а лучше всего год был среднеурожайный. В Саратове же держал Филиппов булочную не случайно. Знал он, что есть в Саратове хлебопёки — подлиннее мастера своего дела, дотошно владевшие всеми тонкостями. Фирма была на всю Россию, состояла поставщиком императорского

двора, марку держала. Филипповские агенты в Саратов постоянно наезжали, чтоб лучшую мучку перехватить, новый помол быстрее в Москву доставить. Говорят, и сам Филиппов не раз в нашем городе бывал. Держал Саратов славу хлебной столицы Поволжья.

А началось всё со староверов. В начале восемнадцатого века, спасаясь от гонений, хлынули они в чернозёмное Поволжье, образовали поселения в Заволжье по Иргизу и по нагорной стороне, стали заниматься хлебопашеством, получать на тучных землях хорошие пшеничные укосы. Среди старообрядцев немало было людей богатого купеческого сословия. Они-то и погнали на барках и бурлацкой лямке пшеничный зерновой хлеб вверх по удобному волжскому пути в старинные русские ржаные места. Так потом и держали в своих руках в течение двух столетий немалую часть хлебной ссыпки и извоза. И по сию пору на старых саратовских улицах — Покровской, Большой Сергиевской, Соляной, Царицынской сохранились особняки бывших хлебных торговцев-староверов.

Вторая хлебная волна началась при Екатерине II, с переселением в саратовское Поволжье немцев-колонистов. Принесли они с собою высокую культуру земледелия и скоро стали не только производителями большого количества пшеницы, но и хлебными торговцами.

Однако бурлацкая артель давала возможность делать на хлебе лишь один торговый оборот в год. А вот когда с 1840 года пошли по Волге пароходы, товарооборот утроился. Тем самым был дан ещё один толчок производству зернового хлеба в этих местах.

Когда же в 1871 году пустили железную дорогу от Козлова до Саратова, а затем продлили её до степного Уральска, образовав Рязано-Уральскую дорогу, тут хлебная торговля расцвела ещё больше, и произошли в ней многие изменения. Товарные поезда открыли зимний вывоз хлеба в Петербург, Москву, Тулу, весь центр России и за границу. При железнодорожных станциях были построены десятки элеваторов вместимостью до 400 тысяч пудов, склады для хранения хлеба в таре и зернохранилища для хранения россыпью. Из них идёт прямой извоз хлеба к покупателю. Растёт спрос на сортовой хлеб, повышаются требования к его качеству, народными методами идёт селекция местных сортов, не особенно урожайных, но

с высокими пекарскими и вкусовыми свойствами. Слава саратовской, балаковской, заволжской пшенички ширится, и здешний хлеб, а также мука закупаются крупными партиями по всей России. Немалая часть хлеба по-прежнему свозится в Саратов, складировается на крупнейшем, в 500 тысяч пудов, элеваторе в Увеке, элеваторе и зернохранилище товарной станции (440 тысяч пудов), в покровских береговых и станционных лабазах. В несколько рядов стоят хлебные лабазы и на саратовском берегу под Никольским, Провиантским и Вольским взвозами. Здесь же построенные крупные паровые мельницы, сюда подтянута ветка железной дороги. Как и на Увеке, тут идёт перегрузка хлеба с водного пути на железнодорожный, отправка зерна и муки.

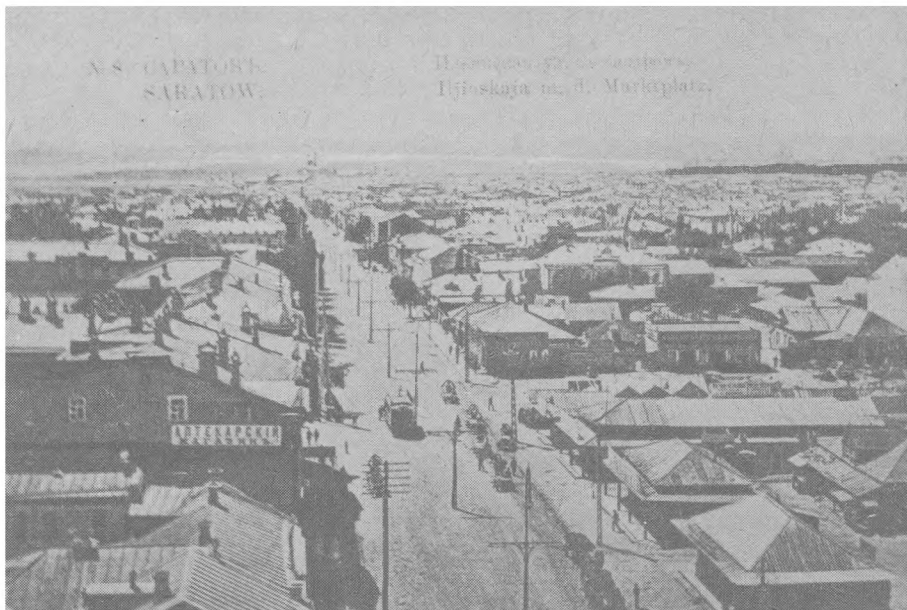
Наряду с крупными хлеботорговыми компаниями, хлебной сыпкой и извозом на среднем плёсе Волги занималось и множество мелких и средних купцов.

Вот, к примеру, село Нижняя Банновка в Камышинском уезде. Стоит на правом берегу на полпути между Камышином и Саратовом. Издавна заселено кулугурами-старообрядцами, среди которых есть и хлеботорговцы. В ближайшей округе русские сёла вперемежку с немецкими колонками. И в самой Нижней Банновке постоянно проживают своими домами три торговых агента от принадлежащих немцам саратовских мукомольных заведений. Вдоль берега стоят на сваях их лабазы, в которые всю зиму свозят хлеб с окрестных селений. Весной в разлив вода подходит прямо к дверям, и тогда чалятся сюда барки, и крючники перетаскивают в мешках пшеницу, ссыпают в трюмы. Местные купцы-кулугуры вскладчину дали кредит своему односельчанину Ивану Сафронову, и тот покупает в Финляндии буксир, называет его «Вуокса» и берёт везде подряды на буксировку барж. Большую часть их ведёт в Саратов, ставит под разгрузку, обратно тащит плоты, а там уж на очереди ещё барки с хлебом. Дальше Саратова по Волге шёл хлеб на Каму и Вятку, на Урал, на Нижегородскую ярмарку и во всё верховье.

Понятно, что со временем гонять зерновой хлеб транзитом через Саратов стало невыгодным. Гораздо доходнее перемолоть его в муку и уж ею торговать. Так образовался в Саратове крупный центр мукомольной промышленности, достигший особого развития после прокладки сюда железной дороги. К концу прошлого века

в городе работало уже 12 паровых мельниц, наиболее крупные из которых принадлежали торговым домам Зейферт, Рейнке и сыновья, братьев Шмидт, Борель. Существовало ещё четыре заведения, изготовлявших и поставлявших мельничное оборудование и жернова. С самого начала почти всем мукомольным делом завладели поволжские немцы. Принадлежала им значительная часть дел по скупке и перепродаже зернового хлеба, около половины мучных и хлебных лавок, булочных и пекарен. Отличные хлебопашцы, мукомолы и хлебопеки были они, и дела их немало способствовали торговой славе Саратова, росту города, население которого в 1900 году составило сто тридцать восемь тысяч жителей. По числу жителей город занимал первое место в Поволжье и одиннадцатое по Российской империи, был одним из крупнейших культурных центров. Можно смело сказать, что этим достижениям Саратов обязан, в первую очередь, хлебной торговле и мукомольному производству. После нефти и керосина хлеб занимал второе место по весу прибывающих и отправляемых грузов, а продукты мукомольного производства стояли на первом месте по стоимости вырабатываемого товара, достигавшего 15 миллионов пудов в год.

Крупная хлебная торговля началась в городе ещё до 1800 года. Была на тогдашней окраине Саратова площадь, называемая Хлебной. Стояли на ней хлебные амбары, шли возовой подвоз, скупка и продажа зерна. Позднее хлебная сыпка ушла на берег, а площадь продолжали называть Хлебной. В старинные времена, вплоть до последней четверти прошлого века, сделки между купцами носили, так сказать, домашний характер («были по рукам»). Товар в амбарах, лабазах, на ярмарках подолгу вылёживался, ожидая образования рыночной цены. Не было скорого поступления сведений о продажах, покупательском интересе и т. д. Всё это сдерживало торговые обороты капитала, тормозило производство и перевозки товара, в том числе и хлеба. Вот почему быстро назревала необходимость организации торгсовой биржи, которая и была открыта в Саратове в 1882 году и первое время называлась Хлебной биржей, так как позволила упорядочить в первую очередь хлебную торговлю. Помещалась Хлебная биржа сначала в наёмном помещении Пассажа Лаптева, а затем в 1890 году было построено для неё спе-



На месте теперешнего Крытого рынка был Митрофаньевский базар, по красной стороне Ильинской улицы стояли многочисленные мучные лавки

циальное, донныне сохранившееся здание, выдержанное в традиционных для таких учреждений архитектурных формах.

Купцы не очень крупные и преимущественно старого толка с утра толпились у здания Хлебной биржи. У каждого к поясу приторочен мешочек, а в нём фунта два пшеницы. Покупатели её растирают в ладонях, пробуют на вкус, пересыпают, смотрят чистоту, налив и влажность зерна — всё на глазок, на зубок — лучше цену ей и не определишь у знатоков-то. А саму пшеницу, двадцать, например, тысяч пудов, и смотреть нечего. Она в Покровске в лабазе вся точно такая же, как и в мешочке. Слово купеческое твёрдое, без обману. Покупай, гони товар дальше, куда знаешь, ускоряй оборот капитала, щёлкай вечером прибыль на счётах. Бьют по рукам купцы, оформляют на бирже покупочку под заёмный вексель по-новому у маклера, а потом по старинке заходят в расположенную рядом Александровскую часовню, свечечки поставят, перекрестятся. Время уже обеденное — идут в трактир «Биржевой» Карноухова на противоположном углу sprыснуть сделку, оскоромиться графинчиком померанцевой, отобедать. А потом на извозчике на переправу, чтоб до ве-

чера уже быть на покровской стороне с приказчиком нового хозяина. Выпьют купцы — станут жаловаться друг другу на теснения крупных торговцев: вон Рейнке и Шмидты перешибают товар большими партиями, на зерно держат цены, какие хотят, а на муке наживаются. Трудно стало, не в пример прежним летам.

В городских саратовских семьях хлеба съедалось, в среднем, полтора фунта на человека, а в деревнях до четырёх фунтов в день на работника. В городе было открыто семнадцать мучных лавок, кроме которых мука продавалась и в десятках других торговых заведений.

Хлебные лавки обычно совмещались с небольшими пекарнями и продавали хлеб собственной выпечки — она велась преимущественно в русских дровяных печах с площадью пода до двух квадратных сажень.

Среди обязательных постановлений городских властей был и раздел «О содержании хлебопекарных заведений». Наряду с обычными требованиями о том, что «...все помещения пекарного заведения должны быть светлы, сухи, хорошо проветриваемы и содержимы в чистоте» и «хлеб при хранении должен быть закрываем чистым полотном», там были, так сказать,

и оригинальные. Например: «...вода в пекарнях должна быть из водопровода; употребление колодезной воды воспрещается»; «пространство, предназначенное собственно для производства и хранения хлеба и муки, не должно служить местом спанья рабочих»; «на дворах при пекарнях выделка низяков воспрещается». Впрочем, качество хлеба и его чистота в Саратове всегда были хорошими — к этому вынуждала конкуренция. И она была ожесточённой — ведь в Саратове насчитывалось свыше сотни только хлебопекарных заведений, кроме которых хлебным товаром торговало множество других.

«Занимающиеся печением ржаного хлеба из размоленной муки могут готовить его караваями величиною по своему усмотрению, а торговцы должны продавать хлеб на вес, отрезая от каравая затребованное покупателем количество. Производство и торговля рыночным пеклеваным хлебом подчиняется тем же правилам, и он продаётся только на вес».

Пшеничный хлеб именовался штучным сортовым и должен был выпускаться величиною в два или в четыре фунта... «заключающий в себе больший вес продаётся желаемым в отрез, не иначе как на вес».

В многолюдных саратовских семьях мало и среднего достатка считалось выгодным печь хлеб самим. В семье железнодорожного мастера Васильева было семеро детей, а всего — одиннадцать человек. Выпечкой хлеба командовала бабушка Анна. Делалось это через день. С утра в специальной кадке наводилась квашня, которую потом целый день приходилось подбивать, для чего назначался кто-нибудь из детей. К вечеру топились кухонная русская печь и, когда подоспевало время, на зольный под сажали деревянной лопатой хлебы. Через час благодатный запах наполнял дом, а перед ужином хлебы стили на кухне, прикрытые полотенцами. Тёплый свежеспечённый хлеб был необычайно вкусным, хоть и делался он из тёмной пшеничной муки. Хорош он был с парным вечерним молоком от собственной коровы и с картошечкой в мундире, сдобренной постным маслом, и с вобляной свежинкой, с огурчиком и яичком крутым, с арбузом, с повидлом да чаем, а то и просто посыпанный крупной ядрёной солью. Горячий хлеб всегда был хорош, даже и безо всего.

За мучкой для домашних хлебов Васильевы раз в две недели ходили в мучную лавку Рейнеке на Митрофаньевском базаре. Продавалась там мука в полотняных

мешках-пудовичках; тёмная пшеничная имела одинарное красное клеймо, белая — для пирогов и хлеба — одинарное голубое, а самая лучшая, крупчатка для калачей и булок, имела двойное голубое клеймо. Её Васильевы не покупали, но по воскресеньям и праздникам бабушка посылала в хлебную лавку за саратовским калачом и баранками к чаю.

Значительная часть жителей старого Саратова была из деревни, имела там родственников и потому доступна была им мука свежайшего помола урожая «нонего» года. Испечённый из такой муки хлеб назывался «хлеб из новины». Ели его те, кто имел возможность быстро привезти муку из деревни. Хлеб из новины имел вкус особый, ни с чем не сравнимый, истинно русский дух и вкус, ощущения которых начисто лишён современный городской, да большею частью и сельский житель. Особым ароматом отличался ржаной хлеб, любимый в северных уездах Саратовской губернии. Тогда в народе говорили так: «Гречневая каша — мать наша, а хлеб ржаной — отец родной». Считался он и урожайней и сытней пшеничного.

Хорошо вспоминает о «новине» Александр Николаевич Михеев. «Летом на каникулы ездил я в деревню к своему деду Елизару. Он приторговывал мелочным товаром, за которым часто приезжал на телеге в город, и забирал меня с собой. Дед для своих домашних нужд сеял одно поле пшеницы и одно — ржи.

Успенским постом хлеб этот мы обмолачивали и сразу ехали на мельницу в соседнее село. Лежал я в телеге на мешках. Прижмётся к мешковине носом — хорош запах. А ещё более того мучной дух на мельнице от свежей мучки. Запах такой тёплый, эдакий сытный с тончинкой ароматной. Покой навеивает и ко сну вроде бы слегка клонит. Стоишь с мешком под рукавом от жёрнова, смотришь, как мука горкой растёт, осыпается на края, оседает и мешок всё плотней, всё более и более тяжелит руку, словно силу какую начинаешь чувствовать.

Обратно едем — дед в приподнятом настроении. Меринок рыжий тоже хлеб чует, знает, что с дороги кинут ему сена, а как поостынет он, напоят его, то будет ему соломенная сечка, щедро запрошенная свежими отрубями, что сам же и привёз. Бабушка встречает нас как самых дорогих гостей: в воротах, как заезжаем, крестит меринка, мешки и нас с дедом на мешках. Соседи через улицу кричат: «Со свежинкой тебя, Елизар, с новинной мучкой».

Назавтра хоть и пост, а всё равно день вроде как праздничный и скоромный, ибо к обеду у нас хлеб из новины. Отец мой на царской службе в лейб-гвардии, и за обеденным столом я, как старший внук, сижу на его месте под образами с левой руки от деда. Дед во главе стола, мать наша — против него, сестрёнки мои с ней рядом, а бабушка — с противоположного угла, чтобы споровней было отходить к печке. Ухватом вынимает она горшок постных грибных щей и ковшом наполняет широкую деревянную чашку, из которой мы будем хлебать сообща. Потом с церемонным поклоном на вышитом полотенце подаёт деду ковригу свежего хлеба, запах которого уже два часа как наполняет и преобразует дом.

Все встают, и дед творит молитву: «Очи всех на Тя, Господи, уповают. И Ты даёшь им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволение». Потом дед, одетый в чистую холстинную рубаху домашнего шитва, берёт ковригу и, прижимая её к груди, округляя по ней ножом, отрезает большие ломти и не кладёт их на стол, а даёт каждому в руку. Так, не кладя куска, все и хлебают щи, подставляя каждый раз под деревянную ложку свой ломоть. Всё чинно, торжественно, соразмерно значимости свершаемого события — вкушению хлеба из новины. А ломоть так и доедается до конца без положения на стол. «Хлебом не бросаются», — любит повторять дед. Порядок такой блюдетсся, как говорят, ещё от предков наших крестьянских, от их тяжёлых, в поте лица своего, трудов. Ели мы первый хлеб с вашим удовольствием и с благодарением Богу».

Голсовой саратовского хлебопекарного дела были три десятка булочных, располагавшихся преимущественно в центре. Некто Куфельд А. П. имел четыре булочные на Немецкой, Александровской, Ильинской. Мука туда поступала свежая и самая лучшая. Свежесмолотой муке давали месячную отлёжку, чтобы она созрела и пекарские свойства её улучшились. Потом и подъёмная сила теста от этого усиливается, особенно если и расстойка его выдержана. Также тесто сколько хочешь раскатывай в блин, тyani его до самой что ни на есть тошны — оно никогда не порвётся. С точностью до минут доводилось тесто до необходимых пекарских кондиций.

Лучшей из саратовских булочных была булочная знаменитого Филиппова, где

знали все тончайшие приёмы выпечки. Поговаривали, например, что один из секретов пышности филипповских булок основан был на том, что для замески теста использовал он не допроводную, а колодезную или стоялую воду «с душком». Тесто на такой воде якобы лучше поднималось.

Выпекали и продавали булочные и саратовский калач, халы, всякую сдобь и, наконец, так называемые французские булки с продольным разрезом сверху: большие — весом в один фунт и малые — в полфунта.

Французские булки — особая статья: корочка сверху в меру загорелая, чуть коричневатая, а в разрезе и по бокам — белая и чуть тронутая желтизной. От коричневого к белому нежный переход.

Самые натуральные французские булки выпекались в кондитерской «Фрей» на Немецкой улице, ибо хозяином там был истинный француз. Работа начиналась глубокой ночью, когда мастер, тоже француз, с подручными доводили тесто, мяли его, смотрели, как виснет в руках. В подвальном помещении топились дровяные печи — жар в них должен быть заданной силы и к точному сроку. Французские булки выпекались к пяти утра, и большая часть их передавалась разносчикам, одним из которых работал Иван Петрович Чукалин. Слустя семьдесят лет дочь его, Нелли Ивановна, рассказывала:

«Отец уходил из дома затемно, прихватив с собой большой лубочный короб, корзинку поменьше, выстиранную белую скагерть и полотенце. К тому времени приходил в кондитерскую и старший хозяйский приказчик, который принимал товар. Недопёк-перепёк, малейший залом, помятость, завал кромки, неправильная форма или цвет корочки — и булка безжалостно браковалась, в продажу, на прилавок она не попадала ни под каким видом. В этом отношении хозяин был строг и ни малейшей уступки не делал, а если замечал подобный урон престижу своего заведения, то строго зыскивал. Отец мой получал свыше полусотни больших горячих булок и тщательно укладывал их в лубочный короб на скатерть, краями которой укрывал товар сверху. Короб надевал на спину, а в руки брал круглую плетёную корзину с плюшками и всякой сдобью под полотенцем. Согнувшись почти до земли, доходил он до нашего квартала около сада Сервье и обходил дома живших тут зажиточных горожан, доставляя к их завтраку тёплые свежие булки. Когда горячую булку мазали сливочным маслом, оно подтаивало, пропитывало белую мякоть, и вкус её

с хорошим китайским чаем был бесподобен, особенно если сверху дополнительно клалась ложка мёда или варенья.

Разносить булки надо было летом и зимой, в будни, воскресенье и праздничные дни, а также в любую погоду — таков был порядок, и отступать от него было нельзя, чтобы не потерять постоянных клиентов. А среди них были и купец Болдырев, доктор Маросеев, аптекарь Фридолин, актёр Правдин, инженер Гройсберг, чиновники, домовладельцы, торговцы. По праздникам булки брали ещё и непостоянные покупатели из простого люда.

Когда отец болел, всю работу выполняли мои старшие братья, которым тогда приходилось пропускать занятия в ремесленном училище. Шли булки по семь копеек штука. Шесть копеек отец сдавал старшему приказчику, а одну копейку оставлял себе. Плюшки стоили пять копеек пара. Кроме того, три-четыре булки из числа бракованных и несколько плюшек разносчикам полагались бесплатно.

Двойная работа выдавалась в летнее время, когда многие саратовцы выезжали за железную дорогу в бывшие здесь загородные сады и дачные места. Тогда мы, дети, вдвоём-втроём помогали отцу, обходя с ним обширные пространства. Зато выручка летом была двойная. Булки всегда хорошо продавались, так как товар кондитерской «Фрей» имел многолетнюю славу и репутацию солидной фирмы. Постоянной была и клиентура — отец работал разносчиком более шестнадцати лет и каждого покупателя знал по имени-отчеству. Те тоже приветствовали его Иваном Петровичем, выказывая уважение к нему, его тяжёлому труду, к хозяйству заведения и всей фирме».

На углу Московской и Покровской улиц стоял, да и сейчас ещё стоит, дом Акимова. Два верхних этажа его были заселены священнослужителями многочисленных в этой части города церквей и духовных учебных заведений, а в обширном полуподвале помещалась просвирня-пекарня, выпекавшая просфоры — большие и малые, заздравные и заупокойные. Подавались они прихожанам за причастием, по окончании обеден, молебнов и панихид. Делались из пшеничного крутого, пресного и несолёного теста, хорошо сохранялись, не плесневели и имели чистый натуральный хлебный вкус, который многим саратовцам старшего поколения хорошо помнится с детства.

Хлебы из пресного теста «опресноки»

были заповеданы нам ещё в Библии. Выпечка пресного хлеба из муки грубого помола являла собой рождённую в веках народную мудрость, которая справедливо считала такой хлеб самым полезным для здоровья.

Просвинок в Саратове выпекалось множество, и составляли они приметную часть хлебного дела.

Были в Саратове и ещё особые истинно русские хлебные заведения, хозяевами которых, кстати, состояли исключительно русские владельцы. К ним относились три специальные крендельные пекарни и дюжина крендельных лавок, торговавших преимущественно на Верхнем базаре. Крендели были всякие: простые, сдобные, солёные, великопостные (архиерейские), сушки, баранки, бублики, с маком и т. д. Продавались они поштучно и целыми связками и не только в крендельных лавках, но и в бакалейных, и в хлебных, и в булочных, а также с лотков и вразнос — особенно много на базарах.

Воскресенье — день базарный. Пойдёт хозяйка утром на базар, несёт обратно кошёлку всякой снеди, а на локоть наденет связку кренделей. Тут надо иметь в виду, что любил русский народ попить чаю, ну а к чаю в самый раз крендель да саратовский калач.

Много кренделей выпекалось именно к воскресным утрам. В семье дьякона Виктора детей было шестеро. В ночь на воскресенье старшие подрабатывали в пекарне Дерябина, сажали крендели в печь. Вкушали свежую выпечку и запах крендельный, такой особенный, не похожий на другие хлебные запахи. Когда кончали к семи утра, хозяин каждому надевал на шею связку кренделей. Был крендель русским народным любимым лакомством. В праздник на улицах города простые саратовцы распевали такую частушку:

Коль полюбишь ты меня,
Я тебя утешу...
Куплю связку кренделей,
На шею повешу...

Во время зимних Святок, когда пелись рождественские колядки и по домам ходили ряженые, связка кренделей часто надевалась на голову вместо венка или подвешивалась вместо бороды.

Почти в каждом городском квартале была хлебная, бакалейная лавка или бу-

лочная. Располагались они равномерно по всему городу. На Большой Горной улице имелось более десятка хлебных лавок и две булочных. Некоторые из них до сих пор используются по своему прежнему назначению. Следы других лавчонок, в том числе и бакалейных, и сейчас ещё можно видеть на каждой из улиц, сохранивших старую застройку, — на Часовой, Царицынской, Цыганской, Нижней и Ильинской и многих-многих других: тут наполовину заложённый кирпичом дверной проём, там — запечатанная входная дверь с угла дома (входы в лавки предпочитали делать с угла).

Много было в Саратове разных хлебов на всякий вкус и к постным дням, и к праздникам, и ко шам, и к чаям обильным: хлебы ржаные с тмином и ко-реандром, халы с маковой посыпкой, плюшки с поливом глазурью, и с посыпкой, и с повидлом, кух немецкий, сдоба всякая, финтифлюшки, пышки, лепёшки сметанные, пшеничные, лепёшки ржаные на меду, лепёшки овсяные и ячменные, булочки ванильные, шафранные — всего и не перечислишь, а иное уж и забылось нашими старожилками. Не было теперешнего хлебного однообразия, а было самое настоящее разнолебье — широкое, как богатырская русская натура и русское наше поле. То был хлеб насущный, могучий и державный, богатство, сила, дух русский, любовь и гордость наша. Слава Богу, что дан он нам, и будем надеяться, что навечно. Свой хлеб — он ведь никогда не приедается.

В особняках на Соборной улице

Основатель известной династии саратовских мукомолов Рейнеке умер, завещав всё своё состояние — в виде мельницы с паровой машиной, вместительных амбаров при ней, двухэтажного дома на Большой Кострижной улице и огромной суммы денег в Северном банке — двум своим сыновьям Фридриху и Эрнсту, внешне непохожим, но внутренне сплочённым единой целью: продолжить начатое отцом делом, укрепить общий капитал и, по возможности, посрамить давних и ненавистных конкурентов Шмидтов.

Предки дружных братьев уже давно поселились на российской земле и, кроме слегка искажённого языка да традиционной немецкой аккуратности, теперешние немецкие колонисты мало чего сохранили от екатерининских времён. Многие поволжские немцы внешне и не походили

на иностранцев. Младший Рейнеке — Фридрих не был из них исключением. Он носил русский купеческий сюртук, рубашку под ним подпоясывал навыпуск, не брезговал сапогами, а голову его украшал картуз с лакированным козырьком, столь обыкновенный в те времена в кругах российских предпринимателей. Румяное круглое лицо Фёдора Эрнестовича (как он сам себя называл) окаймляла русая борода, на шее болтался православный крестик, а громкие матерные ругательства, издаваемые им в минуты крайнего раздражения, дополняли впечатление о нём как о типичном россиянине. Он охотно составлял компанию купцам рангом пониже в дешёвых трактирах на Верхнем базаре, водку пил по-русски — стаканами, любил всласть покушать и шумно погулять, церковь посещал только по праздникам, а всяких светских приёмов откровенно сторонился. Но слыл умным человеком, дело своё знал отменно и немало преуспевал. Пожертвования на больницы, приюты и приходы делал щедрые, благодаря чему у городских и церковных властей пользовался уважением.

Старший Эрнст был как бы мозгом родственного союза Рейнеке. Высокий, худощавый, несколько медлительный и чуть надменный, одетый всегда по-европейски изысканно, безукоризненно вежливый и спокойный, Эрнст более, нежели брат, унаследовал от своих предков чуждые русскому человеку обычаи и привычки: не ругался с извозчиками, умеренно ел и пил, даже по праздникам, летом перед сном в одиночестве прогуливался в Липках, постукивая стёком по деревянным бордюрам, а зимой был заядлым посетителем катка Яхт-клуба. Старший брат искусно поддерживал нужные отношения с многочисленными поставщиками, своевременно проводил необходимые реконструкции на мельнице, умело организовывал сбыт. Был вхож к городскому голове и губернатору, охотно появлялся в Коммерческом собрании и в городском театре. Дело Рейнеке процветало.

Братья жили в старом отцовском доме, где большую часть комнат занимал рано женившийся Фридрих, а Эрнст, в ожидании собственного дома, располагался пока в двух комнатах на первом этаже, выходящих окнами в дворовый палисадник.

К неудовольствию своего младшего брата, рассудительный и дальновидный в деле Эрнст в личной жизни проявлял беспечность и несерьёзность. Он состоял в тайной связи с гувернанткой детей купца Шерстобитова и о женитьбе, кажется, не помышлял. Людмила Сергеевна (так зва-

ли любовницу старшего Рейнеке) была молода, хороша собой и обладала, помимо всего, незаурядным умом, позволявшим из сложившейся ситуации извлекать не только приятное, но и полезное. Жёны именитых саратовских граждан оживлённо шептались на званых вечерах, сообщая друг другу о дорогах подарках, полученных Людмилой от своего богатого поклонника. Верхом изумления благородного саратовского общества была новость, сообщённая супругой городского нотариуса. Совсем потерявший голову Эрнст подписал дарственную даме своего сердца на прекрасный особняк, который он долгих два года и с видимым старанием строил на углу Соборной и Армянской улиц. Так удачливая гувернантка стала владелицей одного из красивейших в городе домов из серого камня, с высокими окнами, изразцами, вензелями, изваяниями двух львов на входной лестнице и гротом на дворовой стене...

Нимало не смущённый явным огорчением брата и молчаливым осуждением делового саратовского мира, Эрнст тут же заложил новый дом невдалеке от только что построенного. Фридриху он торжественно пообещал обзавестись семьёй и прекратить неразумную трату общих, лишь условно разделённых капиталов. Слово своё он сдержал. Хотя его встречи с хозяйкой серого особняка продолжались и их нередко видели то на Кумысной поляне в лёгком экипаже, то на палубе волжского парохода, но богатые подношения своей избраннице старший Рейнеке прекратил. А по мере того как за Липками вырастал его новый, необыкновенно красивый дом, Эрнст всё реже навещался в особняк и всё чаще задерживался в кирхе, где под звуки органа на его лицо ложилась печать грустного раздумья...

Ранней осенью Митрофаньевский рынок уже изнемогал от тяжести звонких волжских арбузов. Эрнст торжественно въехал в своё новое жилище. Это было изящное асимметричное здание с удобным интерьером и внешне безукоризненно отделанное. Причудливой формы окна и балконы, со вкусом выполненная небольшая колоннада, электрический фонарь над входной дверью, оригинального рисунка ограда — всё было сделано добротнo и красиво. На шумном новоселье, устроенном братьями, Эрнст твёрдым голосом объявил о своём намерении съездить в Германию, откуда бы он хотел, помимо всего прочего, привезти в Саратов хозяйку новых апартаментов и спутницу жизни. Гости с фальшивым энтузиазмом аплодировали последним словам.

Поздним декабрьским утром на привокзальной площади Саратова царило то оживление, которое всегда сопутствовало приходу московского поезда. Трамваи заливали площадь беспокойными и частыми звонками, извозчики шумно торговались с клиентами, снимая с лошадиных голов торбы с ячменём, мальчишки предлагали приезжим «Саратовский листок», а толстые торговки на перроне — семечки и пирожки. Из вагона первого класса навстречу объятиям брата вышел Эрнст Рейнеке в бобровой шубе с шалевым воротником, а вслед за ним — полная женщина лет тридцати, богато и безвкусно одетая. У неё было красивое холёное лицо, ярко-рыжие волосы и серые немигающие глаза с уверенным и сердитым взглядом. Она деловито представилась Фридриху, а потом тщательно пересчитала многочисленные чемоданы, уже извлечённые носильщиками из недр вагона и аккуратно сложенные на тележку. Это и была новая супруга старшего брата, решившего устроить свою жизнь на подлинный немецкий манер. По-русски фрау Рейнеке не понимала и, судя по всему, понимать не хотела, убеждённо полагая, что её внимание может быть достоин только тот, кто говорит на её родном баварском диалекте.

С этих пор в новом доме за Липками был установлен образцовый немецкий порядок: в гостиной, спальне, кабинете, на кухне, во дворе и на прилегающей к дому части улицы безраздельно и азартно хозяйничала фрау Клара Рейнеке. Неизвестно каким путём к ней просочились слухи о бывшей любовнице мужа и о месте её теперешнего обитания. Серый особняк хорошо просматривался с балкона фрау и постоянно наводил её на грустные размышления. Неудовлетворённая регулярными истеричными напоминаниями мужу о его прежних грехах, Клара придумала своеобразный способ выражения своей досады и возмущения этой российской нахалкой, этой скверной жизнью и этим «варварским» Саратовом.

Однажды в тёплое и светлое майское утро, когда только что отзвонили колокола Александро-Невского собора и последние их звуки несильный ветерок унёс по Бабушкиному взвозу к сверкающей волжской глади, подбравшийся конские яблоки Кузьма, вышколенный дворник из рейнековской прислуги, услышал над головой громкую нерусскую речь. На балконе хозяйского дома стояла растрёпанная Клара и, энергично потрясая маленькими кулачками, что-то напыщенно произносила в сторону недалёкого жилища Людмилы Сергеевны.

Набор непонятных Кузьме фраз был закончен эффектным плевком, сделанным настолько мощно, что он угодил на проезжую часть, недалеко от дворника. Фрау удалась, а Кузьма, подумав, присовокупил барынин плевков к конским яблокам. Позже, поливая во дворе аккуратно стриженный газон, Кузьма рассказал виденное им утром горничной. К вечеру обросший невероятными подробностями эпизод стал достоянием всей прислуги, а также обитателей соседних домов...

Сердитая фрау, как оказалось, ввела описанное действие в обязательный утренний ритуал, нечто вроде гимнастики, дававшей ей заряд энергии и бодрости на весь день. Вскоре у дома Рейнеке по утрам, в ожидании интересного зрелища, стали собираться зеваки: гимназисты, нищие, солдаты с городской гауптвахты и просто прохожие. Нимало не смущаясь обилием зрителей, Клара методично повторяла свой номер, разве только существенно сократив словесную часть: теперь после двух-трёх восклицаний следовал плевков и дверь захлопывалась; что, впрочем, вполне удовлетворяло собравшихся...

По прошествии года к этой странности сердитой баварки привыкли, как привыкают ко всему, и утренние явления Клары на балконе стали обычной достопримечательностью Саратова — так же, как голосистый кривой шарманщик на Пешке, как кровавые разгулы волжских крючников после больших подрядов или сумасшедший нищий Аркаша на Митрофаньевском базаре, развлекавший досужих обывателей за пятаки неприличными плясками...

...Много лет прошло с тех пор, новые события заслонили собой давние страсти, одолевшие когда-то хозяев богатых саратовских особняков. Но только и теперь, прогуливаясь по тихой и зелёной улочке мимо по-прежнему красивого дома с необычной архитектурой, всякий раз вспоминается смешной эпизод из жизни обитателей старого Саратова, людей, ходивших вдоль этой аккуратно ограды городского сада, видевших эти шпили над консерваторией сквозь негустую зелень Липок и дышавших этим воздухом над сверкающей волжской гладью...

Артельщики с Митрофаньевского

На Митрофаньевской площади обычный базарный день... Прогромыхавшая по схваченной крепким ночным морозцем грязи гружённая мешками телега с треском разломилась ледяную корку на неглубокой

луже и замерла у церковной ограды. Мужик-возчик в малахае и грубом плаще с откиннутым капюшоном разнуждал гнедого жеребчика и задал ему торбу с овсом.

У скобяной лавки купца Канарейкина уже толпились в ожидании подряда артельщики. Аккуратно запеленатые в деревянные чехлы двуручные пилы и сложенные в мешки из грубого холста разномастные топоры (ручками наружу) бережно прислонены к глухой стенке лавки, хозяин которой хоть и поругивается, но терпит постоянный утранный сбор артельщиков у своих владений.

Оживает Митрофаньевский рынок — чрево старого Саратова, главный пункт торговли овощами, фруктами, мясом, хлебом, молоком, грибами, мелким кустарным и хозяйственным товаром. Грязное, бойкое место, кишашее торговцами и покупателями всех мастей, пьяницами-грузчиками, зеваками, ворами, заезжими цыганами и местными попрошайками. Торгуют здесь по-всякому — из лавок с затейливыми и пёстрыми надписями («Колониальный товар в ассортименте — бр.Сахно»), с базарной стойки под ветхим навесом, с воза, с ручной тележки, с земли, а то и просто так: стоит баба с тыквой и покрикивает: «Берите, берите, сладкая и семечек много...»

Вся площадь вокруг церкви — в шелухе, яблочных огрызках, соломе, конском навозе, арбузных корках и вылущенных подсолнухах.

Неяркое осеннее солнце поднимается над аптекарским магазином, что на Ильинской улице, освещая пёструю картину набирающего силу базарного дня. Рядятся двое мужиков за воз крепких капустных вилок, а вокруг — уже добрая дюжина любопытных: молча стоят, семечки щёлкают... Пошли по базарным рядам горничные из богатых домов: особенно не торгуются, выбирают что получше. От лавки к лавке идёт, пошатываясь, полоумный от пьянства верзила, местный завсегдатай, прося денег на водку и беззлбно поругиваясь на отказ. С кошёлкой в руках осмотрительно и деловито приценивается к картошке толстая баба в полосатом платке. Сосредоточенно курит у прилавка с выставленной деревянной посудой мужчина-железнодорожник...

Здесь-то, у лавки известного купца, каждое утро и собираются артельщики — те, кто дрова заготавливает для всех желающих саратовских граждан, у которых в доме денежки есть, а настоящие мужчины — не всегда. В артели обычно три человека, двое пилят, третий колет, а как рас-



пиловка окончена, все трое, стало быть, машут топорами. Старший у них — один из пильщиков — за пилой сам следит, правит её и никому не доверяет, даже носить. Топоров в артели — три, два обычных, а третий — «колун», для особо крепких поленьев. Ну и подсобный инструмент: клинья, напильники. Всё это сообща куплено и поэтому бережно хранится и используется.

Самое горячее время у артельщиков — конец лета и осень, когда торопятся заготовить на зиму дровишки предусмотрительные хозяева. Здесь и поторговаться с прижимистыми нанимателями можно, цену набить. А откажут — долго без дела не прстоишь. Время-то — осеннее!

Вот и сегодня быстро увели по дворам уже шесть артелей, да и сельмая на очереди, та, где старшим дядя Володя, рядится с посыльной от судебного следователя, которому только вчера по ходатайству Окружного суда привезли воз сучковатых осиновых брёвен.

Дядя Володя, крепкий сорокалетний мужик с красным обветренным лицом, внимательно слушает посыльную (которой наказано за работу отдать 4 рубля, не больше), а сам куда-то вверх смотрит, никак на колокольные чего интересное увидел. «И идти-то недалеко, на Грошовую. Здесь два шага, — вразумляет посыльная, похоже, служачка или кухарка, — и дрова-то — сырые, мигкие...» Дядя Володя молчит, курит,

слушает. Два его помощника уже подняли с земли инструмент, уверенные, что сделка состоится: четыре рубля за полсажени дров в это время — цена хоть не царская, но всё же поболее обычной.

«Ну, впрочем так, мать, — изрекает, наконец, старшой простуженным голосом, видимо, всё взвесив, — либо полтину добавляешь, либо обедом нас кормишь!» И опять смотрит на колокольню, ответа ждёт. Хихикают молоденькие подручные, понимают, что сорвать дармовщинки немножко задумал их бригадир. Но и баба посыльная не проста. Возвышает она голос до базарного (как и все кругом) уровня: «Это идей-то слыхано, чтоб обедами пильщиков раскармливать?!» — взмахивает руками, призывает в свидетели мигом собравшихся зевак, убеждая артельщиков, что креста на них нет... Столковались пойти дрова посмотреть, а там на месте всё и решить окончательно.

Маленький дворик двухэтажного каменного дома наполовину завален неровными сучковатыми брёвнами: видно, не очень возчики церемонились, когда дрова разгружали.

К артельщикам неожиданно сам хозяин вышел — Лавров Константин Евгеньевич, высокий сухопарый мужчина в форменном сюртуке с позументами.

«Добавить бы надо, хозяин, сучьев уж больно много...» — привычно начал было дядя Володя, но Константин Евгеньевич коротко и твёрдо оборвал несмелые при-

тязания старшего: «Или беритесь за дело, господа хорошие, или сам перепилю!» И, руки за спину, неспешно удалился, показывая, что всякие разговоры бесполезны, потому как и так цена неплохая...

В недоумении дядя Володя: вроде бы и работать надо, но как-то унизительно — не выговорившись, не пошумев — взять да и согласиться. А подручные хоть и понимают затруднения старшого, посмеиваются — сам виноват, нечего было заламывать. И снимают с себя ватники, показывая, что время-то идёт, а работы много. Постоял, постоял, глядя на них, старший артельщик, сплюнул сигарку да пилу расчехлять начал. И вот уж первое бревно на козлы легло...

Здесь-то и появился во дворе, воровато озираясь на окна, хозяйский сынок, гимназист видно, такой же высокий и лицом на отца здорово похожий. Подбежал он к старшому, сунул ему в руки полтинник и ломающимся юношеским голосом взволнованно пробасил: «Вы уж, господа, дрова-то сработайте, а то ведь родитель мой таков — неровён час и сам возьмётся. А тогда уж и мне-с деваться некуда будет... Я вам сейчас и водички вынесу».

Переглянулись артельщики недоумённо: вот уж неожиданно-негаданно этакий счастливый поворот. А дядя Володя, довольный, подмигнул своим молодым помощникам, дескать, видите, не зря торговался, вот он полтинничек и наш.

И закипела работа. Брызжут опилки из-под горячей пилы, гулко бухает топор, с треском разбивая кругляши на влажные поленья, устилается двор щепками и осиновой корой.

Посветлело и потеплело во дворе. Робкое октябрьское солнышко растопило ледок на лужах, заиграло на куполах саратовских церквей, засверкало на безветренной глади по-осеннему пустынной Волги.

Малолюдно на Прошовой улице. Вроде бы и в центре Саратова, да нет на ней ни магазинов, ни лавок, ни складов, ни лабазов. Потому и разлеглась посреди дороги большая рыжая собака и неохотно так уходит, если редкая телега по мостовой прогромыхает. Тишина... Лишь из тёмного дворового подъезда слышится равномерный звук работающей пилы да с Немецкой шум трамвая доносится.

...К вечеру усталые артельщики, сложив инструмент, присели возле аккуратных штабелей из свежих поленьев, покуривая в ожидании расчёта. Строго и придирчиво оглядел работу вышедший Константин Евгеньевич, потрогал шершавые белые срезы, попробовал штабеля — не

валятся ли. По всему — доволен остался и деньги старшому этак охотно отдал: «Честно потрудились, господа, ничего не скажешь!»

А теперь — с лёгким сердцем и развеяться малость можно. Спешит дядя Володя туда, откуда свой день трудовой начал. Там, за лавкой купца Канарейкина, куда принесут воблы, хлеба и водки шустрые помощники, и расскажет сейчас старшой иным артельщикам, как чудно он лишний полтинник нынче заработал. А потом и их рассказы послушает...

Как встречали Петра Первого

Была в Саратове традиция: в так называемые царские дни, т. е. дни рождения, тезоименитства и коронавания их императорских величеств выставлять на окна вечером фонарь, лампу или свечу. Такая иллюминация при скудном городском освещении или даже полном отсутствии такового придавала улицам праздничный вид. За соблюдением этого правила наблюдали околоточные надзиратели и квартальные.

Мало кто знает, откуда взялась такая традиция. А дело, оказывается, связано было с давним приездом в Саратов государя Петра Первого.

Старейший саратовский художник Борис Антонович Протоклитов рассказывал, что, когда он со сверстниками учился в Первой Саратовской мужской гимназии, то на уроках истории пожилой их учитель говорил следующее.

«Пётр Первый должен был приехать в Саратов под вечер, да немного задержался и въехал в город с Волги поздно вечером, когда было уже темно. Саратовский воевода Беклемищев в связи с этим распорядился каждому владельцу дома выставить перед домом на обочине дороги масляную плошку с зажжённым фитилём. При таком вот множестве огней царь и въехал в город. Отсюда и возникла саратовская традиция зажигать в окнах огни».

Крещение

В старой России, в том числе и в Саратове, праздник Крещения почитался чуть ли не наравне с Рождеством Христовым, ибо тогда живее были предания об одном из главных исторических событий — Крещении Руси Киевским Великим князем Владимиром. По-другому праздник назы-

вают ещё и Богоявлением, так как при крещении явился Бог в ипостасях Божественной Троицы и Дух Святой снизошёл на младенца в виде голубицы.

На Крещение кончались Святки, началом которым давало Рождество Христово — то была пора народных гуляний, ученических каникул, шёл зимний мясоед, и в обычае было ездить друг к другу в гости. Правда, накануне, в Навечерие Богоявления, был строгий пост. В церквах читались часы Навечерия, свершалось великое освящение воды и перед зажжённой свечой пелись тропарь и кондак праздника. По народному звался этот день крещенским сочельником, а вечер этого дня тем «крещенским вечерком», когда надо было, как описано у Жуковского, гадать и бросать за ворота башмачок. Православные христиане в тот день не ели «до крещенской звезды».

Самый же день Крещения праздновался пышно — не так, как сейчас. Торжественное богослужение — Литургия Святого Иоанна Златоуста с водосвятием и раздачей святой воды — свершалось во всех храмах. На утрени звучало величание:

Величаем тя, Живодавче Христе,
Нас ради ныне плотию крестившегося
От Иоанна в водах Иорданских.

Местный храмовый праздник был в Митрофаньевской (Вознесенско-Сенновской) церкви, где имелась почитаемая икона Богоявления. Помещалась эта церковь посередине Митрофаньевского возового базара, по соседству с цирком.

Но главный праздник происходил сначала в Свято-Троицком соборе, а потом и на самой Волге. На Старособорную площадь стекалось множество народа, так что дополнительную сорокаведёрную деревянную чашу для водосвятия ставили на паперти против дверей нижней церкви. Всю воду из неё православные потом разносили по домам.

Накануне же праздничного дня во льду реки под Московским взвозом вырубали иордань, шириной до двух сажень, и ещё большой ледяной крест с сидящим на нём голубем.

В день праздника после молебна в соборе причт с хором крестным ходом с иконами и хоругвями в сопровождении жителей шёл к реке.

Звучало торжественное:

«Во Иордане Крещающуюся тебе Господи...
Троицкое явися поклонение...

...И Дух в виде голубицы...
... Господи, слава Тебе!»

Сияло на снегу ослепительное солнце. На крещенском морозе парились иордань, голова которой была окружена причтом в белосеребряных облачениях. Сотни людей стояли вокруг иордани, ещё тысячи на возвышении берега. Съезжали на лёд и выстраивались в сторонке нанятые извозчики, готовые принять от купели своих седоков и мчать их в город.

По молитве свершался чин великого освящения воды. На словах «Сам убо, человеколюбче царю, прииде и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию...» священник трижды погружал крест в воду — святил её. После чего человек двадцать-тридцать мужей, разоблачившись до полной наготы, бухались в опущенную в воду решётку, окунались несколько раз, а выскочив на лёд и нырнув в дорогие шубы и валенки, укатывали домой. Преимущественно это были лавочники и мелкие купцы. Извозчики в гору гнали лошадей вскачь.

А раздеваться при купании надо было полностью, так как считалось, что иначе не будет божьей благодати. Несколько женщин тоже отваживались принять купель. Дело это не считалось постыдным.

Мирыне наполняли водой посуду, помощники ктитора храма ковшами на длинных ручках черпали из Иордани, разливали. Свячёную воду разносили по домам, хранили целый год, с молитвою пили натощак, а до того кропили притолоку дверей. Ещё по домам ходили священники с дьяконами и причетниками, кропили святой водой комнаты, рисовали мелком кресты на дверях, чтоб не преступали порог злые духи, всякие беды и напасти.

Кто хотел, купались в иордани в течение всего дня. Саратовский старожил Александр Николаевич Михеев, священник Свято-Троицкого собора, вспоминал, что в старину соседи их семьи — муж и жена — в крещенскую ночь ходили на Волгу и купались там в проруби.

Между тем на дворе обычно трещали морозы. И с погодой этого дня были связаны народные приметы. В справочнике «Весь Саратов» за 1900 год о них написано:

«Яркие крещенские звёзды породят белых ярок».

«На Крещенье день тёплый — будет хлеб тёмный».

«Коли на воду идёт туман — хлеба много».

«На Крещение метель — на Святой метёт».

«Снег хлопьями — к урожаю».

«Звёздная ночь — урожай на горох и ягоды».

Галахи

Когда-то жил в Саратове татарин Галахов. Содержал он самый что ни на есть дешёвый ночлежный дом. Ночевали у него нищие, босяки, безработные, потерявшие кров люди и, естественно, пьяницы.

Где именно и в какие годы существовала эта ночлежка — неизвестно. Но народу в ней перебивало, по-видимому, немало и «процветала» она длительное время, потому что распространилось среди саратовцев слово «галаховцы», что значило обитатели ночлежки Галахова. Со временем образовалось нарицательное «галах», т. е. бездомный, безработный оборванец.

О галаховцах и ночлежке Галахова упоминает В. Гиляровский в «саратовском» разделе своих воспоминаний, относящемся к 1875 году: «летом галаховцы (зимой ютились в ночлежке Галахова) перекочёвывали в овраги под Лысой горой. Каждый вечер там шла игра в орлянку, пьянство, драки...»

Существовали галахи на случайные заработки: подносили вещи на вокзалах и пристанях, собирали на свалках кости, стекло, тряпье, работали землекопами, зимой вырубали из льда плоты и брёвна вытаскивали на берег. Как правило, пьянствовали. Бедствовали, болели, умирали, пропадали совсем безвестно.

Среди домохозяев-обывателей обычны были выражения: «пьяный, как галах», «одетый, как галах», «шатается везде, как галах»... Из разговоров: «Надо пару галахов позвать, чтобы снег с крыши поскидали да в летний погреб набили». Прислуге: «Глаша, иди позови галаха. Пусть он вещи до пристани несёт».

Хозяйки, кухарки возвращались с базара нередко в сопровождении галаха, который тащил кошёлки со снедью. Переезжая на другую квартиру, в грузчики брали галахов.

Мальчишки, сидя на заборе, дразнились:

Как за городом в талах
С протопопшею галах...

Грешным делом сом

Всеволод был парнем лет семнадцати из религиозной семьи, которая придерживалась старообрядчества и жила близ Волги на Покровской улице. Работал он помощником печника и каждое утро к семи часам шёл к своему мастеру на Пешку, где они и сидели на всегдашнем своём определённом месте, ожидая заказчика.

Заказчики приходили всегда с семи до девяти часов. В другое время никто не являлся.

Была у Всеволода своя лодка, и на ночь часто ездил он на Песчаный остров против Саратова. Ставил там закидные удочки с колокольчиками. Варил картошку. Спал в стареньком тулупе у костра. Утром с уловом возвращался домой и шёл к работе.

Один раз поймал Всеволод сома на два пуда. Еле его вытащил и донёс. Мать как увидела, так и охнула: «Батюшки! Зачем же ты его притащил? Господи, беда-то какая...». Очень недовольна была мать, и есть сома не стали. Как можно быстрее, однако, оттащили его в трактир и там продали за пять рублей. На эти деньги мать купила для хозяйства сахару, чаю, пшена, постного масла и подарки детям. По случаю этому пили чай со сладким яблочным пирогом и конфетами.

А на следующий день с утра мать затопилась в молельню замаливать грех и пропадала там до полудня. Дело в том, что у старообрядцев сом считался поганой рыбой, и они его не едят. Поверье у них такое, что пристаёт он к утопленникам, мертвецам, плохому золоту и серебру, что лежит на дне. И человеку, который сома поймал или ел, тоже придётся плохо. Таким образом, и деньги от продажи сома тоже считались нечистыми.

Вот почему срочно и ходила мать в молельню.

Магазин Бендера

Магазинов тканей и готового платья в Саратове было много, и между владельцами их была довольно жёсткая конкуренция. Состязались они в рекламе, отделке магазинов, качестве товаров и обхождении клиентов. Самым первостатейным купцом в этом деле был Шерстобитов (его корпус стоял на Хлебной площади против Верхнего базара).

Одним из лучших был и магазин Бендера, помещавшийся на углу Никольской и Царицынской. Бендер любил большую часть времени находиться за прилавком,

сам встречал и провожал покупателей.

Один раз видит, пришёл простой рабочий купить зимнее пальто. «Почём, — спрашивает, — это да почём то». Хозяин посмотрел на него наметанным глазом и спрашивает: «Что, денег не хватает?». «Да, — отвечает рабочий, — недостаёт». Бендер и начал его расспрашивать: кто таков, какая семья, где живёт да где работает. Потом видит, что человек непьющий, работает на мельницах Рейнеке, стало быть, в людном месте, живёт в городе давно, родни у него много и все при деле. Взял и продал ему шубу стоимостью сорок рублей да за двадцать пять. А расчёт у Бендера верный был. Тот рабочий ему за год сорок человек покупателей привёл, а те ещё столько же.

И с каждым-то Бендер поговорил, здоровья пожелал, пригласил за покупками, обещал рассрочку платежа. Продавал он ещё знаменитую саратовскую сарпинку и другие ткани, а чтоб лишек её клиенту не покупать, то предлагал он тут же снять мерку и раскрой сделать. Если клиент соглашался, то купленную ткань тут же передавали одной из портних, которых он держал несколько, и самых лучших.

А клиент через несколько дней приходил прямо за костюмом.

Тут ещё один маленький расчёт был: приходилось клиенту оплачивать не только работу, но и материал на приклад и пуговицы.

Еврейский погром

В 1906 году прокатилась по Саратову волна страшных еврейских погромов. В «чёрную сотню» входили не только лавочники, дворники, домовладельцы, а и некоторые более состоятельные и образованные люди. Например, инспектор Первой Саратовской образцовой мужской гимназии состоял членом «Союза русского народа». Борода у него была дремуче-чёрной и торчала лопатой.

Среди обывателей распускались слухи, что евреи крадут или покупают у цыган краденых православных младенцев и из их крови варят мацу в синагоге, которая помещалась на Старо-Острожной улице.

Всего в городе жило около 3000 евреев. Была у них общественная столовая для бедных. Содержалась она на пожертвования богатых, которых среди саратовских евреев было немало, и располагалась в двухэтажном доме на углу Вольской и Царицынской.

Богатые еврейские дома в центре го-

рода не громили, а вот столовую бедняцкую разгромили в первую очередь. Когда громили, все стёкла выбили. Внутри печку разворотили оглоблей. Тарелки, ложки выбросили из окон. Стулья тоже. Муку, крупу, сахар рассыпали по полу, а снаружи — по тротуару. Во двор напустили пуху куриного то ли от перин, то ли от кур с кухни.

Ворота ломами с петель своротили и бросили на дороге.

Спустя час приходил околоточный надзиратель. С удовлетворением констатировал, что «журтов нет». Написал рапорт о том, что «возбуждённые слои русского населения...» и т. д.

Про Распутина

В 1909 году приезжал в Саратов Гришка Распутин. Как-никак родом из саратовского Заволжья. Посещал якобы он здесь и мужской монастырь. Там ещё церковную кружку установили для сбора пожертвований на «пропитание святого». Ну и, конечно, как и по всей России, среди саратовцев имя Распутина не сходило с уст, разговоры о нём велись нескончаемые.

Михаил Михайлович Варов, бывший коммивояжёр по чайным и табачным делам рассказывал:

«Ездил я как-то на ярмарку в Нижний, а оттуда за товаром в Зауралье к Иртышу. От Тюмени вместе с приятелем плыли мы сутки пароходом. Ехали мы на этом пароходе каютой первого класса. И вдруг приходит приятель и говорит: «А знаешь, в люксе-то у нас рядом — кто бы ты думал? Сам Распутин!»

Ну и, конечно, среди пассажиров пересуды всякие. Будто бы едет он от императрицы. На службу она его к себе вызывала. Петух-то у него, знаешь? Ого, какой большой!

А надо вам сказать, что потомственная старшая фрейлина двора императрицы княгиня Волконская страшно была оскорблена близостью царницы к Распутину и хотела его убить. Уж не раз нанимала и подсылала к Распутину убийц. Да только Александра Фёдоровна убить Распутина не даёт. Сыщики постоянно к нему приставлены — два, а то и четыре человека.

Вот и тогда на пароходе тоже. Распутин выйдет на верхнюю палубу погулять. В чёрном сюртуке, чёрных шароварах, сапогах, с золотой цепью на пузе. Худой-то не больно худ, но и не жирён. Хмурый такой, чёрный, ходит по палубе, руки за спину.



В 1909 году Г. Распутин совершил поездку в Саратов и Царицын, был принят саратовским епископом Гермогеном. При этом, как пишет В. Пиккуль в своём романе «Нечистая сила», подвизавшимся в епархии столичным иеромонахом Илиодором он был заранее разрекламирован в качестве «святого», «могучего старца» и «изгонителя бесов». «Дабы поднять авторитет Распутина, втроем пришли они в фотографию Лапшина, где чинно и благородно снялись на карточку в порядке слева направо Распутин — Гермоген — Илиодор (все сидячи на стульях). Фотографии размножили в невероятных количествах и раздавали, как иконки, молящимся в храмах».

Я говорю приятелю: «На кой чёрт он нам. Давай уйдём от греха подальше, выпьем в буфете померанцевой».

В буфете тоже несколько раз его видели. Водки пить особенно много он не пил, но жрать горазд. На солянку всё больше налегал. В это время и сыщики с ним — за соседним столом.

Долго я потом по Уралу ездил по торговым делам. И всё время про Распутина разное слышал.

Говорили, есть у него в селе хутор. Изба большая, жена — безграмотная простая женщина, несколько детей, работники, скотина, лошадей голов двадцать. Однако же когда ему надо ездить по губернии, своих никогда он не берёт, ездит всегда на земских лошадях. Если где обедает, ночует или берёт лошадей, то нигде никогда не платит. И все его боятся.

В поезде Распутин ездил в отдельном вагоне и частенько с монашкой какой-нибудь.

Ну, а мы будто ненароком тоже на палубу — и смотрим. А поодаль прогуливаются два сыщика в котелках и с тростя-

ми. Они же и каюты занимали рядом с Распутиным — один справа, другой слева. Машут сыщики нам руками, дескать, не ходите сюда.

А монашек и женских монастырей был он большой любитель. Там на Урале был Верхнетурский женский монастырь Симеона Праведного. Чаше всего он туда ездил. Приедет, пообедаёт и скажет игуменье: «Пришли-ка ко мне Глашу». А уж как с ним обращаться, Глаша специально обучена была. Приходилось, — куда же денешься».

Под красным фонарём

Была в старом Саратове Дворянская улица. Тянулась она от Никольской до самой Лысой горы. В простонародье первые три квартала её назывались Аничковской, а участок от Ильинской до Камышинской имел название Петиной улицы. Здесь по красной стороне стояли, да и сейчас ещё стоят, два двухэтажных похожих друг на друга дома в соседстве с несколькими одноэтажными домиками. Тут и раз-

мещались известные саратовские дома терпимости. Содержали их властные и беспощадные хозяйки, погубившие не один десяток девицких жизней.

Над входными дверями с наступлением темноты зажигались и всю ночь горели красные фонари. Горели для того, чтоб по тёмному ночному делу было легче найти, чтоб можно было не стучать, не спрашивать. Внизу каждого из домов, как обычно, была зала с пианино, мягкими затёртыми диванами и креслами, кабинет хозяйки. В зале проходили смотрины и выбор «невест», можно было заказать вина и закуски, послушать пение и посмотреть танцы здешних барышень.

В бельэтаже были номера, куда девицы вели субъектов своей платной любви. Там же дежурила горничная.

В прихожей сидело несколько звероподобных швейцаров, которых называли вышибалами. В любую минуту они готовы были выставить за дверь буянившего пьяного. Вышибать деньги девицы умели, делали это сообща и каждая в отдельности.

Иногда бузил какой-нибудь хотя и пьяный, но вполне состоятельный клиент. Таких каким-то чутьём быстро распознавали, с ними церемонились, позволяли остаться и тратить деньги.

К половине ночи сюда подтягивались извозчики, надеясь на тройной куш от седака.

Хозяйки здешних мест всеми силами стремились не допускать дебошей, ночных скандалов, особенно на улице. Поэтому пьяных клиентов вышибалы выволакивали из дверей и быстро грузили на извозчиков. Если клиент был платёжеспособен, то с миром ехал сам, а если нет, то вышибалы за свой счёт отвозили его на расстояние квартала и там выпихивали из пролётки.

Городские власти отлично знали о существовании домов терпимости, но делали вид, что им ничего не известно, находя своё оправдание в том, что полулегальный статус этих домов всё-таки поддается медицинскому контролю.

Раз в неделю в «нерабочее» время в каждом из домов появлялся околоточный надзиратель, задавал несколько ничего не значащих вопросов, проверял наличие счетов, выписанных от докторов-венерологов, получал полагающуюся мзду и уходил, нерешительно отклонив предложение остаться и отдохнуть в качестве гостя.

Длительное время домов терпимости было только два. Рассчитаны они были на посещение довольно состоятельных людей, но вот грянула первая мировая война, и дома терпимости преимущественно

дешёвого пошиба стали расти как грибы, зачастую принадлежа одним и тем же хозяевам.

В 1953 году в Саратове ещё жил и здравствовал Василий Иванович Б-в, бывший кучер генерала Куропаткина, с блеском проигравшего сухопутную часть русско-японской войны. Когда его спрашивали о давних молодых делах и проказах, он распрямлялся, выпячивал грудь и подкручивал усы. В глазах начинали светиться огни. Всё более разгораясь, он говорил: «Срозь всей Расеи цена была одна — пятьдесят копеек удар (он имел в виду солдатские публичные дома). И порядки там были заведены строгие: сделал своё дело, застёгивай штаны и уходи. Раз выскочил я так-то из солдатского дома (а пьяный был порядком), а потом чувствую, что буд-то кто-то мне остался должен. Ну, словом, чувствую, что есть ещё порох-то. Развернулся да и попёр вверх по лестнице в барский бордель. А там наверху вышибала стоял — здоровый мужик. Как он жажнет мне промерж глаз, мигом очутился я внизу. Очухался маленько — полез вдругорядь. Меня и второй раз спустили по лестнице таким-то макаром.

Тут пыл-то у меня и прошёл. Ну, а чтоб с ней целую ночь провести, это, значит, надо было ей рубля три дать.

Вот у китайцев в Маньчжурии было хорошо: вежливо, дешёво, культурно. И водка рисовая дешёвая была».

В. Ф. В-в в 1916 году приехал в Саратов и поступил студентом в эвакуированное Киевское коммерческое училище. Он вспоминал: «Раз вечером подвыпили мы и пошли компанией гулять на улицу. Сначала ходили по Московской и гимназисток задирали. Хотели с ними познакомиться. А среди нас был один бывалый. Видавший, значит, виды и картины. Вот он и говорит: «Айда на улицу Петина смотреть бардаки». Ну, мы и пошли. Куда ни сунемся — везде не пускают. Говорят, занято. Это потому, что видят — пришли студенты и взять с них нечего. Наконец, где-то на задворках запускают нас в одноэтажный домик тоже с красным фонарём у двери.

Заходим мы в залу и чувствуем: пахнет помадой и духами. Расселись по стульям, ждём. Потом выходят к нам мадмуазели, ярко наряженные и накрашенные. Они тут перед нами и так, и эдак. А мы говорим: «Ни одна не нравится». И ушли. Зашли ещё в один кафешантан, где, как говорили, на ночь можно было подце-

пить «мадам» в отдельный кабинет. Там один из нас, у кого более-менее деньги были, пытался у купца певичку отбить. Только мощи у него не хватило».

Мария Карловна Ш. рассказывала: «Была я ещё маленькой девочкой лет семи. И однажды в воскресенье отец взял меня с собой и направился по делу к знакомым, которые жили на улице Петина. Попив чаю, я вышла на улицу. Смотрю, а наискосок у парадного стоят мадамы разряженные и курят папиросы. Я к ним побежала, кричу: «Свадьба! Свадьба!» А меня соседи перехватили и говорят: «Не ходи туда. Тут каждый день такая свадьба, лучше и не надо».

Несмотря на выраженный «товарно-денежный» характер отношений клиент — девица, автор настоящих записок может засвидетельствовать, что неоднократно слышал от старших и о проявлении, так сказать, нежных чувств. Железнодорожный мастер М. по субботам после получки не задерживался на работе. Бежал к «красным фонарям», говорил, что «надо кралю свою перехватить», без неё-де моя жизнь не мила. «Чуть что — он туда», — говорили про него приятели. Студент К. пять лет учился в университете и все годы преданно ходил к Тонечке в «домик» на Введенской, ни с кем из дам и барышень никогда так и не общался. Назначала она ему по средам, в день, наиболее удобный с точки зрения недельного расклада «работы», никого другого в этот день не принимала, ждала. Может, и были у них планы пожениться.

Саратовские газеты практически не касались подобных смачных тем, как существование домов терпимости. Зато они были забиты объявлениями докторов, лечащих венерические болезни. По поводу «непотребных мест» Саратовской архиепией Алексей не раз посещал генерал-губернатора и жаловался ему на «исчадия ада», требуя их закрыть. Но начальство предпочитало оставлять эти жалобы без последствий, считая, что таким образом хоть как-то удаётся контролировать медицинскую часть проблемы.

Но неорганизованная проституция в Саратове тоже была. По вечерним улицам, у ресторанов, синематографов и многочисленных трактиров фланировали женщины «известного сорта». В самых низах саратовского дна были свои порядки. На Валовой, Тулупной, Миллионной улицах, в

Глебучевом овраге жили самостоятельные «хозяйки», имевшие свой домик или снимавшие отдельную квартиру.

Одну из них, бывшую уже в возрасте, звали Шуркой. Она ежедневно, ближе к вечеру, появлялась на берегу Волги с кошёлкой в руках. В кошёлке лежала полная бутылка водки и закуска. Шурка обходила пристани и дровяные склады и наконец находила какую-нибудь грузчицкую артель, имевшую в тот день получку.

«Айда ко мне», — говорила она какому-нибудь мужику и показывала бутылку водки. У себя дома она спала с ним, поила без просыпу и заставляла выложить все деньги до последней копейки. Была она женщиной крупной, с недюжинной силой. Могла справиться кое с кем и из мужиков. Про неё говорили: «Чтоб на Шурку залезть, надо сначала ведро пива выпить да бутылку водки».

Вобла-рыба

Воблы в Саратове раньше было много. Малая её часть ловилась попутно с селёдкой сплавными сетями против Казачьего острова и в других местах. Основная же рыбка — крупная икрная черноспинка привозилась из Астрахани. Первые майские пассажирские пароходы, буксиры, баржи зачастую шли увешанные воблой, которая сохла в пути. Несколько дней вобла вялилась у места лова на астраханских тонях, пока не стекал рассол, потом связки её перегружали на суда.

Свежинка эта рыбная, если она не пересохла, была преисполнена нежности и с весны на рынках ходила в высокой цене. Рыботорговцы старались побыстрее доставить саратовцам этот ходовой товар. С начала июня с низовьев начинали поступать основные партии воблы. Приходила она на баржах упакованной в рогожные кули. Так с баржей и продавалась кулями пуда на полтора.

Зажиточные и большие семьи покупали воблу кулями и тут же на берегу брали в носильщики галаха, чтобы за двугривенный донёс до дома, или подзывали извозчика, чтобы отвезти подальше, к примеру, на Старо-Острожную.

Лавочники, бабы-перекупщицы под дюжину кулей нанимали ломовиков. Выбирая рыбку, знатоки смотрели, чтоб была в меру просолена, чтоб не была с душком или подопревшей. Товар нюхали, перегибали в руках (не пересушь ли), стучали рыбины друг об друга, определяя звук. Должна рыбка быть «в самый раз», т. е.

не легка и не тяжела, а когда постучишь её о бревно да помнёшь как следует, начнёшь чистить — шкурка должна сама сходиться. Тоже и половинки спинки должны разделяться и идти в отрыв целиком, смазанные блестящей плёнкой жира. Чистка воблы производилась в три приёма и с молниеносной быстротой. Выберешь себе рыбину, какая приглянется, побьёшь её, помнёшь, а потом — раз, и оторвёшь ей брюхо с боками и голову. После этого шкурку сорвёшь, спинку половинками отделишь, хвост оторвёшь. Бочка разломится как раковину, шкурку с них спустишь, икорку маслянистую выковыряешь пальцем, нутро откинешь, и всё — можно есть. А хороша была, матушка, на закуску с пучком зелёного лука да с яичком, с ржаным хлебушком (белый не шёл). И ежели ещё с редиской да с первым зелёным огурчиком! С картошечкой в мундире тоже было неплохо. Вещь вкусная, можно сказать, деликатес. И главное, продавалась везде. В трактирах и буфетах, на пароходах её подавали к пиву. Рыбные ряды на базарах ломились от этого продукта. В каждой почти семье в холодном чулане, в сенях, сарае висели-лежали вязочки, кошёлки, зембеля, плетёные корзины с рыбной сушью.

Целыми днями по улицам и дворам ходили бабы-перекупщицы и кричали: «Во-облы-ры-ыбы!», «Воблы-рыбы». Вобла связками по 20 штук висела у них на коромысле. Крупная, отборная — по 5 копеек штука, мелкая — по три. В лавках, рыбных рядах и лабазах покупали связками и зембелями — так обходилось дешевле. Та вобла, которой торговали бабы-разносчицы и мелкие торговки, называлась «вобла перекупная». Торговали ею для домашне-го приработка.

Хозяйственный был это продукт, удобный, всегда готовый к употреблению, хоро-

шо хранился и не портился, а главное, дешёвый и питательный.

Бывало, у хозяйки стирочный день, куб надо топить с бельём, от корыта не отойти. Крикнет она детишкам взять по воблине да по куску хлеба — вот и обед. Ну, а горячее будет вечером, когда отец с работы придёт. Нанимается плотницкая артель перебраться и подновить дом на горах — путь туда не ближний. Вот и берут с собой кваску четверть, хлеб, воблу и всё остальное, что полагается для крошева. В обед похлебают в тени. Летний-то световой день ох как долог. Окрошка — она благодать русская, все её любят. Особенно выручает окрошка с воблой во время Петрова поста. В жару с ней и прохладно, и постно, и сытно. В жару соли больше требуется, значит, и вобла выручает. Рабочий люд в горячем гвоздильном цеху завода Гантке в обед тоже разворачивает тряпицу с воблой, хлебом, кусочком грязного колотого сахара. А чай после воблы так-то хорош!

То же и в дороге, в вагоне железнодорожном — вобла не протухнет, не пропадёт. Если просушена хорошо, то и мухи её не засидят. Храниться может всё лето. А с осени, ближе к Ивану Постному (29 августа), снизу на ярмарку в Увек воблу всё ещё подвозят. Правда, не так уже хороша она.

Словно специально для русских православных людей вобла создана. Истинно русская рыбка. И ведь не стерлядка архиерейская, не осетрина купеческая, не севрюжина дворянская. Именно простая рыбка народная. А всё потому, что от Волги она, матушки и кормилицы. Можно ли без неё было народу жить... Так и слышится старинный саратовский городской клич: «Воблы-рыбы... Кому во-облы-ры-ыбы... Во-обла-ай све-ежай... Бабы, воблы»...

(Окончание следует)

На титульной странице и в интервью А. И. Вагиновой — из иллюстраций Р. Мерцлина к книге К. К. Вагинова «Козлиная песнь».

Учредитель — трудовой коллектив редакции

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Г. БОРОВИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Ф. ВОЛОДИН (редактор), А. Н. КИСИНА (редактор), И. А. КНИГИН (редактор), В. Н. ПАНОВ (зав. отделом публицистики), А. Е. САФРОНОВА (зав. отделом критики), А. И. СЛАПОВСКИЙ (зав. отделом художественной литературы), Н. В. ШУЛЬПИНА (ответственный секретарь)

Технический редактор Г. И. Иванова

Корректоры Э. Р. Полынкова, Г. Б. Смольянинова

Адрес редакции: 410002, Саратов, набережная Космонавтов, 3

Телефоны: гл. редактор — 26-26-44, отв. секретарь — 26-44-92; отделов журналов: художественной литературы — 26-15-35, публицистики — 26-07-98, критики — 26-06-63, производственный — 26-07-89, снабжения — 26-07-98, бухгалтерия — 26-06-63.

Сдано в набор 27.03.1992 г. Подписано в печать 13.07.1992 г. Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 14,19. Уч.-изд. л. 17,446. Тираж 12 544. Заказ 207. Цена по подписке 4 руб.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.

Цена по подписке 4 руб.

Индекс 73067